

ДЖОН ОСТИН

ИЗБРАННОЕ



идея-пресс

ДОМ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
КНИГИ



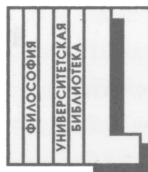


**John
Langshaw
Austin**

(1911-1960)

**J.
L.
Austin
was
born
in
Lancaster
and
educated
at
Oxford,
where
he
became
a
professor
of
philosophy
following
several
years
of
service
in
British
intelligence
during
World
War
II.
Although
greatly
admired
as
a
teacher,
Austin
published
little
of
his
philosophical
work
during
his
brief
lifetime.
Students
gathered
his
papers**

идея-пресс



дом интеллектуальной книги

HOW TO DO THINGS
WITH
WORDS

J. L. AUSTIN

SENS
AND SENSIBILIA

reconstructed from the
manuscript notes
G. J. Warnock

oxford
at the clarendon
press

1962

**КАК ПРОИЗВОДИТЬ
ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ**

перевод
с английского языка
В. П. Руднева

ДЖОН ОСТИН

**СМЫСЛ
И СЕНСИБИЛИИ**

перевод
с английского языка
Л. Б. Макеевой

идея-пресс **Д**ом
Интелектуальной
Книги

МОСКВА 1999

ББК 87.3

0 76

Издание выпущено при поддержке Института «Открытое общество» (Фонд Сороса) в рамках мегапроекта «Пушкинская библиотека»

This edition is published with the support of the Open Society Institute within the framework of "Pushkin Library" megaproject

Редакционный совет серии «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Н. С. Автономова, Т. А. Алексеева, М. А. Андреев, В. И. Бахмин, М. А. Веденяпина, Е. Ю. Гениева, Ю. А. Кимелев, А. Я. Ливергант, Б. Г. Капустин, Ф. Пинтер, А. В. Полетаев, И. М. Савельева, Л. П. Репина, А. М. Руткевич, А. Ф. Филиппов

«UNIVERSITY LIBRARY» Editorial Council

Natalia Avtonomova, Tatiana Alekseeva, Mikhail Andreev, Vyacheslav Bakhmin, Maria Vedeniapina, Ekaterina Genieva, Yuri Kimelev, Alexander Livergant, Boris Kapustin, Frances Pinter, Andrei Poletaev, Irina Savelieva, Lorina Repina, Alexei Rutkevich, Alexander Filippov

ОСТИН Джон

0 76 ИЗБРАННОЕ. Перевод с англ. Макеевой Л. Б., Руднева В. П. — М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. — 332 с.

ISBN: 5-7333-0010-8

Первый на русском языке сборник работ широко известного британского философа XX в. Джона Остина дает довольно полное представление о его взглядах, в частности о разрабатываемой им философии обыденного языка, оказавшей сильное влияние на развитие современной лингвистики и логики.

Книгу с интересом прочтут философы, лингвисты, психологи, все, кто интересуется аналитической философией.

ББК 87.3

- Перевод с англ. яз. Коллектив авторов
- Предисл. к изданию Назарова О. А.
- Художественное оформление Жегло С.
- Идея-Пресс, 1999
- Дом интеллектуальной книги, 1999

Содержание

От издателя . 7

КАК СОВЕРШАТЬ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ?

От издателя английского текста .	13
Лекция I	15
Лекция II .	24
Лекция III	34
Лекция IV .	44
Лекция V .	54
Лекция VI .	64
Лекция VII	76
Лекция VIII	84
Лекция IX .	94
Лекция X .	103
Лекция XI .	112
Лекция XII	123

СМЫСЛ И СЕНСИБИЛИИ

<i>Предисловие переводчика</i>	139
<i>Предисловие</i>	141
РАЗДЕЛ I .	143
РАЗДЕЛ II.	146
РАЗДЕЛ III	156
РАЗДЕЛ IV	166
РАЗДЕЛ V .	174
РАЗДЕЛ VI	181
РАЗДЕЛ VII	186
РАЗДЕЛ VIII .	198
РАЗДЕЛ IX	203
РАЗДЕЛ X .	217
РАЗДЕЛ XI	237

СТАТЬИ

Чужое сознание.	247
ИСТИНА . . .	290
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА .	308
<i>Предметный указатель</i>	327

От издателя

ОСТИН Джон (Austin John Langshaw — родился 26 марта 1911 г. в Ланкастере, Англия; умер 8 февраля 1960 г. в Оксфорде, Англия) — британский философ-аналитик, представитель лингвистической философии. Получил образование в Оксфордском университете, где впоследствии стал профессором философии (1952–1960).

В основе концепции Остина лежит идея аналитической философии о том, что главной целью философского исследования является прояснение выражений обыденного языка. Поскольку значительная часть работы по анализу обыденного языка осуществлялась скорее в обсуждениях, чем в печати, постольку у Остина сравнительно мало опубликованных работ. Студенты собрали и обработали его лекции, которые были изданы посмертно. Взгляды Остина не носят систематического характера. Многие выступления Остина были направлены против неверного, т. е. нарушающего логику, «обыденного» языка, употребления слов и целых фраз отдельными философами, но основной вклад Остина состоит в пронизательных замечаниях об употреблении таких терминов, как «знать» и «истинный». Согласно Остину, сказать, что я что-то знаю, не значит просто утверждать это что-то. Последнее, строго говоря, означает просто, что я так полагаю, а не то, что я знаю это; так что если человек что-либо утверждает, то его можно спросить, знает он это или нет.¹ Специфический характер познания усматривается на основании тех возражений, с которыми может встретиться наша претензия на знание. Прежде всего могут быть поставлены под сомнение наш прошлый опыт и наши нынешние возможности. Остин, в частности, подверг критике широко распространенную в аналитической философии теорию «чувственных данных», т. е. содержания

¹ *Other Minds // Logic and Language*, 2nd series. Oxford: Basil Blackwell, 1953, p. 124

ощущения и восприятия, якобы непосредственно постигаемых в познавательном акте. Общее философское возражение против возможности знать ощущения других людей иногда принимает форму вопроса о степенях уверенности. Остин считает, что на самом деле никогда нельзя быть уверенным в своих же собственных ощущениях. Мы не только можем их неправильно назвать или обозначить,² но и можем испытывать неуверенность относительно их и более основательным образом.³ Например, мы можем просто быть недостаточно знакомы с данным ощущением, чтобы позволить себе уверенно судить о нем,⁴ или мы можем пытаться «распробовать» свое ощущение более полно. Кроме того, добавляет Остин, за термином «знать» обычно следует вообще не прямое дополнение, а придаточное предложение с союзом «что» и, когда этот факт полностью осознан, различие между якобы познанными ощущениями и другими видами знания теряет всякое правдоподобие.⁵ Общее философское возражение против всех претензий на знание, согласно Остину, выражено в следующем рассуждении: знание не может быть ошибочным, а «мы, по-видимому, всегда или практически всегда подвержены ошибкам».⁶ Но такого рода возражение обнаруживает внутреннюю связь между глаголом «знать» и такими «исполнительными» словами, как «обещать», которая и лишает это возражение его силы. Фраза «я знаю» — не просто «описательная фраза», в некоторых важных отношениях она является ритуальной фразой, подобно фразам «я обещаю», «я делаю», «я предупреждаю» и т. п.⁷ Прилагательное «истинный», по Остину, не должно применяться ни к предложениям, ни к суждениям (propositions), ни к словам. Истинными являются высказывания (statements).⁸ Фактически можно сказать, что высказывание истинно, когда историческое положение дел, с которым оно соотносится посредством разъясняющих соглашений..., однотипно тому положению дел, с которым употребленное предложение соотносится посредством описательных соглашений.⁹ А всякая попытка сформулировать теорию истины как образа оказывается неудачной вследствие чисто конвенционального характера отношения между символами и тем, к чему эти символы относятся. Остин считает: многие фразы, рассматриваемые часто как высказывания, вообще не должны рассматриваться как истинные или

² *How to Talk // Proceedings of the Aristotelian Society*, 1952–1953, v. LIII, pp. 230–256

³ *Other Minds*, p. 135.

⁴ *Там же*, p. 137.

⁵ *Там же*, p. 140ff.

⁶ *Там же*, p. 142.

⁷ *Там же*, p. 146ff.

⁸ *Truth // Proceedings of the Aristotelian Society*, Suppl. Vol. XXIV, 1950, pp. 111–134.

⁹ *Там же*, p. 116.

ложные, как, например, «формулы в исчислении... определения... исполнительные фразы... оценочные суждения... [или] цитаты из литературных произведений».¹⁰ Признание этого факта дает возможность избежать многих затруднений в теории истины.

Другая проблема, стоявшая в центре внимания Остина, — возможность познания «чужих сознаний» и его отражение в языке. Остин надеялся, что в результате его деятельности возникнет новая дисциплина, являющаяся симбиозом философии и лингвистики, — «лингвистическая феноменология». Он полагал, что познание сознания других людей включает особые проблемы, но, подобно познанию любого другого вида, оно основывается на предшествующем опыте и на личных наблюдениях. Предположение о том, что это познание переходит от физических признаков к фактам сознания, ошибочно.¹¹ Остин считает, что вера в существование сознания других людей естественна, обоснований требует сомнение в этом. Сомневаться в этом только на основании того, что мы не способны «самонаблюдать» восприятия других людей, значит идти по ложному следу, ибо дело здесь попросту в том, что, хотя мы сами и не наблюдаем чувств других людей, мы очень часто знаем их.¹²

Важное место в ранних работах Остина занимает введение понятий *перформативного и констатирующего высказываний*, которое он рассматривает как очередной шаг в развитии логических представлений о границе между осмысленными и бессмысленными высказываниями. Под первым он понимал высказывание, являющееся исполнением некоторого действия («Я обещаю, что...»), под вторым — дескриптивное высказывание, способное быть истинным или ложным. В дальнейшем эти идеи были преобразованы в *теорию речевых актов* (speech act theory). В целостном виде они были изложены Остином в курсе лекций под названием «How To Do Things With Words», прочитанном в Гарвардском университете в 1955 г. Единый речевой акт представляется Остину трехуровневым образованием. Речевой акт в отношении к используемому в его ходе языковым средствам выступает как *локутивный акт*; в отношении к манифестируемой цели и ряду условий его осуществления — как *иллокутивный акт*; в отношении к своим результатам — как *перлокутивный акт*. Главным новшеством Остина в этой схеме является понятие *иллокуции*, т. к. локуцией всегда занималась семантика, а перлокуция была объектом изучения риторики. Остин не дает точного определения понятию «иллокутивный акт». Он только приводит для них примеры¹³ — вопрос, ответ, инфор-

¹⁰ Там же, р. 131.

¹¹ *Other Minds*, р. 147ff.

¹² Там же, р. 158ff.

¹³ *How To Do Things With Words*. Oxford. Clarendon Press, 1962, р. 8.

мирование, уверение, предупреждение, назначение, критика и т. п. Остин пытается обнаружить отличительные признаки иллокуции. В дальнейшем *Стросон Ф.* свел замечания Остина к четырем признакам, из которых главными являются признаки *целенаправленности* и *конвенциональности*. Остин считал, что в отличие от локутивного в иллокутивном акте конвенции не являются собственно языковыми. Однако ему не удалось объяснить, в чем состоят эти конвенции. Остину принадлежит и первая классификация иллокутивных актов. Он полагал, что для этой цели нужно собрать и классифицировать глаголы, которые обозначают действия, производимые при говорении, и могут использоваться для экспликации силы высказывания, — иллокутивные глаголы. С точки зрения современного уровня развития лексической семантики классификация Остина выглядит довольно грубым приближением к сложной структуре данного объекта исследования. Теория «речевых актов» оказала большое влияние на современную лингвистику и логику (т. н. *иллокутивная логика*, трактующая речевые акты как интенциональные действия говорящего).

Библиография

1. Are There A Priory Concepts // *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1939, v. XVIII, pp. 83–105.
2. A Plea for Excuses // *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1956–1957, v. LVII, pp. 1–30.
3. *Ifs and Cans*. London: Oxford University Press, 1956.
4. *Philosophical papers*. Oxford. Clarendon Press, 1961.
5. *Sense and Sensibilia*. Oxford. Clarendon Press, 1962.
6. *How To Do Things With Words*. Oxford. Clarendon Press, 1962.
7. Чужое сознание // *Философия, логика, язык*. М.: Прогресс, 1987, сс. 48–96.
8. Слово как действие // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. 17. М.: Прогресс, 1989, сс. 22–129.
9. Значение слова // *Аналитическая философия: Избранные тексты*. М.: Изд-во МГУ, 1993, сс. 105–120.
10. Истина // *Аналитическая философия: Становление и развитие* (антология). М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс–Традиция, 1998, сс. 174–191.
11. (об Остине) Хилл Т. И. Теории познания. Пер. с англ. М., 1965, сс. 489–492.



**КАК ПРОИЗВОДИТЬ
ДЕЙСТВИЯ
ПРИ ПОМОЩИ СЛОВ**



ОТ РЕДАКТОРА АНГЛИЙСКОГО ТЕКСТА

Публикуемые лекции были прочитаны Остином в Гарвардском университете в 1955 году в рамках Джемсовского курса.¹ В кратком примечании Остин объясняет, что в основе этих лекций лежат взгляды, «сложившиеся еще в 1939 году. Я уже использовал их в статье «Чужое сознание», опубликованной в «Материалах Аристотелевского общества (Proceedings of the Aristotelian Society)», дополн. том XX (1946), с. 173 и сл., и вскоре мне удалось показать еще одну скрытую часть этого айсберга, выступая в различных научных обществах...». В 1952–1954 годах Остин читал в Оксфорде курс лекций, который он назвал «Слова и действия». Каждый год он частично перерабатывал конспекты, охватывающие приблизительно тот же материал, что и Джемсовский курс, для которого он написал новый текст, хотя в него вошли и некоторые страницы прежних конспектов. Именно эти записи Остина были последним по времени текстом, посвященным данной теме. По нему он и продолжал читать в Оксфорде, лекции на тему «Слова и действия», внося мелкие исправления и небольшие добавления на полях.

В настоящем издании содержание этих лекций воспроизводится с максимальной точностью при минимальной редакторской правке. Сам Остин, несомненно, придал бы им более подходящую для печати форму, он, по-видимому, сократил бы резюме предыдущих лекций, которыми начинается каждая из последующих, и, безусловно, развил бы многие положения своих конспектов, как он это делал в ходе чтения лекций. Однако большинство читателей предпочтут получить именно то, что было написано его рукой, а не о, что он, как кому-то кажется, опубликовал бы, или, как кому-то помнится, говорил в лекциях; поэтому читатели, надо думать, не станут сетовать на некоторые несовершенства формы и стиля и на последовательность в употреблении терминов.

¹ Ежегодный цикл лекций на философские, языковедческие и другие темы, который читают видные ученые; назван в честь американского философа и психолога Уильяма Джемса (1842–1910). — *Прим. ред.*

И все же эти лекции не воспроизводят конспекты Остина с полной точностью. Это объясняется следующим. Большая часть материала, особенно на первых страницах каждой лекции, писалась полностью и оформлялась в виде предложений лишь с незначительными пропусками — частиц, артиклей. Часто в конце каждой лекции текст становился фрагментарным, а дополнения на полях писались очень сокращенно. В этих местах конспекты пришлось толковать и дополнять на основе материалов лекций 1952–1954 годов, о которых говорилось выше. Мы воспользовались еще одной возможностью проверить текст, сравнивая его с записями английских и американских слушателей, с текстом лекций о перформативных высказываниях, которую автор прочел на радио, и с магнитофонной записью лекции, названной «Перформативы» и прочитанной в Гутенберге в октябре 1959 года. О том, как использовались эти подсобные материалы, более подробно говорится в Примечаниях. Не исключено, что в процессе обработки в текст могла вкрасться та или иная фраза, от которой Остин отказался бы, но маловероятно, чтобы основные положения автора были искажены.

Дж. О. Уормсон

ЛЕКЦИЯ I

*Т*⁶о, о чем я собираюсь здесь говорить, не является ни сложным, ни даже спорным; единственное, что я бы мог применительно к этому поставить себе в заслугу, так это то, что предмет моего разговора соответствует истине, по крайней мере отчасти. Феномен, который я намерен обсудить, настолько распространен и очевиден, что я не могу себе представить, чтобы он был не замечен кем-либо до меня, по крайней мере в замечаниях, сделанных по другому поводу. Тем не менее я не встречал работ, полностью посвященных этой теме.

Среди философов слишком долго было укоренено убеждение, что «утверждение» может только «описывать» положение вещей или «утверждать нечто о каком-либо факте», который при этом должен быть либо истинным, либо ложным. Лингвисты, разумеется, регулярно указывали на то, что не все «предложения» (в их реальном употреблении) являются утверждениями:² так, традиционно помимо утверждений сами лингвисты выделяют вопросы и восклицания, предложения, выражающие команды или желания, уступительные значения. И философы, несомненно, не собирались отрицать существование таких особых предложений, если, конечно, не принимать в расчет в некотором смысле слишком свободное употребление термина «предложение» в значении «утверждение». Несомненно также и то, что как лингвисты, так и философы очень хорошо отдавали себе отчет в том, насколько трудно отграничить, скажем, те же вопросы, команды и так далее от утверждений при помощи тех тощих средств, которые предоставляет грамматика, таких, например, как порядок слов, модальность (*mood*), и тому подобных: хотя, возможно, было про-

² Конечно, неправильно уже то, что предложение вообще может *быть* утверждением: оно, скорее, *используется* для *высказывания* утверждения, а само утверждение является «логической конструкцией» на основе этих высказываний.

сто не принято обращать внимание на те трудности, которые благодаря этому факту возникают. Ибо как нам решить, что к чему относится? Каковы пределы и дефиниции каждого из подобных случаев?

Но в последние годы многие вещи, которые ранее безоговорочно принимались философами и лингвистами в качестве «утверждений», были рассмотрены с новой тщательностью. Подобное рассмотрение началось достаточно косвенным путем, по крайней мере, в философии. Поначалу появилась точка зрения — которая, впрочем, не всегда формулировалась без излишнего догматизма, — в соответствии с которой утверждение (факта) должно быть «верифицируемым», и это привело к тому взгляду, в соответствии с которым многие «утверждения» суть лишь то, что может быть названо псевдоутверждениями. Прежде всего и с наибольшей очевидностью оказалось, что многие «утверждения» — вероятно, впервые это было систематически сформулировано КАНТОМ — представляют собой совершенную бессмыслицу, несмотря на их безупречную грамматическую форму; и дальнейшее открытие свежих типов бессмыслицы — хотя и никак не систематизированных, а если и объясняемых, то объяснения часто оставались таинственными — в целом приносило скорее пользу, чем вред. И все же мы, даже философы, накладываем определенные ограничения на количество бессмыслицы, которую мы готовы допустить до обсуждения: поэтому было так естественно продолжать в том же направлении и на следующей стадии исследования задать вопрос о том, следует ли вообще соответствующие многочисленным псевдоутверждения включать во множество «утверждений». Общими усилиями мы пришли к тому, что многие употребления, которые выглядят похожими на утверждения либо в целом, либо отчасти, не предназначены для сообщения некоей новой информации о фактах: например, «этические пропозиции» полностью или частично призваны вызывать некие эмоции, или предписывать указания, или влиять на них определенным образом. Здесь, как и в предыдущем случае, одним из первых был КАНТ. Мы также часто употребляем конструкции, находящиеся за пределами традиционной грамматики. Пришло время, и мы увидели, что в обычные описательные утверждения вкрапывается множество особых, запутанных слов, вовсе не служащих для того, чтобы прибавить какое-то новое свойство к описываемой реальности, но, скорее, для того, чтобы обозначить (но не сообщить о них) некие обстоятельства, при которых было сделано утверждение, или оговорки, которые надо сделать о его субъекте, или то, как именно оно должно быть понято, и тому подобное. Для того, чтобы игнорировать эти возможнос-

ти, было придумано понятие «дескриптивной» ошибки — не очень-то подходящее название, ведь само слово «дескриптивный» уже имеет специальное значение. Не все истинные или ложные утверждения являются дескрипциями, по этой причине я предпочитаю употреблять слово «констатив». Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что хотя бы отчасти мы показали, по крайней мере предприняли попытку показать, что многие традиционные философские затруднения возникали благодаря ошибке — ошибке понимания в качестве прямых утверждений о фактах таких употреблений, которые *либо* вообще (в некотором любопытном неграмматическом смысле) были бессмысленными, *либо* были предназначены для чего-то совершенно другого.

Что бы мы ни думали о какой-либо из этих точек зрения или предположений, мы, так или иначе, лишь весьма сожалеем о той изначальной путанице, в которую были вовлечены философские доктрины и методы, не можем не признать, что они, эти взгляды и предположения, совершили революцию в философии. Если кто-нибудь захочет назвать это величайшим и наиболее благотворным событием в ее истории, я не стану считать это слишком сильным заявлением. Неудивительно, что изначально эти новации были половинчатыми и *parti pris*³ преследовали посторонние цели — с революциями так обычно и бывает.

ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ВЫЧЛЕНЕНИЕ ПЕРФОРМАТИВА⁴

Употребления того типа, которые мы должны будем здесь рассмотреть, в целом, конечно, не являются разновидностью бессмыслицы, хотя злоупотребление [*misuse*] ими вполне может, как мы увидим, производить своего рода «бессмыслицу». Скорее, они входят в другой класс — «маскарадных костюмов». Но это не означает, что для какого-либо вида этого класса обязательно нужно надевать костюм утверждения о факте. Но все же так оно обычно и бывает. И самое удивительное, что это происходит тогда, когда подобные маски выступают в своей наиболее эксплицитной форме. Лингвисты, я уверен, проглядели эту «обманку», философы в лучшем случае наткнулись на нее случайно.⁵ Поэтому удобнее будет вначале исследовать этот феномен в его заводящей в тупик [*misleaihg*]

³ Тем самым (*франц.*) — Прим. перев.

⁴ Все сказанное в этих разделах носит предварительный характер и может быть пересмотрено в свете изложенного в последующих разделах.

⁵ Из всех людей лучше других осознавать истинное положение вещей должны были бы юристы. Но, скорее всего, они уступят собственным смехотворным фикциям, говорящим, что «юридические» утверждения являются утверждениями о фактах.

форме для того, чтобы выявить его характерные особенности по контрасту с особенностями утверждений, которые этот феномен «передразнивает».

Мы рассмотрим в качестве первых примеров несколько употреблений, которые безусловно опознаются в качестве *грамматических* утверждений и при этом не являются бессмысленными и не содержат никаких опасных словесных сигналов, по которым философы теперь распознают или делают вид, что распознают (забавные слова, такие, как «хороший» или «все», подозрительные вспомогательные глаголы как «должен» или «может», а также сомнительные построения типа условных гипотетических); во всех этих употреблениях будут присутствовать однообразно употребленные глаголы в позиции первого лица единственного числа активной изъявительной конструкции.⁶ Можно обнаружить в речи употребления, удовлетворяющие этим условиям, и в то же время:

- А.** они ничего не «описывают» и ни о чем не «сообщают», ничего не констатируют, не являются «истинными или ложными»; а также
- В.** употребление этих предложений является частью поступков или действий, которые в обычных случаях не описываются как говорение о чем-либо.

Последнее не так парадоксально, как звучит на первый взгляд или как я это намеренно пытался заставить прозвучать: на самом деле примеры, которые я сейчас приведу, скорее, разочаровывают.

Примеры:

- (Е. а)** «Да (I do) (в смысле: «Я согласен взять эту женщину в жены»)» — как употребление в ходе брачной церемонии.⁷
- (Е. б)** «Нарекаю этот корабль “Королевой Елизаветой”» — употребляется, когда разбивают бутылку шампанского о нос корабля.
- (Е. с)** «Завещаю наручные часы своему брату» — употребляется в завещании.
- (Е. д)** «Спорим на шесть пенсов, что завтра будет дождь».

В этих примерах кажется ясным, что употреблять предложения (при определенных обстоятельствах, разумеется) не значит *описывать* мое действие в акте употребления того, что я говорю, или утверждать, что я что-то делаю:

⁶ Не без задней мысли: все они являются «эксплицитными» перформативами, принадлежащими к тому преобладающему классу речевых актов, которые позже будут названы «экзерситивами».

⁷ Остин осознал, что выражение «I do» не употребляется в брачной церемонии, слишком поздно, чтобы исправить эту ошибку. — *Прим. ред. англ. текста Дж. О. Урмсона.*

скорее, это значит производить само действие. Ни одно из приведенных употреблений не является ни истинным, ни ложным. Я утверждаю это как нечто очевидное и не собираюсь даже этого доказывать. Это не нуждается в доказательстве подобно тому, как выражение «Да пошел ты!..» не является ни истинным, ни ложным: возможно, конечно, чтобы последнее употребление «служило для передачи информации», но это совсем другое дело. Назвать корабль и означает произнести (в соответствующих обстоятельствах): «Нарекаю и т. д.». Когда я говорю перед алтарем: «Да, я согласен», я не сообщаю о своей женитьбе — я самими этими словами принимаю участие в совершении юридического акта своей женитьбы.

Как мы должны обозначить предложение или употребление подобного рода?⁸ Я предлагаю назвать его *перформативным предложением*, или перформативным употреблением, или для краткости просто «перформативом». Термин «перформатив» будет нами употребляться применительно к различным родственным конструкциям примерно так же, как, например, употребляется термин «императив».⁹ Это название, конечно, производно от «perform» (представлять, осуществлять, исполнять) — обычного глагола в сочетании с существительным «действие» (action): оно указывает на то, что произнесение высказывания означает совершение действия, и данном случае неверно думать, что имеет место простое произнесение слов.

Есть и другие термины, которые могут более или менее удовлетворительно заменить предыдущий в более специфичных случаях перформативных употреблений: например, многие перформативы являются *контракативными* (сопровождающими заключение договора — «Спорим...») или *декларативными* («Объявляю войну»). Однако ни один из использующихся терминов не охватывает явление во всей его широте. Один технический термин приближается очень близко к тому, что нам нужно — «оператив», — в том строгом смысле, в котором он используется в той части юридического документа, которая касается, например, гарантий реализации сделки (передачи имущества

⁸ В наименьшей степени тем, что я уже сделал или еще только должен сделать.

⁹ «Предложения» формируют класс «употреблений», класс, который, по моему убеждению, должен быть определен грамматически, хотя я сомневаюсь в том, что подобное определение могло бы быть удовлетворительным. Перформативным употреблением противопоставлены, например, по преимуществу «констативные» употребления: произвести констативное употребление (то есть употребить их с исторической референцией) значит, к примеру, сделать утверждение. Произвести перформативное употребление значит, к примеру, вызвать кого-то на спор. См. ниже об «иллюзии».

или чего-то такого), которая является главным объектом его рассмотрения, в то время как остальная часть документа просто «излагает» обстоятельства, при которых совершается эта сделка.^{10; 11} Но «оператив» имеет и другие значения: в самом деле, он часто употребляется, когда просто хотят сказать о чем-то более чем «важном».

Я выбрал новое слово, которому, несмотря на то, что его этимология вполне прозрачна, мы не будем приписывать несвойственных ему значений.

МОЖЕТ ЛИ СЛОВО СТАТЬ ДЕЛОМ?

Должны ли мы теперь рассуждать таким образом:

«Заключить брак — это значит произнести несколько слов» или
«Поспорить — это значит просто сказать что-нибудь»?

Подобная доктрина поначалу звучит странно и даже диковато, но, если применить соответствующие меры предосторожности, она перестанет казаться странной.

Разумным возражением на это могло бы быть следующее (и его не следует недооценивать). В очень многих случаях возможно осуществление действия точно такого же типа, но без употребления каких бы то ни было слов, письменных или устных. Например, в какой-то стране я могу осуществить брак самым фактом сожительства, или я могу поспорить с тотализатором, опустив монету в отверстие. Поэтому мы, возможно, скорректируем наши соображения и скажем, что «произнести несколько определенных слов означает заключить брак», или «заключить брак в некоторых случаях значит просто произнести несколько слов», или «просто сказать что-то значит поспорить».

Однако возможно, что действительная причина того, почему подобные замечания таят в себе опасность, кроется в том очевидном факте, к подробному рассмотрению которого мы вернемся ниже и который в двух словах заключается в следующем. Употребление слов действительно есть обычное или даже *главное* событие в осуществлении определенного типа действия (спора или чего-то в том же духе), и это осуществление действия является целью употребления, но обычно и даже, может быть, никогда нельзя осуществить какое-либо действие при помощи *одних* только слов. В целом всегда необходимо,

¹⁰ Ранее я использовал термин «перформаторный», однако слово «перформатив» мне кажется предпочтительнее из-за его краткости, меньшей уродливости и большей традиционности его формы.

¹¹ Этим наблюдением я обязан профессору Х. Л. Э. Харту.

чтобы *обстоятельства*, при которых употребляются слова, были бы *соответствующими*, и обычно является необходимым *также*, чтобы говорящий и другие участники речевого акта тоже совершали определенные другие действия, будь то «физические» или «ментальные» действия или даже действия произнесения каких-то других слов. Таким образом, чтобы назвать корабль, существенно, чтобы я был человеком, который уполномочен сделать это; чтобы заключить брак (в христианской традиции), существенно, чтобы я в этот момент не был женат на живой, здоровой и не разведенной со мной женщине, и так далее; чтобы состоялся спор, необходимо, чтобы другая сторона приняла заклад (для этого человек должен что-то сделать, например, сказать: «Идет!»); и трудно, как вы понимаете, сделать подарок, *произнеся* слова «Я тебе дарю это» и не имея при этом ничего в руках.

И далее в том же духе. Действие можно производить не только при помощи перформативных употреблений, в любом случае обстоятельства, включая другие действия, должны быть соответствующими. Но мы можем возразить, указав на нечто другое, что, правда, на этот раз будет серьезной ошибкой, особенно если мы начнем думать о внушающих благоговение перформативах, таких, как «Я обещаю, что...». Конечно, слова надо произносить «всерьез», и тогда они и будут восприниматься всерьез [имеются в виду, очевидно, такие примеры, как «Обещаю больше никогда не у нас может сложиться впечатление, что серьезность дышать»]. Это условие хотя и слегка мутновато, но его в целом вполне достаточно — это важнейшая банальность, необходимая при обсуждении сообщения типа «Да, я согласен взять в жены...» и любого другого употребления. В подобных обстоятельствах неуместно шутить или говорить стихами. Но в данном случае может сложиться впечатление, что они, эти употребления, используются в качестве визуальных знаков, информирующих нас о внутренних действиях: отсюда недалеко и до утверждения, что по многим причинам внешнее употребление является дескрипцией, *истинной или ложной*, события во внутреннем действии. Классическое проявление этой идеи может быть найдено в «Ипполите», когда *Ипполит* говорит:

Клялся мой язык, но не мое сердце

(или ум, или какой-либо другой «актер за сценой»).¹² Таким образом, «Я обещаю...» обязывает меня, налагает на меня духовные вериги.

¹² Однако я не имею в виду исключать всех, кто находится за сценой — осветителей, постановщика сцены, даже суфлера; я лишь возражаю против излишне назойливых дублеров.

В этом примере мы явственно видим, как излишняя глубина или, скорее, торжественность как раз и приводит к безнравственному поступку. Потому что тот, кто говорит, что «обещание — это не пустые слова, но внутренний духовный акт», кажется твердым моралистом, противостоящим поколению поверхностных теоретиков: мы видим его таким, каким он сам видит себя, — обзирающим невидимые глубины этического пространства *sui generis*.¹³ Тем не менее он оправдывает Ипполита, прощает двоюродного брата, произнесшего *I do* 'Я беру в жены...', а не отдающего деньги за проигранный спор защищает от ответственности за его слова «Спорим...». Точность и моральность на стороне того, что мы скованы *своим словом, как цепью*.

Если мы исключим подобные фиктивные внутренние акты, можем ли мы тогда предположить, что все другие вещи, которыми в нормальном случае сопровождаются такие употребления, как «Я обещаю, что...» или «Я беру в жены эту женщину...», действительно описываются этими употреблениями и, следовательно, их наличие делает предложение истинным, а отсутствие — ложным? Хорошо, рассмотрим вначале последнее предположение, в соответствии с которым мы в самом деле говорим об употреблениях, имеющих место, когда то или другое нормальное обстоятельство *отсутствует*. В подобном случае мы ни за что не скажем, что это употребление было ложным, но, скорее, что это употребление — или, скорее, *действие*, например, обещание — пусто (недействительно, void), или сделано неискренне, или не может быть осуществлено, или что-то иное в этом роде. В конкретном случае спора или обещания, как и в случае многих других перформативов, предполагается, что индивид, употребляющий его, имеет определенное намерение, в данном случае намерение держать слово; и, возможно, из всего, что сопутствует речевому акту, именно намерение больше всего подходит на роль реального дескриптора или фиксатора выражение «Я обещаю». Разве мы, когда подобное намерение отсутствует, не говорим о «ложном» обещании? Все же сказать так не значит сказать, что употребление «Я обещаю, что...» является ложным в том смысле, что, хотя человек утверждает, что он что-то обещает, на самом деле он ничего не обещает или что если он описывает что-то, то он это описывает неверно — сбивает нас с толку. Нет, он все равно *обещает*: обещание здесь не является *пустым*, хотя оно и делается *неискренне*. Его употребление, возможно, заводит в тупик, возможно, оно обманчиво и, без сомнения, неверно, но оно не

¹³ Мы избегаем уточнений, так как пока они не важны.

является ложью или ложным утверждением. Мы могли бы прояснить этот случай, сказав, что он подразумевает или инсинуирует ложь или введение в заблуждение (в том, что человек реально собирался сделать нечто) — но это совсем другое дело. Более того, мы не можем говорить о ложном споре или ложном крещении; а что мы *на самом деле* говорим о ложном обещании, обязывает нас не в большей степени, чем разговор о ложном движении. «Ложный» необязательно употребляется лишь применительно к утверждениям.

ЛЕКЦИЯ II

Мы должны были рассмотреть, как вы помните, некоторые случаи и смыслы (лишь некоторые, да поможет нам Бог!), в которых *сказать* что-либо означает *сделать* что-либо или в которых *посредством* говорения или *в процессе* говорения чего-либо мы совершаем какое-либо действие. Эта тема развивает одно из направлений — среди многих других — в современном движении философии, цель которого — оспорить сложившееся веками убеждение, в соответствии с которым сказать что-либо, по крайней мере во всех достойных внимания случаях, означает всегда и попросту *утверждать* что-либо. Это убеждение, будучи, несомненно, неосознанным, несомненно, ложным, представлялось философам вполне естественным. Мы должны научиться бегать, не умея ходить. Если бы мы никогда не совершали ошибок, как бы мы исправляли их?

Я начну с того, что постараюсь привлечь ваше внимание примерами, известными как перформаторы, или перформативы. На поверхности, по крайней мере с грамматической точки зрения, они выглядят как «утверждения»; тем не менее если рассмотреть их более пристально, то становится очевидно, что они *не* являются «истинными» или «ложными». «Истинность» же и «ложность» — традиционные характеристики утверждений. Один из наших случаев был, например «Да» (Я беру эту женщину в жены), употребляемое в ходе брачной церемонии. Здесь мы могли бы сказать, что самим произнесением этих слов мы, скорее, *делаем* нечто — а именно совершаем акт бракосочетания, — а не *сообщаем* о чем-либо, а именно о том, *что* мы сочетаемся браком. И акт

бракосочетания, подобно, к примеру, действию заключения пари по крайней мере, предпочтительно, (хотя это и не совсем *точно*), описывать как *произнесение определенных слов*, а не совершение неких иных невербальных духовных актов, в которых эти слова — просто внешний аудиальный знак. Несмотря на то, что это, возможно, нелегко *доказать*, но это так, я утверждаю, что это факт.

Как я уже говорил, стоит отметить, что в американском законе о даче показаний сообщение одного лица о том, что говорило другое лицо, принимается в качестве свидетельского показания только в том случае, если это употребление относится к нашему перформативному типу, потому что оно рассматривается не только как сообщение о том, что *было сказано*, во избежание циркуляции недостоверных для суда слухов, но, скорее, как сообщение о том, что *было сделано*, как сообщение о действии. Это весьма точно соответствует нашим начальным, интуитивным представлениям о перформативах.

До сих пор мы лишь чувствовали, как твердая почва предрассудков уходит у нас из-под ног. Но ведь мы же в конце концов философы, как же нам действовать, исходя из этого? Мы можем сделать одну простую вещь — просто взять и отказаться от всего этого — иными словами, повернуть наши логические оглобли назад. Но все это займет время. Давайте сначала, по крайней мере, сконцентрируем внимание на том материале, который нами был отмечен раньше, а именно на «соответствующих обстоятельствах». Пospорить — это не значит, как я уже указывал выше, просто произнести слова «Спорим и т. д.»: кто-то может произнести их, но мы, тем не менее, будем не согласны, что спор состоялся, во всяком случае что он состоялся полностью. Чтобы мы были удовлетворены в этом отношении, нужно, чтобы ставка была сделана уже после того, как соревнование закончилось. Кроме того, такому употреблению слов так называемого перформатива, чтобы оно было успешным, должно, как правило, соответствовать множество других обстоятельств и действий. Что это за действия, мы и собираемся прояснить, рассматривая и подвергая типологизации те случаи, когда что-то *происходит не так* и при этом само действие — заключение брака, спор, завещание имущества, крещение и т. п., — следовательно, терпит неудачу, по меньшей мере, отчасти: поэтому употребление здесь, скажем, «мы» на самом деле не является ложным, но в целом *неуспешным* (unhappy). И по этой причине доктрину, *толкующую обстоятельства, которые могут складываться неудачно*, в случае подобных употреблений мы назовем теорией *Неудач* (Unfelicities).

Предположим, что мы пытаемся установить схематически — я не хочу претендовать ни на какого рода законченность применительно к этой схеме, — по крайней мере, некоторое число подобного рода вещей, которые необходимы для гладкого и «счастливого» функционирования перформатива (или, по крайней мере, развитого эксплицитного перформатива, как те, с которыми мы до сих пор имели дело), и затем дать примеры неудач и их последствий. Боюсь только, но в то же время надеюсь, что эти обязательные условия шокируют вас своей очевидностью.

(А.1) Должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенный конвенциональный эффект, и данная процедура должна включать употребление определенных слов при определенных обстоятельствах и далее

(А.2) определенные лица и обстоятельства должны соответствовать обращению к той процедуре, к которой обращаются в данном случае.

(В.1) Процедура должна осуществляться всеми ее участниками корректно и

(В.2) полно.

(Г.1) Если, как это часто бывает, процедура, предназначенная для использования определенными людьми, обладающими определенными мыслями или чувствами, является началом определенного последовательного этапа в поведении любого из участников, тогда лицо, участвующее в процедуре и, таким образом, обращенное к ней, должно фактически обладать этими мыслями и чувствами и участники должны иметь определенные намерения применительно к определенному поведению¹⁴ и далее

(Г.2) они должны вести себя последовательно на протяжении всей процедуры.

И вот, если мы погрешим против одного (или более) из этих шести правил, то наше перформативное употребление будет (тем или иным образом) неуспешным. Но, конечно, есть определенная разница между этими «способами» неуспешности — способами, которые будут «выведены на чистую воду» под теми же номерами, что и соответствующие им правила, обозначенные выше.

Первое существенное разграничение между правилами *А* и *В* в целом и правилами *Г* (здесь мы соответственно будем применять греческие [кириллические] буквы вместо латинских): если мы нарушим любое из первых четы-

¹⁴ Далее мы объясним, почему то обстоятельство, что люди обладают мыслями, чувствами и намерениями не рассматривается как просто одно из «обстоятельств», упомянутых в (А).

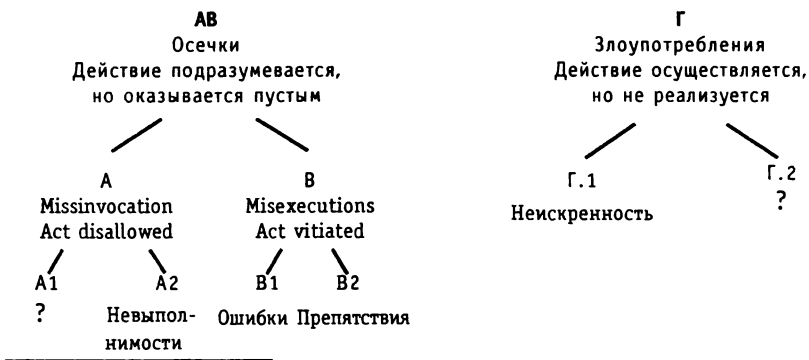
рех правил (А или В), например, употребив некую этикетную формулу некорректно или не будучи по тому положению, которое мы занимаем, в праве осуществлять это действие, потому что, скажем, мы уже женаты или церемонию названия корабля будет осуществлять не капитан, а его помощник по интендантской части, то во всех этих случаях рассматриваемое действие становится сомнительным: например, бракосочетание в этом случае вообще нельзя считать состоявшимся, валидным, или успешным. В то время как при нарушении правил Г действие *совершается*, хотя совершается при таких обстоятельствах (например, когда мы неискренни), которые являются злоупотреблением (abuse) процедуры. Таким образом, когда я говорю, что «Я обещаю...», и при этом не имею намерения держать обещание, то я действительно дал обещание, но... нам нужны какие-то имена для обозначения этого общего разграничения, поэтому будем в целом называть случаи А.1 — В.2, которые являются таковыми, что действие, для достижения которого и в процессе достижения которого строится определенная словесная формула и при этом действие не совершается, ОСЕЧКАМИ (MISFIRES); а с другой стороны, мы можем окрестить те неудачи (типа Г), когда действие все-таки *совершается*, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ (ABUSES) (не обращайтесь внимания на обыденные коннотации этих имен!). Процедура является осечкой, если употребление, к которому мы собирались прибегнуть, оказывается неприемлемым или дефектным — и наше действие (бракосочетание и т. п.) оказывается недействительным или безрезультатным. Мы говорим о нашем действии как о «претендующем на действие» (purported) или, возможно, как о попытке действия — или мы используем такое выражение, как «прошел через некоего рода бракосочетание» вместо стандартного «сочетался браком». С другой стороны, в случаях Г мы говорим о своих неудачных действиях как о «притворных» или «неискренних», скорее как о «подразумевавшихся» или «пустых», скорее как о нереализованных и незавершенных, нежели недействительных или неэффективных. Но позвольте мне поторопиться добавить, что эти разграничения не являются жесткими и окончательными и, более того, что таким словам, как «претендующий на действие» или «притворный», не надо придавать такого уж значения. Два слова о понятиях недействительного и неэффективного. Это не означает, конечно, сказать, что мы вообще ничего не делаем: здесь делается множество вещей, например, мы, в частности, зафиксировали акт двоеженства, но что мы не сделали, хотя и претендовали на то, чтобы сделать, это не совершили бракосочетания. Потому что, несмотря на название, двоеженство не подразумевает, так

алгебра бракосочетания является БУЛЕВОЙ.) Далее, «неэффективный» не означает здесь остающийся без «последствий, результатов, эффектов».

Далее мы должны попытаться прояснить общее разграничение между случаями *A* и *B*, то есть между осечками. В обоих случаях, обозначенных буквой *A*, имеет место *невостребованность* [misinvocation] процедуры — либо потому, что здесь, говоря не вполне ясным языком, предполагается *отсутствие* существования процедуры, или потому, что применение ее при данных обстоятельствах не может быть осуществлено. Следовательно неудачи этого типа *A* могут быть названы *Невостребованностями*. Среди них мы можем с полным правом окрестить второй тип — когда процедура хотя и существует, но не может быть осуществлена — *Невыполнимостями* [Misapplications]. Но мне трудно придумать название для второго класса. По контрасту со случаем *A* случай *B*, скорее, состоит в том, что и процедура имеется, и она может быть применена, но все срывается из-за того, что ритуал проведен некорректно: итак, случаи *B* в противоположность случаям *A* мы назовем *Неправильностями* [Misexecutions] по контрасту с *Невостребованностями*: подразумеваемое действие оказывается *испорченным* какой-либо ошибкой или препятствием в проведении церемонии. Класс В.1 образуется Ошибками, а Класс В.2 — Препятствиями.

Получаем следующую схему:¹⁵

Неудачи



¹⁵ Время от времени Остин использовал другие термины для обозначения различных видов перформативных неудач. Любопытно привести некоторые из них: А.1 - не-игра; А.2 - игра не по правилам; В - неудачи; В.1 - выполнение не по правилам; В.2 - невыполнение; Г - неуважение; Г.1 - притворство; Г.2 - незавершенность, вероломство, нарушения, недисциплинированность, злоупотребления. - Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.

Я ожидаю, что пункты А.1 и Г.2 вызовут некоторые сомнения; но мы просто отложим их для более детального рассмотрения.

Но прежде чем перейти к деталям, позвольте мне сделать несколько соображений общего характера, касающихся этих неудач. Мы можем спросить:

- (1) К какому множеству действий может быть применено понятие «неудачи»?
- (2) Насколько полной является вышеприведенная классификация «неудач»?
- (3) Являются ли эти классы «неудач» взаимоисключающими?

Рассмотрим эти вопросы в таком порядке:

- (1) Насколько распространены неудачи?

Ну, на первый взгляд кажется ясным, что этот феномен поразил нас (или оставил равнодушными) в связи с определенными действиями, которые, по крайней мере частично, являются действиями *употребления* слов, что неудача — это болезнь, которой подвержены *все* действия, которые имеют характер ритуалов или церемоний, все *конвенционализованные* действия, но не то, что *каждый* ритуал подвержен любой форме неудачи (это же касается любого перформативного употребления). Это явствует хотя бы из того факта, что многие конвенциональные акты, такие, как спор или передача имущества, могут быть осуществлены невербальным путем. Правило того же типа можно наблюдать во всех такого рода конвенциональных процедурах — достаточно в нашем случае А опустить специфическую соотнесенность действия с вербальным употреблением. Это более чем очевидно.

Но далее не мешает отметить и напомнить вам, как много «актов», с которыми имеют дело юристы, либо включают в себя употребление перформативов, либо, по крайней мере, осуществление некоторых конвенциональных процедур. И вы, конечно, сумеете оценить, что и пишущие по юриспруденции постоянно осознают различные виды неудач и даже иногда выказывают осведомленность о различного рода перформативных употреблениях. И лишь широко распространенная навязчивая идея, что юридические высказывания и употребления, используемые, скажем так, «законодательными действиями», *должны* тем или иным образом быть истинными или ложными утверждениями, воспрепятствовала тому, чтобы многие юристы ясно восприняли этот вопрос в целом — возможно даже, что многие из них достигли этого уровня понимания и я просто не знаю об этом в силу своей неосведомленности. Более важно для нас, тем не менее, осознать, что многие действия, которые попадают в сферу компетенции Этики, *не* являются, как это слишком склонны предпо-

ют в сфере компетенции Этики, не являются, как это слишком склонны предполагать философы, просто своего рода *физическими движениями*: очень многие из них имеют общий характер в целом или частично конвенциональных или ритуальных действий и по этой причине среди прочего предрасположены к неудачам.

Наконец, мы можем спросить — и здесь я должен выдать некоторые из своих секретов, — применимо ли понятие «неудачи» к употреблению, *которые являются утверждениями*? До сих пор мы вводили неудачу как характеристику *перформативных* употреблений, которые «определялись» (если это можно так назвать) главным образом по контрасту с, казалось бы, знакомым для нас «утверждением». Пока же я довольствуюсь указанием на один недавний поворот в философии, который привлек внимание к «утверждениям», которые хотя точно не были ложными и даже противоречивыми, тем не менее расценивались как возмутительные. Например, это утверждения, которые осуществляют референцию к чему-либо, что не существует, то есть утверждения типа «Нынешний король Франции лыс». Тут появляется соблазн сопоставить подобные суждения с намерением завещать имущество, которым вы не владеете. Разве оба случая не предполагают существование как неотъемлемую основу? Не является ли утверждение, которое осуществляет референцию к чему-либо, что не существует, скорее пустым, чем ложным? И чем больше мы рассматриваем утверждение не как предложение (или высказывание), а как речевой акт, тем в большей мере мы в целом склонны изучать утверждение как действие. Или опять-таки существуют очевидные сходства между ложью и ложным обещанием. Мы вернемся к этому позднее.¹⁶

(2) Наш второй вопрос был таким: насколько полной является наша классификация?

(i) Ну, на первый случай следует помнить, что, употребляя перформативы, мы, без сомнения, в достаточно определенном смысле «осуществляем (performing) действия», и, стало быть, будучи действиями, они подвержены всем типам неудовлетворительности, которым подвержены действия, но таким, которые отличаются — или отличимы — от того, что мы обсуждаем под именем неудач. Я имею в виду, что действия в целом (не все) бывают вынужденными, случайными или ошибочными, хотя и в той или иной степени непреднамеренными. В большинстве случаев мы определенно не захотим ска-

¹⁶ См. с. 47 сл. - Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.

зять про такого рода действие, что оно просто совершено, что некто его совершил. Я здесь не хочу разрабатывать общую доктрину: во многих случаях мы можем даже сказать, что действие было «пустым» (или могло бы стать пустым или подверженным незаконному воздействию) и т. п. И вот я полагаю, что некая общая доктрина достаточно высокого уровня в состоянии описать в рамках единой концепции и то, что мы называем неудачами, и другие «несчастные случаи», сопутствующие совершению действий — в нашем случае действий, содержащих перформативные употребления, — но мы не будем включать сюда такого рода неудачи: мы просто должны помнить, что особенности подобного рода всегда могут вторгнуться и реально вторгаются в тот или иной из обсуждаемых нами случаев. Особенности этого рода обычно известны как «смягчающие обстоятельства», или «факторы, редуцирующие или аннулирующие ответственность агента», и так далее.

(ii) Во-вторых, в качестве *употреблений* наши перформативы также подвержены другим видам неприятностей, которым подвержены *все* употребления. И хотя и эти осечки могут быть включены в общее рассмотрение, мы пока намеренно не станем их рассматривать. Я имею в виду, например, следующее: перформативное употребление будет, например, *в особом смысле* недействительным, или пустым, если оно осуществляется актером со сцены, или если оно начинает стихотворение, или если оно осуществляется как разговор человека с самим собой. Равным образом это относится к любому высказыванию — как смена декораций (*sea-scange*) в соответствии с обстоятельствами. Язык при таких обстоятельствах определенным образом употребляется несерьезно, в каком-то смысле *паразитирует* на нормальном употреблении — то есть так, как он рассматривается в учении об *этиоляциях* (*etilations*)¹⁷ языка. Все это мы *исключаем* из рассмотрения. Наши перформативные употребления, удачные или неудачные, должны быть поняты прежде всего как совершенные при нормальных обстоятельствах.

(iii) Отчасти с тем, чтобы не усложнять такого рода рассмотрение, я пока не ввожу еще один тип «неудач» — он на самом деле заслуживает такого названия, — возникающий от «непонимания». Очевидно, что для того, чтобы дать обещание, необходимо, чтобы в нормальном случае я:

- (А) был услышан кем-либо, возможно, тем, кому давал обещание;
- (В) был понят им как дающий обещание.

¹⁷ От «хиреть, чахнуть». — Прим перев.

Если одно из этих двух условий не удовлетворяется, возникает сомнение, действительно ли обещание имело место или что можно считать, что действие было только задумано или оказалось недействительным. В законе принимаются специальные меры предосторожности во избежание той или иной неудачи, например, при рассылке судебных повесток или вызовов в суд. Это весьма важное соображение, к которому мы вернемся в другой связи.

(3) Являются ли эти случаи неудач взаимоисключающими?

- (а) Нет, в том смысле что мы можем заблуждаться двумя способами сразу (мы можем неискренне обещать ослику морковку).
- (б) Нет, в том более серьезном смысле что заблуждения переходят одно в другое, пересекаются и решение между ними может быть по-разному произвольным.

Положим, к примеру, я вижу корабль на приколе, разбиваю о нос корабля висящую там бутылку шампанского и заявляю: «Нарекаю этот корабль именем “Товарищ Сталин”» и после этого выбиваю из-под него подпорку: но беда здесь не в том, что я не то лицо, которое выбрали для этой цели (независимо от того, действительно ли кораблю было уготовано имя «Товарищ Сталин»; возможно, на самом деле ситуация была сложнее). Мы все можем согласиться:

(1) что корабль не был назван;¹⁸

(2) что имел бы место крайне постыдный поступок.

Кто-то мог бы сказать, что я все же осуществил нечто вроде крещения корабля, но что мое действие было недействительным или неэффективным, потому что я не был тем лицом, которое было бы вправе осуществлять это действие; но, с другой стороны, можно также сказать, что здесь даже не было видимости того, чтобы кто-то был вправе это делать, или хотя бы убедительного предлога, чтобы он мог заявить об этом праве, поэтому в данном случае мы вообще не можем говорить о какой-либо приемлемой конвенциональной процедуре; это просто издевательство, подобно бракосочетанию с обезьяной. Или опять-таки кто-то может сказать, что частью процедуры является обладание правами на ее осуществление. Когда святой крестил пингвинов, было ли это недействительным потому, что процедура крещения неприменима к пингвинам, или же потому, что общепринятой процедуры крещения кого бы то ни

¹⁸ Крещение детей - дело еще более сложное: мы можем неправильно выбрать имя или пригласить не того священника, например, лицо, имеющее право крестить детей, но не уполномоченного крестить именно этого ребенка.

было, кроме людей, не существует? Я не думаю, что такого рода неопределенности имеют значение для теории, хотя заниматься их изучением приятно, практически же важно быть готовыми к встрече с ними вооруженными терминологией, как это принято у юристов.

ЛЕКЦИЯ III

В нашей первой лекции мы выделили в предварительном порядке перформативное употребление не как или не только как говорящее что-либо, не как истинное или ложное сообщение о чем-либо. Во второй лекции мы отметили, что, хотя оно не бывает истинным или ложным, все же оно подвержено иного рода критике — оно может быть неудачным, и мы составили список из шести типов *Неудач*. Из них четыре были таковы, что делали из употребления Осечку и предполагаемое действие становилось нулевым, или пустым, и поэтому не достигало результата; другие два типа, напротив, лишь приводили к тому, что совершение действия становилось злоупотреблением процедурой. Так мы, кажется, вооружились двумя новыми понятиями, с помощью которых можно сокрушить замок Реальности, или, возможно, Путаницы, то есть у нас в руках появилось два новых ключа и, конечно, одновременно два новых тормоза под нашими ступнями. В философии — кто вооружен, тот и предостережен. Поэтому я остановился на некоторое время на обсуждении некоторых вопросов, касающихся концепции Неудачи, и поместил ее на почетном месте на новой карте поля. Я заявил (1) что это понятие применимо ко всем церемониальным действиям, а не только к вербальным и что подобные действия встречаются чаще, чем принято думать. Я допустил (2) что наш список не полон и что существуют на самом деле целые измерения того, что можно было бы с полным основанием назвать «неудачами», касающимися проведения церемониальных действий в целом, и эти измерения определенно должны интересовать философию; и (3) что, конечно, различные неудачи могут комбинироваться или пересекаться, и, стало быть, вопрос о том, как классифицировать частные примеры этих явлений, в целом — вопрос произвольный.

Мы должны были бы привести некоторые примеры неудач, нарушающих наши шесть правил. Позвольте мне вначале напомнить вам правило А.1, в соответствии с которым должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенный конвенциональный эффект и включающая употребление определенных слов определенными людьми при определенных обстоятельствах; и правило А.2, разумеется, дополняющее правило А.1 и требующее, что особые лица и обстоятельства в данном случае должны соответствовать обращению к данной особой процедуре.

Должна существовать принятая конвенциональная процедура, имеющая определенные конвенциональные результаты, включающая употребление определенных слов определенными лицами при определенных обстоятельствах.

А.1

Последняя часть, конечно, просто предназначена для ограничения сферы действия случаев употребления и не так важна в принципе.

Наша формулировка этого правила содержит два слова: «существует» и «общепринятый». Но мы должны с полным основанием спросить, может ли иметь место такой смысл слова «существовать», который не совпадал бы со смыслом слова «быть общепринятым», и не было ли предпочтительным заменить их выражением «быть в (общем) пользовании». Следовательно, мы не должны говорить «(1) существует, (2) общепринят». Ну что ж, чтобы разделить этот уважаемый вопрос, давайте *сначала* возьмем и рассмотрим слово «общепринятый».

Если кто-либо осуществляет перформативное употребление и это употребление подпадает под понятие «осечки», потому что вызванная процедура не является *общепринятой*, то это, вероятно, какие-то другие люди, не участвующие в разговоре, не приняли ее (по крайней мере, если говорящий говорит *серьезно*). Какой тут можно привести пример? Рассмотрим «Я развожусь с тобой», сказанное мужем жене в христианской стране и в том случае, когда они оба скорее христиане, чем мусульмане. В этом случае можно сказать, что «он, тем не менее, не развелся с нею (успешно): мы принимаем только некоторые иные вербальные и невербальные процедуры»; или даже, возможно, «мы (мы) не принимаем никакой процедуры, имеющей целью развод — брак не расторгим». Так можно зайти столь далеко, что отказать от *всего кодекса* процедуры, например, кодекса чести, предусматривающего дуэль: допустим, вызов может быть осуществлен посредством «Я пришлю вам моих секундан-

тов», что эквивалентно фразе «Я вас вызываю», а мы только пожмем плечами. Общая ситуация раскрыта в несчастливой истории Дон Кихота.

Конечно, будет, очевидно, сравнительно просто, если мы вообще никогда не будем принимать «подобных» процедур — то есть любых процедур, обеспечивающих осуществление подобных действий, или какую-либо конкретную процедуру для реализации данного действия. Но равным образом возможны случаи, когда мы порой — при определенных обстоятельствах и в определенных руках — принимаем процедуру, но не при любых других обстоятельствах или в других руках. И здесь мы часто будем пребывать в сомнении (как в вышеприведенном примере с крещением) относительно того, будет ли неудача помещена в наш настоящий класс А.1 или в А.2 (или даже в В.1 или В.2). Например, на вечеринке, выбирая себе пару, вы говорите «Я выбираю Джорджа». Джордж ворчит: «Я не умею играть». Выбран ли Джордж? Несомненно, ситуация неуспешная. Ладно, мы можем сказать: вы выбрали Джорджа либо потому, что не существовало такой договоренности, которая позволяла бы выбирать людей, не умеющих играть, либо потому, что Джордж в этой ситуации неподходящий объект для процедуры выбора. Или, находясь на пустынном острове, вы можете сказать мне «Пойди и набери дров»; а я могу сказать «Почему это ты мне приказываешь!» или «Ты не уполномочен раздавать мне приказания». Я не принимаю приказов, идущих от вас, когда вы пытаетесь навязать мне свой авторитет (которому я могу подчиниться, а могу и не подчиниться) на необитаемом острове в противоположность тому случаю, когда вы — капитан корабля и поэтому имеете подлинный авторитет.

И вот мы можем сказать, поместив случай под рубрику А? (Невыполнимости (Misaapplication)): процедура — употребление определенных слов и т. д. — была О. К. и вполне приемлема, но обстоятельства, при которых она инвоцировалась, были несоответствующими: «Я выбираю» возможно только тогда, когда субъект глагола является «командиром» или «авторитетом».

Или, опять-таки, мы могли бы сказать, поместив случай под правило В.2 (и, возможно, мы бы редуцировали последнее предположение к такому): процедура не может быть полностью осуществлена, потому что ее обязательной частью является то, скажем, что лицо, которое является объектом глагола «Я приказываю...», должно в соответствии с некими предварительными процедурами, устными или письменными, подтвердить авторитет того лица, которое собирается отдавать приказы, например, посредством слов «Я обещаю выполнять то, что ты мне приказываешь». Это, конечно, одна из тех неопреде-

ленностей — и на самом деле довольно общего типа, — которые лежат в основе спора, когда мы обсуждаем политическую теорию, существует ли, или должен существовать общественный договор.

Мне представляется, что в принципе вообще не важно, что мы решим в конкретном случае — хотя мы можем согласиться, либо опираясь на факты, либо вводя дальнейшие дефиниции, что можно предпочесть одно решение или другое, — но вот что важно прояснить в принципе:

(1) как бы много в противоположность В.2 мы ни включили в процедуру, для кого-то все еще будет возможно отвергнуть ее *целиком*;

(2) что для процедуры быть *принятой* означает куда больше, чем просто тот факт, что она является *общеупотребительной* даже среди тех лиц, которых она непосредственно касается; и что это должно оставаться в принципе открытой возможностью для каждого отвергать любую процедуру — или кодекс процедуры, — даже такую, которая раньше ими признавалась, как это, например, может произойти с кодексом чести. Конечно, к тому, кто так поступает, применимы определенные санкции; другие отказываются играть с ним или говорят, что он не является человеком чести. Но, *главное*, не следует все загонять в разряд фактических обстоятельств; против этого существует тот же старый аргумент, как и против попытки выводить «надо» из «имеется». (Общепринятость в общем-то не является обстоятельством.) Для многих процедур, например для игр, тем не менее, вполне естественным обстоятельством может быть то, что я могу отказаться от игры или даже что я могу усомниться, можно ли определить понятие «общепринятости» через понятие «быть обычно используемым». Но это все чрезвычайно трудные материи.

Теперь, во-вторых, что бы мы могли подразумевать под предположением, что иногда процедура может даже не существовать — в противоположность вопросу, является ли она общепринятой для той или иной группы?¹⁹

(i) Мы обладаем случаями процедур, которые «более не существуют» сугубо в том смысле, что, хотя они были когда-то общепринятыми, больше они не являются общепринятыми или даже принятыми кем-либо; случай подобной процедуры представляет, например, вызов на дуэль; а также

¹⁹ Если кто-то будет возражать против нашего сомнения в самом существовании этой процедуры, на что он имеет полное право, поскольку в наше время слово «существовать» покоробит любого, то можем на это ответить, что наше сомнение, скорее, затрагивает природу, или точное определение, или понимание подобной процедуры, которая безусловно существует и на самом деле *является* общепринятой.

(ii) мы располагаем даже случаем процедуры, когда она кем-то вводится. Иногда он может «вырваться с ней вперед», как в футболе, когда игрок, который, получив мяч, рвется к воротам. Рассмотрим возможный случай: сказать «Вы вели себя трусливо» может означать отчитать или оскорбить человека; и я могу сделать это представление эксплицитным, сказав «Я делаю вам выговор», но я не могу сделать этого, сказав «Я оскорбляю вас», — причины этого в данном случае не имеют для нас значения.²⁰ Все это важно только потому, что если слова «Я оскорбляю вас» все же произносятся, то они могут породить особую разновидность положения «вне игры»:²¹ если оскорбление является конвенциональной процедурой и на самом деле преимущественно вербальной, то в каком-то смысле мы не можем ничем помочь в понимании процедуры, связанной с тем человеком, который говорит «Я оскорбляю вас»; и все же мы стоим перед необходимостью отказаться от нее прежде всего потому, что смутно ощущаем присутствие некоего препятствия, мешающего окончательно признать эту конвенцию, хотя природа этого препятствия не вполне нам понятна.

Гораздо более обычными, тем не менее, будут случаи, где не определено, насколько далеко простирается процедура — какие случаи она покрывает и на какие ее можно распространить. Это заложено в природе любой процедуры, что границы ее общепринятости размыты, и поэтому, конечно, нельзя дать «точного» ее определения. Всегда появится трудный маргинальный случай, такой, что даже вся предыдущая история конвенциональной процедуры не сможет помочь решить окончательно, применима ли данная процедура корректным образом к настоящему случаю или нет. Могу ли я крестить собаку, если она, по общему признанию, разумна? Или со мной тогда не будут играть? Закон изобилует такими трудными решениями, в которых, конечно, они (решения) принимаются более или менее произвольно в пользу (A.1) — что конвенции не существует — или в пользу (A.2) — что обстоятельства не соответствуют обращению к конвенции, которая несомненно существует: другими

²⁰ Многие такие возможные процедуры, когда они осознаются, производят неблагоприятное впечатление: например, возможно, мы не должны разрешать употребление формулы «Обещаю тебе, что я тебя изобью». Но мне говорили, что во времена расцвета студенческих дуэлей в Германии было принято, чтобы члены одного клуба проходили рядами мимо членов другого клуба и каждый вежливо говорил противнику: *Beleidigung* 'Я оскорбляю вас'.

²¹ Прежде Остин называл категорию неудач A.1 «не-игра». Позже он отказался от этого названия, но в этом месте рукописи оно еще встречается. - *Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.*

словами, мы будем руководствоваться установленным нами же «прецедентом». Юристы обычно предпочитают последнее, когда они должны заниматься применением, а не созданием законов.

Существует, тем не менее, дальнейший тип случая, который может возникнуть и который может быть классифицирован многими способами и заслуживает специального рассмотрения.

Все перформативные употребления, которые я рассматривал в качестве примеров, представляют собой высокоразвитые образцы того типа, что мы позже назовем *эксплицитными* перформативами в противоположность чисто *имплицитным* перформативам. То есть они все начинаются или включают в себя высокозначимое и недвусмысленное выражение, такое, как «Спорим», «Я обещаю», «Я завещаю», выражение, весьма обычно также используемое в акте именованья, который, если делается такое употребление, я совершаю — например, споря, обещая, завещая и т. д. Но, конечно, и, очевидно, важно, что мы можем по случаю употреблять «Иди», чтобы достичь практически того же самого, чего мы достигаем посредством употребления «Я приказываю тебе идти»: и мы с большой вероятностью говорили в любом случае, описывая последовательно, что происходило, что он приказал мне идти. Может быть, это кажется фактически не вполне определенным, что имеет место всегда, когда мы используем такую неопределенную формулу как чистый императив «Иди», приказывает ли мне говорящий идти (или подразумевает, что приказывает) или просто советует, просит или бог весть что еще. «Бык на поле» сходным образом *может быть* и предостережением, а может быть просто описанием сцены, а «Я буду там» может быть, а может и не быть обещанием. Здесь мы имеем примитивный в отличие от эксплицитного перформатив; и здесь может не быть ничего в обстоятельствах, посредством которых мы можем решить, является ли вообще это утверждение перформативным. Так или иначе, в данной ситуации нечто должно предоставлять мне возможность *выбора*. Это нечто *может быть* понято как перформативная формула, но требуемая процедура не достаточно эксплицитно разработана. Положим, что я не стал *рассматривать это* как приказ или не был *обязан* его так рассматривать. Человек не *воспринял* высказывание *как* обещание: то есть при определенных обстоятельствах он не принимает процедуру на том основании, что говорящий исполнил ритуал неполно.

Можно уподобить эти случаи неполному или ошибочному осуществлению (В.1 или В.2), за исключением того, что на самом деле они полны, хотя и не

однозначны. (В юридической практике, конечно, такого рода неэксплицитный перформатив *будет* в нормальном случае вынесен в графу В.1 или В.2 — имеется правило, что завещать неэксплицитно, например, есть либо некорректное, либо неполное осуществление действия; но в обыденной жизни нет такой жесткости.) Мы могли бы также уподобить эти случаи Непониманию (которое мы еще не рассматривали) — но это будет непонимание особого рода, содержащее иллюкутивную силу употребления в противоположность его значению. И смысл здесь не в том, что слушающие *не* поняли, а в том, что они *не обязаны* были понимать, например, *воспринимать* высказывание как приказ.

А.2

Конкретные люди в конкретных обстоятельствах в определенном случае должны соответствовать обращению именно к данной конкретной процедуре.

Мы обратимся теперь к нарушениям правил А.2, того типа неудач, который мы назвали Невыполнимости (Misapplications). Имя примерам — легион. «Я назначаю тебя», сказанное, когда вы уже назначены, или когда кто-то другой уже назначен, или когда я не в праве назначать, или если вы — лошадь; «Я согласен», сказанное, когда вы в находитесь в недопустимой степени родства с невестой или, стоя перед капитаном корабля, когда он не в море.²² «Я дарю», сказанное, когда эта вещь мне не принадлежит или если это фунт моей живой и неотторжимой плоти. Мы обладаем различными особыми терминами для использования их в различных типах случаев — *ultra vires*,²³ «несостоятельность», «неподходящий объект (либо человек и т. д.)», «не уполномочен» и так далее.

Граница между «неподходящими людьми» и «неподходящими обстоятельствами», конечно, не будет очень четкой и непроницаемой. На самом деле «обстоятельства» могут с легкостью быть до такой степени расширены, что вместят и характеры всех участников. Но мы должны делать разграничение между случаями, когда непригодность лиц, объектов, имен и т. д. является делом «несостоятельности», и простыми случаями, когда объект или тот, кто совершает действие, — не того рода или типа. Это опять-таки неясная, расплывчатая дистинкция, но нельзя сказать, что она не важна (скажем, в юридической практике). Таким образом, мы должны разграничивать случаи, когда священник

²² Капитан корабля имеет право регистрировать брак в открытом море. — *Прим. перев.*

²³ Это выше человеческих сил (*лат.*) — *Прим. перев.*

нарекает не того младенца правильным именем или когда он нарекает его именем Альберт вместо Альфред, от тех случаев, когда говорится «Я нарекаю этого ребенка 2704», или «Я обещаю набить вам морду», или случай назначения лошади консулом. В последних случаях имеются неправильные типы или роды, в то время как в остальных непригодность является только делом несостоятельности.

Некоторые пересечения А.1 с А.2 я уже отмечал: возможно, мы лучше назовем (А.1) невостробованностью (*misinvocation*), если человек *сам по себе* непригоден, а не просто не уполномочен совершать данное действие, — если *ничто* — никакая предыдущая процедура или назначение и т. д. — не сможет исправить положение. С другой стороны, если мы рассматриваем вопрос о *назначении* буквально (как позицию в противоположность статусу), мы можем классифицировать неудачу как дело неправильного выполнения скорее, чем неправильного применения процедуры — например, если мы голосуем за кандидата, прежде чем он начал избирательную кампанию. Вопрос здесь в том, в какой мере мы можем вернуться назад в совершении «процедуры».

Наконец, у нас есть примеры В (мы их, конечно, уже касались), называемые Неправильностями (*Misexecutions*).

В.1

Процедура должна выполняться всеми участниками правильно.

Это — ошибки, они состоят в использовании, например в конвенции, ложной формулы; это процедура, которая соответствует людям и обстоятельствам, но протекает неправильно. Примеры наиболее легко видны в области права; в повседневной жизни, где нет такой регламентации, они, естественно, не так строго определены. Использование эксплицитных формул подпадает под эту категорию. Кроме того, туда подпадает использование расплывчатых формул и неопределенных референций, например, если я говорю «мой дом», в то время как у меня их два, или если я говорю «Спорим, что забег сегодня не состоится», когда состоялся уже более чем один забег.

Это другой вопрос, отличный от непонимания или медленного восприятия со стороны аудитории; ошибка в ритуале не зависит от мнения аудитории. Одна из вещей, которая производит специфическую трудность, это вопрос, необходимо ли «*consensus ad idem*»,²⁴ когда в него включены всего две стороны. Существенно ли для меня обеспечить *корректное понимание* здесь, как и

²⁴ Согласие сторон (*лат.*) - Прим. перев.

где бы то ни было еще? В любом случае ясно, что это вопросы, относящиеся к правилам типа Г.

В.2

Процедура должна проводиться всеми участниками полностью.

Здесь встречаем препятствия; мы пытаемся осуществить процедуру, но действие прерывается. Например, моя попытка заключить пари, сказав: «Спорим на шесть пенсов», прерывается до тех пор, пока ты не скажешь «Идет» или какие-то слова, приводящие к тому же эффекту; моя попытка жениться при помощи произнесения слов «Я согласен» уничтожается, если женщина говорит «А я не согласна»; моя попытка вызвать вас на дуэль срывается, если я говорю «Я вызываю вас», но при этом мне не удается послать вам своих секундантов; моя попытка торжественного открытия библиотеки срывается, если я говорю «Я открываю эту библиотеку», но ключ заклинивает в замке; соответственно крещение корабля срывается, если я выбью подпорку до того, как произнесу слова «Спускаю это судно на воду». Опять-таки в повседневной жизни определенные небрежности в процедуре разрешены — в противном случае никакие университетские дела не продвигались бы!

Естественно, иногда возникают неопределенности, касающиеся того, требуется ли определенная вещь или нет. Например, должны ли вы принять подарок, который я вам дарю? Разумеется, в формальном бизнесе принятие подарка само собой разумеется, а в обыденной жизни? Сходная неопределенность возникает, если назначение сделано без согласия назначенного лица. Вопрос здесь в том, до какой степени подобные действия могут быть односторонними. Сходным образом возникает вопрос следующего плана: когда заканчивается действие, что считать его окончанием?²⁵

Среди всего этого я хочу вам напомнить, что наш анализ неуспешности не затрагивает таких параметров, которые могут иногда возникать; скажем, тот, кто осуществляет действие, совершает простую ошибку по фактическим вопросам, не говоря уже о разногласиях во мнениях; например, не существует конвенции, в соответствии с которой я могу обещать вам сделать что-то, что нанесет вам ущерб, и тем более не существует конвенционального условия выполнения такого рода обещания; но, предположим, я говорю: «Я обещаю послать вас в женский монастырь», думая при этом — я, но не вы, — что это

²⁵ Вызывает сомнение, считать ли несостоявшееся дарение сигналом незавершенности процедуры или отнести его к неудачам типа Г.

было бы для вас лучше всего, или, наоборот, вы довольны, но я против, или даже когда мы оба думаем согласно, но факты говорят о том, что это плохо. Обратился ли я в этом случае к несуществующей конвенции или к непригодной ситуации? Бесполезно заявлять в качестве общего принципа, что не может быть удовлетворительного выбора между этими альтернативами, которые слишком грубы для того, чтобы заполнить соответствующие тонкие случаи, нет такого простого приема, чтобы просто истолковать всю сложность ситуации, которая в точности не удовлетворяет обычной классификации.

Может показаться в результате всего, что здесь говорилось, что мы просто отказываемся от своих же правил. Нет, это не так. Ясно просматриваются все шесть возможностей неудач, даже если иногда не совсем ясно, куда включить конкретный случай; и мы можем, если захотим, их определять, по крайней мере для данных случаев. И мы должны вообще любой ценой избегать упрощения, которое можно было бы назвать профессиональным заболеванием философов, если бы само это заболевание и не было бы их профессией.

ЛЕКЦИЯ IV

В прошлый раз мы рассматривали случаи Неудач и имели дело с такими случаями, где не имелось процедуры, или общепринятой процедуры; где процедура привлекалась в неподходящих условиях; где процедура проваливалась в своем исполнении или выполнялась не полностью. И мы отметили, что в конкретных случаях могут иметь место наложения и пересечения и что они в целом пересекаются с Непониманиями (таким типом неудач, к которому склонны все употребления) и Ошибками.

Последний тип примеров относится к разрядам Г.1 и Г.2 — неискренности и нарушению.²⁶ Здесь, мы сказали, осуществление процедуры *не* является пустым, хотя оно и неуспешно.

Позвольте мне повторить определения:

Г.1: Если, как это бывает, процедура предполагает у участников определенные мысли, чувства или установки или она направлена на возбуждение у всех участников поведения определенного типа, то лицо, участвующее в процедуре и вызывающее ее к жизни, обязано реально испытывать эти мысли, чувства или установки и другие участники готовы также вести себя соответствующим образом;

Г.2: участники должны вести себя соответствующим образом и впоследствии.

1. Чувства

Примеры отсутствия обладания реквизитом соответствующих чувств:

«Я поздравляю вас», произносящееся, когда я вовсе не чувствую радости, возможно, даже раздражен.

«Я сочувствую вам», говорящееся, когда на самом деле я вам даже не симпатизирую.

²⁶ См. с. 26 и сноску.

С обстоятельствами здесь все в порядке, и действие совершенно, оно не пусто, но оно *неискренне*; мне нет дела до того, чтобы поздравлять вас или сочувствовать вам, у меня не было для этого соответствующего чувства.

2. Мысли

Примеры отсутствия обладания рекви́зитом соответствующих мыслей:

«Я советую вам», сказанное, когда я не думаю, что следование этому совету будет для вас наилучшим.

«Я считаю его невиновным — я оправдываю его», сказанное, когда на самом деле я полагаю, что он виновен.

Эти акты не являются пустыми. Я действительно советую и действительно выношу вердикт, хотя и *неискренне*. Здесь имеется очевидная параллель с одним элементом, необходимым в акте *лжи*, — с представлением речевого акта как *утверждения*.

3. Намерения

Примеры отсутствия обладания рекви́зитом соответствующих намерений:

«Я обещаю», сказанное, когда я не намерен выполнять то, что я обещаю.

«Спорим», сказанное, когда я не собираюсь вступить в игру.

«Объявляю войну», сказанное, когда я не намерен воевать.

Я не употребляю термины «чувства», «мысли» и «намерения» в их «техническом смысле», противопоставляя их обыденному употреблению. Но все же некоторые комментарии необходимы:

(1) Различия столь неопределенны, что соответствующие случаи не всегда легко разграничить; и тем не менее, конечно, случаи могут комбинироваться, и обычно они действительно комбинируются. Например, если я говорю «Я поздравляю вас», должны ли мы на самом деле обладать чувством или, скорее, мыслью, что вы действительно сделали что-то выдающееся и заслуживаете поздравления? Думаю ли я при этом или чувствую ли я, что это было нечто достойное поздравления? Или, опять же, в случае обещания я должен обладать определенным намерением; но я также должен думать о том, выполнимо ли мое обещание, и полагать, возможно, что выполнение моего обещания является благом для вас, или быть уверенным, что это благо для вас.

(2) Мы должны различать реальное полагание, например, что он виновен, что он действительно совершил этот проступок, от полагания того, что это достижение принадлежит именно ему; из этого соответствия того, что мы думаем, реальному положению вещей мы делаем вывод о правильности или ошибоч-

ности нашей мысли. (Сходным образом мы можем отличать реальное чувство от чувства оправданного, подлинное намерение от выполнимого намерения.) Но вот наиболее интересный, то есть смешанный, случай этой мысли: здесь большую роль играет неискренность, являющаяся существенным элементом лжи в отличие от того, чтобы просто сказать, что это не соответствует действительности. Например, то, что я думаю, когда говорю, что он «невиновен» в том, что совершил этот проступок, или то, что я думаю, когда говорю «Я поздравляю», думая при этом, что это достижение было сделано другим человеком. Но ведь я могу и ошибаться, думая таким образом.

Если по крайней мере некоторые наши мысли неверны (в противоположность неискренним мыслям), это может привести к неудачам иного рода:

(а) Я могу подарить кому-то вещь, которая на самом деле мне не принадлежит (хотя я думаю, что она моя). Мы можем сказать, что это Невыполнимости (Misapplications), что обстоятельства, предметы, люди и т. д. не соответствуют данной процедуре дарения. Но мы должны помнить, что мы решили исключить из рассмотрения целое множество того, что может быть названо Неудачами, возникающими вследствие ошибок и непонимания. Следовало бы отметить, что ошибка в целом не делает действие *пустым*, хотя она может сделать его *извинительным*.

(б) «Я советую вам сделать X» является перформативным употреблением; рассмотрим случай, когда я вам советую сделать что-то, что на самом деле не в ваших интересах, хотя я думаю, что в ваших. Этот случай совершенно отличен от (1),²⁷ поскольку у нас здесь вовсе нет соблазна думать, что действие совета, вероятно, может быть *пустым* или *потенциально пустым (voidable)* или что здесь вообще нет нужды сомневаться в искренности [намерения]. Скорее, мы здесь вводим совершенно новое измерение критики; здесь мы критиковали *дурной совет*. Независимо от того, является ли действие успешным или неуспешным, оно не застраховано от критики. Мы к этому еще вернемся.

(3) Более сложный по сравнению с предыдущими случай, который мы подробно опять-таки рассмотрим позже. Существует класс перформативов, которые я называю *вердиктивами*: например, когда мы говорим «Я считаю подсудимого виновным» или просто «виновен», или когда судья фиксирует положение «вне игры». Когда мы говорим «виновен», это может быть успешным в

²⁷ Возможно, это относится к примерам на с. 41, но не к примерам на с. 42. К сожалению, по рукописям это определить невозможно. — Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.

том смысле, если мы искренне думаем о доказательствах того, что он виновен. Но, конечно, процедура в целом должна быть правильной; она даже вряд ли может быть вопросом мнения, как в вышеописанном случае. Таким образом, когда судья говорит «вне игры», то это истина в последней инстанции. Но, опять-таки, мы можем получить «плохой» вердикт: он может быть не только *не оправданным* (применительно к праву), но в то же время *неправильным* (применительно к футбольному судье). Итак, здесь мы располагаем чрезвычайно неуспешной ситуацией. Но она еще *не* является неудачной в каком-либо из смыслов: она не пуста (если судья сказал «вне игры», гол не засчитывается; решение судьи окончательно) и не неискренняя. Тем не менее мы не имеем дело сейчас именно с такими ненадежными неприятностями, но только с теми, которые очерчивают область неискренности.

(4) В случае намерения также возникают свои неувязки:

(а) Мы уже заметили сомнительность того, что конституирует последующее действие, и того, что лишь завершает, заканчивает целое, единое действие: например, трудно определить отношение между

«Я дарю» и передачей владения,

«Я беру эту женщину в жены» и завершением бракосочетания

«Я продаю» и окончанием сделки,

хотя, например, в случае обещания разграничение легко. Потому существуют сходные возможности проведения различий разными способами, различий намерения осуществить *последующее* действие и намерения закончить *текущее* действие. Здесь не возникает никаких проблем в связи с понятием неискренности.

(b) Мы примерно очертили круг случаев, в которых мы должны иметь определенные намерения, и отчленили их от тех особых случаев, когда мы должны иметь намерение осуществить определенный курс дальнейших действий, когда использование данной процедуры предназначено для осуществления этого действия (облигаторно или рекомендательно). Примером такой особой процедуры является принятие на себя обязательства сделать что-либо, возможно, крещение. Главная цель подобной процедуры состоит в том, чтобы сделать определенное поведение упорядоченным, а другое поведение — неупорядоченным — для многих целей, например, для выведения правовой формулы, подобной процедуре можно достичь наиболее успешно. Но другие случаи не такие легкие: я могу, например, выразить свое намерение, просто сказав «Я

буду...». Я должен, конечно, обладать этим намерением, если я не веду себя неискренне во время употребления этих слов — но что является показателем степени успешности, если я в конце концов не сделал того, что намеревался сделать? Или, опять-таки, в предложении «Добро пожаловать» — сказать так означает приглашение, здесь необязательно проявление искренности: но что если говорящий при этом ведет себя грубо? Или, опять-таки, я даю вам совет, и вы ему следуете, но потом я вас обманываю — до какой степени на меня налагается обязательство так не поступать? Или просто от меня «не ждут» такого поведения? Или это является частью спрашивания-и-принятия совета, что определенное осуществление такого последующего поведения является неупорядоченным (out of order)? Или сходным образом я советую вам сделать что-то, вы соглашаетесь с этим, а затем я протестую против этого — является ли в этом случае мое поведение неупорядоченным? Вероятно, да. Но существует устойчивая тенденция к прояснению подобного рода ситуаций, как, например, когда мы движемся от «Я прощаю» к «Я извиняю» или от «Я буду» к «Я намереваюсь» или к «Я обещаю».

Итак, слишком много уделено внимания случаям, в которых перформативные употребления могут быть неудачными с тем результатом, что рассматриваемое действие лишь подразумевается, осуществляется притворно и т. д. И вот теперь уместным представляется заявить, что все сказанное выше равносильно утверждению — если использовать жаргон, — что определенные условия должны быть удовлетворены: если действие должно быть успешным — нужно сделать определенные вещи. И это, ясное дело, обязывает нас сказать, что для того, чтобы определенные перформативные употребления были успешными, определенные утверждения должны *быть истинными*. Это само по себе является тривиальным результатом нашего исследования. Ну что ж, чтобы избежать, по крайней мере, тех неудач, которые мы выявили, мы должны рассмотреть:

- (1) что это за утверждения, которые должны быть истинными? и
- (2) можем ли мы сказать что-либо вменяемое о связи перформативного употребления с этими утверждениями?

Вспомним, что мы говорили на первой лекции о том, что мы можем в некотором смысле *подразумевать* кучу вещей, которые должны произойти, когда мы говорим «Я обещаю», но это совершенно отличается от того, чтобы сказать, что употребление «Я обещаю» является *утверждением*, истинным или

ложным, и что дело обстоит так-то и так-то. Я остановлюсь на некоторых важных вещах, которые должны быть истинными, если осуществление действия должно быть успешным (не все — но даже эти теперь кажутся достаточно скучными и тривиальными — я надеюсь, что именно *сейчас* они кажутся для нас «очевидными»).

И вот когда, например, я говорю «Извините» и тем самым фактически прошу прощения, то, что мы можем сказать: я или он действительно совершили акт прощения, тогда —

- (1) истинно, а не ложно, что я делаю что-то (или сделал) — на самом деле множество вещей, но, в частности, я прошу прощения (попросил прощения);
- (2) истинно, а не ложно, что определенные условия при этом обязательно соблюдаются, в особенности те, что расписаны в наших Правилах А.1 и А.2;
- (3) истинно, а не ложно, что обязательные и другие определенные условия типа *Г*, в особенности то, что я думаю что-то; и
- (4) истинно, а не ложно, что впоследствии я обязан совершить нечто.

Теперь, строго говоря, смысл, в котором высказывание «Я прошу прощения» предполагает истинность каждого из этих пунктов, был уже объяснен — мы объяснили каждый из этих пунктов. Но интересно сравнить эти «импликации» перформативных употреблений с определенными открытиями, сделанными сравнительно недавно применительно к «импликациям» противоположного и пользующегося предпочтением типа употреблений, *утверждения*, или констативного употребления, которое само по себе в отличие от перформатива является истинным или ложным.

Прежде всего (1) какова связь между употреблением «Я прошу прощения» и фактом, что я прошу прощения? Важно понять, что эта связь отлична от связи между «Я бегу» и тем фактом, что я бегу (или в случае подлинного «чистого» сообщения — между «он бежит» и тем фактом, что он бежит). Это отличие в английском языке маркировано употреблением неконтинуального настоящего времени в перформативных формулах; в других языках это не всегда так — в них длительное настоящее вообще может отсутствовать, и даже в английском оно не всегда употребляется.

Мы можем сказать: в обычных случаях, например в случае бега, имеется факт, что он бежит, который делает утверждение о том, что он бежит, *истинным*; или, опять-таки, что истинность констативного употребления «он бе-

жит» зависит от того, что он действительно бежит. В то время как в нашем случае факт, что я прошу прощения, продуцируется успешностью перформатива «Я прошу прощения» — и то, преуспею ли я в том, что прошу прощения, зависит от успешности перформатива «Я прошу прощения». Это один способ, при помощи которого мы можем оправдать перформативно-констативное разграничение — разграничение между словом и делом.

Теперь рассмотрим еще три из многих способов, при помощи которых утверждение предполагает истинность определенных других утверждений. Один из тех, который я отмечу, хорошо известен. Остальные обсуждались совсем недавно. Мы не будем рассматривать их слишком технически, хотя это и может быть сделано. Я имею в виду открытие того, что способов, при помощи которых мы можем ошибаться, говорить неправильно, возникающих при посредстве «фактуальных» утверждений, гораздо больше, чем просто противоречий (которое так или иначе является сложным отношением, которое требует и определения, и объяснения).

1. Следует

Из «Все люди краснеют» следует «Некоторые люди краснеют». Мы не можем сказать «Все люди краснеют, но некоторые люди не краснеют», или «Кошка сидит под ковром, и кошка сидит на ковре», или «Кошка сидит на ковре, и кошка не сидит на ковре», поскольку в каждом из этих примеров из первого предположения следует противоречивость второго.

2. Предполагает

Мы говорим: «Кошка сидит на ковре» предполагает, что я верю в это в том смысле термина «верю», который был отмечен Дж. Э. Муром. Мы не можем сказать «Кошка сидит на ковре, но я не верю в это». (На самом деле это необычное употребление слова «предполагает»: «подразумевает» на самом деле слабее — как когда мы говорим «Он не знает, что я этого не знаю» или «Я исходил из того (предполагал), что вам это известно (в противоположность — верил в то).».)

3. Подразумевает

«Все дети Джека лысые» подразумевает, что у Джека есть дети. Мы не можем сказать «Все дети Джека лысые, но у Джека нет детей» или «У Джека нет детей, а все его дети лысые».

Во всех этих случаях возникает одинаковое чувство нелепости того, что говорится. Но мы не должны использовать некий общий термин вроде «подразумевает» или «противоречие», потому что между всеми этими случаями очень большое различие. Существует гораздо больше способов «убить кошку, чем утопить ее в масле»; но это именно то (как говорит пословица), что мы упускаем: существует гораздо больше способов сделать речь нелепой, чем чистое противоречие. Главное здесь следующее: как много способов и почему они делают речь нелепой и на чем основана эта нелепость?

Давайте сопоставим эти три случая с обычными способами:

1. Следует

Если из p следует q , то из $\sim q$ следует $\sim p$: если из «кошка сидит на ковре» следует «ковер находится под кошкой», то из «ковер не находится под кошкой» следует «кошка не сидит на ковре». Здесь из истинности предложения следует истинность дальнейшего предложения, или истинность одного несовместима с истинностью другого.

2. Предполагает

Здесь по-другому: если говоря что кошка сидит на ковре, я предполагаю, что я верю в то, что это так, то это не означает, что мое неверие в то, что кошка сидит на ковре, предполагает то, что кошка не сидит на ковре (в обыденном английском языке). И опять-таки, мы здесь не имеем дело с несовместимостью пропозиций — они вполне совместимы: может быть такой случай, что одновременно кошка сидит на ковре, но я в это не верю, но в другом случае мы не можем сказать: «Может быть так, что одновременно кошка сидит на ковре, но под кошкой нет ковра». Или, опять-таки, здесь имеет место высказывание, что «кошка сидит на ковре», которое невозможно совместить с высказыванием «Я не верю в это» — утверждение предполагает веру.

3. Подразумевает

Здесь опять не похоже на следование: если «Все дети Джона лысые» подразумевает, что у Джона есть дети, то не верно, что отсутствие у Джона детей подразумевает, что его дети не лысые. И более того, и «Дети Джона лысые», и «Дети Джона не лысые» равным образом подразумевают, что у Джона есть дети — а это не тот случай, когда и из «кошка сидит на ковре» и из «кошка не сидит на ковре» следует, что кошка находится над ковром.

Рассмотрим вначале «следует», а затем «подразумевает» под другим курсором.

Следует

Допустим, я сказал «кошка сидит на ковре», когда не соответствует действительности то, что я верил в то, что кошка сидит на ковре, — что мы об этом сказали бы? Ясно, что это случай *неискренности*. Другими словами: неуспешность здесь состоит в том же, несмотря на наличие утверждения, что и в случае «Я обещаю...», когда я не намереваюсь выполнять обещание, не верю в то, что говорю, и т. д. Неискренность при утверждении та же, что и при обещании. «Я обещаю, но не намерен выполнять обещания» параллельно «Дело обстоит так-то и так-то, но я не верю в это»; сказать «Я обещаю» без намерения это выполнить параллельно тому, что сказать «Дело обстоит так-то», не веря в то, что говоришь.

Подразумевает

Теперь рассмотрим подразумевание: что можно сказать об утверждении «Все дети Джона лысые», если оно сделано, в то время как у Джона вообще нет детей? Теперь будет естественным сказать, что это *не* является ложью, потому что лишено референции; наличие референции обязательно для разграничения истины и лжи. (Тогда оно бессмысленно? Это не так, как ни крути: оно не похоже ни на «бессмысленное предложение», ни на аграмматическое, на неполное, мумбо-юмбо и т. д.) Говорят, что в таких случаях «вопрос просто не возникает». Я бы применительно к этому случаю сказал, что употребление пусто.

Сравним это с нашей неудачей, когда мы говорим «Я нарекаю...», но при этом некоторые условия (А.1) и (А.2) не удовлетворены (в особенности, вероятно, А.2, но на самом деле это все равно — правильное подразумевание А.1 существует и в утверждениях!). Здесь мы можем употребить формулу «подразумевания»: мы можем сказать, что формула «I do» подразумевает множество вещей — если они не удовлетворятся, формула является неуспешной, пустой: нельзя заключить контракт, если референция отсутствует (или даже если она неоднозначна). Сходным образом вопрос о том, хорош или плох совет, не возникает, если вы вообще не собираетесь что-то советовать.

Наконец, может быть так, что способ, с помощью которого одна пропозиция влечет за собой другую, не является слишком непохожим на способ, при помощи которого из «Я обещаю» следует «Я должен»: это не одно и то же, но

это параллельно: «Я обещаю, но я не должен» параллельно «Дело обстоит так, и дело обстоит не так»; сказать «Я обещаю», но не совершить соответствующего действия параллельно тому, чтобы сказать одновременно «Дело обстоит так» и «Дело обстоит не так». Точно так же как цель утверждения подрывается внутренним противоречием (в котором мы одновременно уподобляем и противопоставляем), цель договора уничтожается, если мы говорим «Я обещаю, и я не должен». Вы связываете себя и отказываетесь связывать себя. Это самоуничтожающая процедура. Одно утверждение связывает нас с другим утверждением, одно осуществление действия — с другим. Более того, точно так же как если из p следует q , то из $\sim p$ следует $\sim q$; «Я не должен» влечет за собой «Я не обещаю».

В качестве вывода мы можем констатировать следующее: для того, чтобы объяснить, что может быть неверного применительно к утверждениям, мы можем просто иметь дело с пропозициями, включающимися в это утверждение (каким бы оно ни было), как это делалось традиционно. Мы должны рассмотреть ситуацию, в которой сделано употребление в целом — целостный речевой акт, — если мы хотим понять параллель между утверждениями и перформативными употреблениями и понять то, как и почему они могут не удаваться. Возможно, в действительности не существует такого уж большого различия между утверждениями и перформативными употреблениями.

ЛЕКЦИЯ V

В конце прошлой лекции мы пересмотрели вопрос об отношении между перформативными употреблениями и разного рода утверждениями, которые определенно являются истинными или ложными. Мы отметили в качестве особо значимых четыре типа таких отношений:

- (1) Если перформативное употребление «Я прошу прощения» успешно, тогда утверждение, что я прошу прощения, истинно.
- (2) Если перформативное употребление «Я прошу прощения» должно быть успешным, тогда утверждение, что выполнены определенные условия — те, которые отмечены в Правилах А.1 и А.2, — должно быть истинным.
- (3) Если перформативное употребление «Я прошу прощения» должно быть успешным, то утверждение, что определенные другие условия выполняются — те, которые отмечены в нашем правиле Г.1, — должно быть истинным.
- (4) Если перформативные употребления, по крайней мере определенного рода, являются успешными, например договорные, тогда утверждения формы, что я должен или не должен в дальнейшем совершить некоторые определенные вещи, являются истинными.

Я уже говорил, что, похоже, есть некоторое сходство, а, возможно, даже и тождество между вторым из этих четырех типов связей и явлением, второе было названо — в случае утверждений в их противопоставлении перформативам — «подразумеванием», а также между третьим типом связей и явлением, названным (иногда и не всегда на мой взгляд правильно) в случае утверждений «импликацией», или «предположением»; предположение и импликация в качестве двух способов, посредством которых истинность утверждения мо-

жет быть важным образом связана с истинностью другого утверждения без того, чтобы одно следовало из другого в уникальном смысле, предпочитается обсессивными логиками. Только четвертое и последнее из вышеуказанных соотношений может быть представлено — не знаю уж, до какой степени удвлетворительно, — в качестве уподобления отношению следования между утверждениями. «Я обещаю сделать X , но не беру на себя никаких обязательств сделать это» может определенно в большей степени выглядеть как противоречие — чем бы оно ни было на самом деле, — чем «Я обещаю сделать X , но я не намереваюсь это делать». А также из «Я не беру на себя никаких обязательств по выполнению p » может следовать, что «Я не обещаю сделать p », и кто-то может подумать, что способ, посредством которого определенное p связывает меня с определенным q , не слишком не похож на способ, при помощи которого обещание сделать X связывает меня обязательством сделать X . Но я не хочу сказать ни того, что здесь есть какие-то параллели, ни того, что их здесь нет, но только то, что по меньшей мере здесь есть очень тесная параллель с двумя другими случаями; и это подразумевает, что по меньшей мере в некотором смысле существует опасность крушения нашего первоначального и предварительного разграничения между констативными и перформативными употреблениями.

Мы можем, тем не менее, подбодрить себя убеждением в том, что это разграничение является окончательным, вернувшись к старой идее, в соответствии с которой констативное употребление является истинным или ложным, а перформативное — успешным или неуспешным. Сравним тот факт, что я кого-то прощаю, который зависит от успешности перформатива «Я прошу прощения», со случаем утверждения «Джон бежит», истинность которого зависит от того факта, действительно ли имеет место, что Джон бежит. Но, возможно, это противопоставление не столь уж ярко: если взять для начала утверждения, то ясно, что употребление (констатив) «Джон бежит» связано с утверждением «Я говорю, что Джон бежит», а истинность последнего может зависеть от успешности употребления «Джон бежит» точно так же, как «Я прошу прощения» зависит от успешности «Я прощаю». И если потом взять перформативы, то связанное с перформативом (я полагаю, что это перформатив) «Предупреждаю вас, что бык сейчас бросится» является фактом, если таковой вообще существует, что бык собирается броситься: если бык *не* собирается этого делать, тогда на самом деле употребление «Я предупреждаю, что бык собирается броситься» открыто критике — но оно не является ни одним из тех

с посповов, которые были нами выше охарактеризованы как неудачи. Мы не сказали бы в этом случае, что предупреждение было пустым, то есть что он не предупредил, но лишь употребил форму предупреждения, не сказали бы, что оно было неискренним, — мы в гораздо большей степени были бы склонны сказать, что предупреждение было ложным или (лучше) ошибочным, как это бывает с утверждениями. Так что рассмотрение типов успешности и неуспешности может затрагивать утверждения, а рассмотрение типов истинности и ложности может затрагивать перформативы (или некоторые перформативы).

Мы должны теперь сделать новый шаг по направлению к пустыне сравнительной точности (*precision*). Мы должны спросить: существует ли точный способ, посредством которого мы могли бы окончательно разграничить перформативы и употребления? И, в частности, следовало бы прежде всего спросить, существует ли *грамматический* (лексикографический) критерий для разграничения перформативного употребления.

До сих пор мы рассмотрели лишь небольшое число классических примеров перформативов, все с глаголами первого лица настоящего времени изъявительного наклонения активного залога. Очень скоро мы увидим, что для этой хитрости мы имели все основания. Примеры были такие: «Я нарекаю», «Да», «Спорим», «Дарю». По совершенно очевидным причинам, которыми мы вскоре займемся, именно этот тип употреблений является наиболее обычным типом перформатива. Заметим, что выражения «настоящее время» и «изъявительное наклонение», конечно, неточны (*bisnormers*) (не говорим уже о том, какие заводящие в тупик ассоциации связаны с понятием «активный залог») — я использую эти термины в хорошо известном грамматическом значении. Например, «настоящему времени» в противоположность «настоящему продолженному» нечего делать с описанием (или даже указанием) того, что я делаю в настоящее время. «Я пью пиво» в противоположность «Я сейчас пью пиво» не является аналогией будущему и прошедшему времени, описывающему то, что я буду делать в будущем или сделал в прошлом. На самом деле изъявительное наклонение более обычно содержит *хабитуальное* (*habitual*) значение, если оно вообще является «индикативом». Там же, где оно не является *хабитуальным*, но в каком-то смысле подлинно выражающим «настоящее», как это мы порой видим в перформативах, если вам угодно, в таких, как «Я нарекаю», оно в определенном смысле вообще не является изъявительным наклонением в том смысле, в котором это трактует грамматика, то есть сообщающим, описывающим или информирующим о действительном положении дел

или текущих событиях, потому что, как мы видели, оно не описывает и не информирует, но употребляется для того, чтобы сделать что-то или в процессе осуществления этого действия. Так, мы употребляем «изъявительное в настоящем времени» лишь для того, чтобы обозначить английскую грамматическую форму «Я нарекаю», «Я бегу» и т. д. (Эта ошибка в терминологии связана с уподоблением «Я бегу» латинскому *сигго*, которое на самом-то деле лучше всего переводить как «I am gipping»; в латыни нет двух грамматических настоящих.)

Ну так что же, является ли использование первого лица единственного числа настоящего времени активного залога существенным для перформативного употребления? Нет нужды попусту тратить время на такое очевидное исключение, как «мы обещаем...», «мы согласны» и т. д. Существуют более важные и очевидные исключения, распространенные повсеместно (некоторое из них мы уже упоминали между делом).

Чрезвычайно обычный и важный тип несомненного, как мне думается, перформатива имеет глагол *во втором или третьем лице* (единственного или множественного числа), а также глагол в *пассивном* залоге — так что лицо и залог несущественны. Вот некоторые примеры этого типа:

(1) Вы назначаетесь на пост...

(2) Пассажиры предупреждаются о том, что следует переходить пути только по мосту.

На самом деле глагол может быть и «безличным» в случаях страдательного залога, например:

(3) Настоящим предупреждается, что нарушители будут преследоваться по закону.

Этот тип обычно находят нормальным в официальных или юридических инскрипциях; они отличаются, особенно в письменной форме, тем, что часто или даже всегда в них можно употребить слово «настоящим», которое служит указанием, что данное употребление (письменное) данного предложения, как и говорится в нем, является инструментом осуществления действия предупреждения, предписания и т. д. «Настоящим» является полезным критерием того, что данное употребление является перформативным. Если оно не имеет места, то высказывание «Пассажиры предупреждают о необходимости пересекать пути только по мосту» может быть использовано как дескрипция того, что обычно происходит: «При приближении к туннелю пассажиров предупреждают не высовывать голову и т. д.».

Так или иначе, если мы отойдем от этих высокоформализованных и эксплицитных перформативных употреблений, то должны будем осознать, что наклонение и время (до сих пор противопоставлявшиеся лицу и залогу) проваливаются в качестве абсолютных критериев.

Наклонение в качестве критерия не пройдет потому, что я могу приказывать вам повернуться направо, говоря не «Я приказываю вам повернуться направо», а просто «Повернитесь направо»; я могу дать вам разрешение идти, сказав просто «Вы можете идти»; и вместо того, чтобы говорить «Я советую [или рекомендую] вам повернуться направо», я могу сказать «На вашем месте я бы повернулся направо». Время тоже не подойдет, потому что, определяя, что вы находитесь в положении вне игры, вместо того, чтобы сказать «Я определяю, что вы находитесь в положении вне игры», я могу сказать просто «Вы вне игры»; и точно так же вместо того, чтобы говорить «Я считаю, что вы виновны», я могу сказать только «Ты это сделал». Уже не упоминая те случаи, когда я принимаю вызов на спор, говоря просто «Идет», и даже те случаи, когда вообще нет эксплицитного глагола, как в тех случаях, когда я просто говорю «Виновен», находя, что человек виновен, или «Вон!», когда я хочу, чтобы кто-то ушел.

Располагая, в частности, некоторыми специальными перформативно-подобными словами, такими, например, как «вне игры», «виновен» и т. д., мы в состоянии, кажется, отказаться даже от правила активного и пассивного залога, которое мы дали выше. Вместо «Объявляю вас вне игры» я могу сказать «Вы находитесь вне игры», и я могу сказать вместо «Я принимаю на себя ответственность...» просто «Я отвечаю...». Таким образом, мы можем предположить, что тестом на перформативность являются определенные слова, что мы можем проводить это тестирование посредством *словаря*, а не *грамматики*. Такими словами могут быть «вне игры», «прощаю», «обещаю», «опасно» и т. д. Но это тоже не проходит, потому что:

I. Мы можем получить перформатив без этих оперативных слов, например:

- (1) Вместо «опасный поворот» мы можем сказать просто «поворот», а вместо «опасный бык» мы можем написать «бык».
- (2) Вместо «Вам приказывается то-то» мы можем употребить «Вы будете делать то-то», а вместо «Я обещаю сделать то-то» мы можем сказать «Я делаю то-то».

II. Мы можем употребить оперативное слово вне перформативного употребления. Например, так:

- (1) В крикете зритель может сказать «Игра закончена». Точно так же я могу сказать «Вы виновны», или «Вы были в положении вне игры», или даже «Вы виновны (вне игры)», в то время как я не имел права объявлять вас виновным или вне игры.
- (2) В таких локуциях, как «Вы обещали», «Вы уполномочены» и т. д., оперативные слова появляются вне перформативного употребления.

Все это заводит в тупик поиски *единственного простого* критерия перформативности в грамматике или в словаре. Но, может быть, возможно сформулировать комплексный критерий или как минимум множество критериев, простых или сложных, включающих и грамматику, и словарь? Например, одним из таких критериев может быть наличие глагола в императиве (это, конечно, приводит ко многим трудностям, например с определением того, когда глагол стоит в императиве, а когда — нет; но я не буду в это углубляться).

Я бы, скорее, на секунду вернулся назад и рассмотрел, не было ли разумным наше первоначальное предпочтение глаголов в позиции «настоящее время, первое лицо, изъявительное наклонение».

Мы сказали, что идея перформативного употребления состояла в том, что оно должно было быть осуществлением действия (или включаться в это осуществление на правах его части). Действия могут быть осуществлены только лицами, и очевидно, что в наших случаях говорящий и должен быть исполнителем: отсюда наше законное ощущение — мы ошибочно отливаем его в грамматические формы — предпочтительности «первого лица», которое и должно возникать, быть отмеченным или с которым мы должны соотноситься; более того, если говорящий производит действие, он должен делать нечто — отсюда наше, вероятно, неудачно выраженное предпочтение грамматического настоящего и грамматического активного залога. Существует нечто, что *делается говорящим в момент говорения*.

Там же, в словесной формулировке употребления, где *нет* соотнесенности с лицом, производящим это употребление и тем самым действие с помощью местоимения «Я» (или его личного имени), то тогда фактически оно будет «соотносится» (*referred to*) с одним из следующих двух способов:

- (а) В устных употреблениях *посредством того, что он есть лицо, которое осуществляет* это употребление — то, что мы можем назвать употреблением-источником, которое используется в целом в любой системе вербальных референтных координат.

(б) В письменных употреблениях (или «инскрипциях») *посредством проставления им своей подписи* (это должно быть сделано, ибо, конечно, письменные употребления не привязаны к своему источнику, как это имеет место в случае устных).

«Я», который совершает действие, существенным образом привносится в картину высказывания. Преимущество исходной формы первого лица единственного числа изъявительного наклонения активного залога — или же второго и третьего лица и безличных пассивных форм, если имеет место подпись, — состоит в том, что имплицитная особенность речевой ситуации становится *эксплицитной*. Более того, глаголы, кажущиеся по словарным основаниям сугубо перформативными, служат особой цели *экспликации* (что не то же самое, что утверждение или описание) того, чем в точности является действие, которое осуществляется посредством данного употребления; другие же слова, которые, как кажется, имеют особую перформативную функцию (и на самом деле *имеют* ее), такие, как «виновен» или «вне игры» и т. д., обладают этой функцией, будучи связаны по «происхождению» с этими особыми эксплицитными перформативными глаголами, такими, как «обещаю», «провозглашаю», «нахожу» и т. д.

Формула «настоящим» является полезной альтернативой, но она слишком формальна для обыденных целей, мы можем в дальнейшем говорить «Настоящим я утверждаю...» или «Настоящим ставлю под сомнение...», но мы ведь надеялись найти критерий для разграничения утверждений от перформативов. (Я должен объяснить вновь, что здесь мы еще «плаваем». Чувство, как твердая почва предрассудков уходит у нас из-под ног, бодрит, но одновременно и мстит.)

Итак, то, что мы чувствовали склонность сказать, это то, что любое употребление, которое является фактически перформативным, может быть редуцируемым, или расширяемым, или анализируемым в форме с глаголом первого лица настоящего времени изъявительного наклонения активного залога. Мы уже фактически пользовались тестом этого рода. Таким образом:

«Аут» эквивалентно «Я объявляю, провозглашаю, выставляю, отзываю вас отсюда» (когда это перформатив, но это необязательно — например, вас может попросить с поля или зарегистрировать, что вы в ауте, не судья, а счетчик).

«Виновен» эквивалентно «Я нахожу, объявляю, считаю вас виновным».

«Вас предупреждают, что бык опасен» эквивалентно «Я, Джон Джонс, предупреждаю вас, что бык опасен» или

Этот бык опасен

(подпись) Джон Джонс

Такой способ расширения эксплицирует и тот факт, что употребление является перформативом, и то, что это за действие, которое совершается. До тех пор пока перформативное употребление не редуцировано к такой эксплицитной форме, остается регулярная возможность рассматривать его неперформативным способом: например «Это ваше» может быть рассмотрено «Я дарю вам это» или «Это (уже) принадлежит вам». Фактически можно даже себе представить игру на перформативных и неперформативных употреблениях запрещающего объявления «Запрещается (Вас предупредили) (You have been warned)».

Так или иначе, хотя мы могли и продвигаться дальше в том же направлении (тут ведь есть препятствия!),²⁸ мы должны заметить, что это первое лицо единственного числа изъявительного наклонения активного залога *употребляется особым и специфическим образом*. В частности, мы должны отметить, что имеет место систематическая *асимметрия* между этой формой и другими лицами и временами *того же самого глагола*. Тот факт, что имеет место *именно такого рода* асимметрия, является безусловным признаком перформативного глагола (и ближайшим феноменом на роль *грамматического* критерия перформативности).

Приведем пример: употребление «Спорим» (I bet) в противоположность употреблению этого же глагола в другом времени или в другом лице. «Я спорил» и «Он спорит» не являются перформативами, но описывают действия с моей или с его точки зрения — действия, каждое из которых состоит из употребления перформатива «Спорим». Если я употребляю выражение «Спорим», я не утверждаю, что я употребляю выражение «Спорим» или какое-либо другое выражение, но я совершаю действие заключения пари (спора); и точно так же если он говорит, что он спорит, то есть произносит слово «Спорим», то он *спорит*. Но если я употребляю слова «Он спорит», то я лишь утверждаю, что он употребляет (или, скорее, что он употребил) слово «Спорим», — я не совершаю действия заключения пари (спора), которое может совершить только он сам, я описываю совершение им действия заключения пари (спора). Но

²⁸ Например, что представляют собой глаголы, с помощью которых можно все это продельвать? Если перформатив развернут, что тогда является тестом на то, является ли первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога таким перформативом, сводящим (с позволения сказать!) к себе все остальные формы?

я могу сам поспорить с кем-то, и он должен делать это сам. Точно так же встревоженный родитель, уговаривая свое чадо сделать что-то, может сказать: «Он обещает, правда ведь, Вилли?» — но маленький Вилли должен еще сам сказать «Я обещаю», если он действительно намерен что-то обещать. И вот такого рода асимметрия не возникает вообще с глаголами, которые не используются как эксплицитные перформативы. Например, такой симметрии нет между «Я бегу» и «Он бежит». И еще: сомнительно, что это и есть тот самый точный «грамматический» критерий (что это вообще такое?), во всяком случае отмеченный критерий не слишком точен, потому что:

(1) Первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога может быть использовано для того, чтобы описывать мое обыденное поведение: «Я спорю с ним (каждое утро) на шесть пенсов, что скоро пойдет дождь» или «Я обещаю только тогда, когда я намерен выполнить обещание».

(2) Первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога может быть использовано в каком-то смысле аналогично «историческому» настоящему. Оно может быть использовано для того, чтобы описывать мои собственные действия в другом месте и в другое время: «На странице 49 я протестую против приговора». Мы можем подкрепить эту точку зрения, сказав, что перформативные глаголы не используются в настоящем продолженном времени (в первом лице единственного числа активного залога): мы не говорим *I am promising, I am protesting*, ‘Я — в данный момент — обещаю’, ‘Я — в данный момент — протестую’. Но даже если это не совсем так, потому что ведь я могу сказать: «Сейчас оставь меня покое; Увидимся позже; В настоящий момент я женюсь» — в любой момент церемонии, когда я не должен говорить другие слова, такие, как «Я согласен»; здесь употребление перформатива не исчерпывает всего совершения действия, которое совершается долго и содержит другие элементы. Или я могу сказать *I am protesting*, ‘Я — в настоящий момент — протестую’, осуществляя это действие протеста как-то по-другому, не употребляя «Я протестую» (*I protest*), например, приковыывая себя к решетке парка. Или я могу даже сказать: «В настоящий момент я приказываю» (*I am ordering*) и при этом написать слова «Приказываю» (*I order*).

(3) Некоторые глаголы могут использоваться в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога одновременно двумя способами. Например, «Я называю» в том случае, когда я

говору «Я называю это инфляцией, когда слишком много денег уходит на покупку слишком малого количества вещей», что является и перформативом, и дескрипцией последующего действия.

(4) Мы должны быть готовы к той опасности, которая исходит от включения многих формул, которые не хотел бы рассматривать как перформативы; например «Я утверждаю, что» (произнести и значит утверждать) не хотелось бы приравнять к «Спорим» («Держу пари, что»).

(5) Мы сталкиваемся порой со случаями, когда слово подкрепляется делом: так, я могу сказать: «Я плюю на вас», или *j'adoube*,²⁹ когда я касаюсь фигуры, или «Я цитирую», следующее за цитированием. Если я даю определение, говоря «Я определяю *x* следующим образом: *x* есть *y*», то и это случай подкрепления слова действием (здесь предоставлением определения); когда мы используем формулу «Я определяю *x* как *y*», то мы осуществляем перевод от подкрепления слова делом к перформативному употреблению. Мы можем также добавить, что имеет место подобная процедура перевода от употребления слов, которые мы называем маркерами, к перформативам. Существует переход от слова КОНЕЦ в конце романа к выражению «конец сообщения» в конце сообщения по радио и к выражению «чем я и завершу свое выступление», сказанное адвокатом в суде. Существуют случаи маркировки действия словом, когда употребление слова маркирует окончание действия (прекращение действия трудно для словесного выражения, как и для любого другого способа экспликации, разумеется).

(6) Всегда ли для экспликации действия, осуществляющегося посредством говорения, мы должны находить употребляющийся здесь перформативный глагол? Например, я могу оскорбить вас, но ведь не существует перформативной формулы «Я оскорбляю вас».

(7) Действительно ли мы можем всегда ставить перформатив в нормальную форму без потерь? «Я буду...» может подразумевать различные вещи; возможно, мы извлечем из этого пользу. Или, опять-таки, мы говорим: «Я прошу меня извинить» — действительно ли это то же самое, что «Прошу прощения»?

Мы должны будем вернуться к понятию эксплицитного перформатива, и мы должны обсудить исторически то, как возникли по крайней мере некоторые из этих, возможно, и не самых серьезных трудностей.

²⁹ Я не делал этого хода (франц.) Это шахматный термин. — Прим. перев.

ЛЕКЦИЯ VI

Поскольку мы предположили, что перформатив не настолько разительно отличается от констатива — первый успешен или неуспешен, второй истинен или ложен, — мы начали рассматривать проблему, как определить перформатив более точно. Первыми были предложены критерий грамматики, критерий словаря или и того, и другого вместе. Мы отметили, что определенно не существует ни одного абсолютного критерия подобного рода и что, весьма вероятно, вообще невозможно задать даже список возможных критериев; более того, они определенно не разграничивали бы перформативы и констативы, которые являются зачастую *одним и тем же* предложением, используемым в различных случаях как употребления обоих видов — и перформативов, и констативов. Дело казалось безнадежным, если бы мы продолжали подыскивать критерии к употреблениям *в том виде, как они есть*.

Но, тем не менее, некий тип перформатива, который мы использовали в наших первых примерах, имевший глагол в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога, кажется, остается предпочтительным для нас: по крайней мере, если произнесение слов есть совершение какого-либо действия, то «я», «активный залог» и «настоящее время» кажутся наиболее подходящими для этой цели. Хотя на самом деле перформативы реально вообще не похожи на разновидность глагола, стоящего в этом «времени»; в случае с этими глаголами имеется существенная *асимметрия*. Эта асимметрия как раз является довольно точно характеризующей длинный список перформативно-подобных глаголов. В этом случае, видимо, следует сделать следующее:

- (1) составить список всех глаголов, обладающих этой особенностью;
- (2) предположить, что все перформативные употребления, которые фактически отличаются от предпочитаемой нами формы — начинающейся с «Я х, что», «Я х плюс инфинитив» или «Я х», — могут быть «редуцированы» к этой форме и приобрести вид того, что мы можем назвать *эксплицитным* перформативом.

ТЕПЕРЬ СПРАШИВАЕТСЯ: так ли уж легко — и даже: возможно ли — все это проделать? Сравнительно легко допустить существование определенных вполне нормальных, но совершенно иных употреблений первого лица в настоящем времени активного залога даже с этими глаголами, которые ведь с таким же успехом могут быть констативными или дескриптивными, то есть настоящее время этих глаголов может быть *хабитуальным* «историческим» (квази) настоящим или настоящим продолженным. Но тогда, как я вкратце отмечал в конце предыдущей лекции, возникают дальнейшие трудности: мы отметили из них три наиболее типичных.

- (1) «Я оцениваю» или, возможно, «Я считаю», кажется, можно отнести и к констативам, и к перформативам. Что же они такое на самом деле? И то, и другое?
- (2) «Я утверждаю, что», кажется, удовлетворяет нашим грамматическим или квазиграмматическим требованиям — но хотим ли мы его включать в перформативы? Наш критерий, таков как он есть, кажется, обладает опасностью включения *неперформативов*.
- (3) Иногда говорить что-то, кажется, является характерным для того, чтобы совершить что-то, например, оскорбить человека или упрекнуть его в чем-то, — но ведь нет такого перформатива «Я оскорбляю тебя». Наш критерий не охватывает всех случаев «делания» чего-либо, потому что «редукция» к *эксплицитному перформативу* не всегда оказывается возможной.

Давайте тогда более подробно остановимся на самом выражении «*эксплицитный перформатив*», который мы ввели, скорее, явочным порядком. Я противопоставлю его «*первичному перформативу*» (скорее, так, нежели *неэксплицитному*, или *имплицитному перформативу*). В качестве примера напомним следующее:

- (1) *первичный перформатив*: «Я там буду»,
- (2) *эксплицитный перформатив*: «Обещаю, что буду там»,

и мы сказали, что последняя формула делает его *эксплицитным* — но что это за действие, которое совершается при помощи употребления, то есть «Я там буду»? Если кто-то говорит: «Я там буду», мы можем спросить: «Это что —

обещание?» Мы можем получить ответ: «Да» или «Да, я обещаю это», в то время как ответ может быть и иным: «Нет, но я собираюсь быть там» (выражающий или объявляющий о намерении) или же «Нет, но я могу предвидеть, зная свою слабость, что я (возможно) там буду».

Теперь мы должны сделать два заявления: «эксплицирование» — не то же самое, что описание или утверждение (по крайней мере в том смысле, в каком предпочитают употреблять это слово философы) того, что я делаю. Если «эксплицирование» подразумевает это, то *pro tanto*³⁰ оно является плохим термином. Ситуация в случае действий, которые являются нелингвистическими, но похожими на перформативные употребления в том, что они являются осуществлением конвенционального действия (в нашем случае — ритуального или церемониального), складывается примерно следующим образом: предположим, я, стоя перед вами, низко кланяюсь; при этом может быть неясным, выражаю ли я свое почтение вам, или, скажем, я наклонился, чтобы лучше разглядеть какое-то растение, или облегчаю себе процесс пищеварения. Говоря в целом, для того, чтобы прояснить, что имеется конвенциональное церемониальное действие и *какое именно* (например, выражение почтения), надо взять за правило включать в него особый характерный признак, например, приподнимание шляпы, или прикосновение лбом к земле, прижимание руки к сердцу, или даже произнесение какого-либо звука или слова, к примеру «Салам». И вот употребление «Салам» всего лишь описывает совершение мною действия выражения почтения, не более чем тот факт, что я снимаю шляпу, и также некоторые произносимые слова (хотя мы к этому еще вернемся), говорящие «Я вас приветствую», более описывают мое совершение действия, чем произнесение слова «Салам». Осуществить эти действия или употребить эти слова — значит разъяснить, как должно быть воспринято или понято это действие, что это за действие. И это же касается выражения «Я обещаю, что». Оно не является дескрипцией, потому что: (1) оно могло бы быть истинным или ложным; (2) произнесение слов «Я обещаю, что» (если оно успешно, конечно) превращает высказывание в обещание, причем в недвусмысленное обещание. Теперь мы можем сказать, что такая перформативная формула, как «Я обещаю», проясняет то, как следует понимать, что говорится; и можно даже предположить, что формула «утверждает, что» обещание было дано; но мы не можем сказать ни того, что такие употребления являются истинными или ложными, ни того, что они являются описаниями или сообщениями.

³⁰ Тем самым (лат.) — Прим. перев.

Во-вторых, менее важное предупреждение: заметьте, что, хотя в этих употреблении мы имеем дело со словом «что», следующим после глагола, например «обещаю», или «нахожу», или «объявляю» (или, возможно, таких глаголов, как «оцениваю»), мы не можем относиться к этому как к «косвенной речи». Слово «что» в косвенной речи, или *oratio obliqua*,³¹ имеет, конечно место, когда я сообщаю о том, что кто-либо другой или я сам когда-то где-то говорил, например, типичный случай: «Он сказал, что...», но возможно также: «Он обещал, что...» (или здесь двойное использование слова «что»?) или: «На странице 465 он заявил, что...». Если это ясное понятие,³² то мы видим, что «что» в *oratio obliqua* не во всем похоже на «что» в наших эксплицитных перформативных формулах: здесь я не сообщаю о своей собственной речи в первом лице единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога. Конечно, совсем необязательно, чтобы глагол, относящийся к эксплицитному перформативу, следовал непосредственно перед словом «что»; в важном числе классов за перформативным глаголом следует инфинитив или вообще ничего не следует, например, «Прошу меня простить», «Я вас приветствую».

И вот есть одна вещь, которая кажется по меньшей мере менее загадочной — как из анализа ее лингвистического строения, так и из ее собственной природы внутри эксплицитного перформатива. Она состоит в том, что исторически с точки зрения эволюции языка эксплицитный перформатив должен был развиваться позднее, чем определенные более первичные употребления, многие из которых по меньшей мере имплицитно уже представляют собой перформативы, включенные в большинство эксплицитных перформативов как части в целое. Например, «Я буду...» появилось раньше, чем «Я обещаю, что буду...». Правдоподобный взгляд (я не знаю точно, как его можно обосновать) состоял бы в том, что в примитивных языках было еще не ясно, еще нельзя было разграничить, какие действия из того разнообразия (используя позднейшую терминологию) того, что мы могли бы делать, мы делаем на самом деле. Например, «Бык» или «Гром» в примитивном языке однословных употреблений³³ могло бы быть и предупреждением, и информацией, и предсказанием, и т. д. Также представляется правдоподобным, что эксплицитное разграниче-

³¹ Косвенная речь (лат.) — Прим. перев.

³² Мое объяснение неясно, подобно всем объяснениям из учебников по грамматике, посвященных слову «что»: сравните их даже с худшими объяснениями слова «что» (what).

³³ Которые, возможно, действительно были в примитивных языках, ср. Есперсен.

ние различных *сил*, которые может иметь данное употребление, является позднейшим достижением языка, причем весьма значительным; примитивные, или первоначальные, формы употребления будут сохранять «амбивалентность», или «двусмысленность», или «затемненность» примитивного языка в этом отношении; они не будут делать эксплицитной точную силу употребления. Это может иметь свою выгоду, но усложнение и развитие социальных форм и процедур само внесет необходимое прояснение. Но заметим, что это прояснение является настолько же креативным актом, как открытие или описание. И оно состоит в той же мере в производстве ясных дистинкций, как и в прояснении уже существовавших дистинкций.

Одна вещь, тем не менее, которую будет наиболее опасно делать и которую мы чрезвычайно склонны делать, это воображать, что мы каким-то образом *знаем*, каким должны быть первоначальные, или примитивные, предложения, что они должны быть непременно утвердительными, или констативными, как это имеет место в предпочтительных философских представлениях, согласно которым простое употребление чего бы то ни было должно претендовать лишь на истинность или ложность и не должно рассматриваться в плане чего бы то ни было еще. Мы определенно не знаем, так это или нет, не больше чем, например, о том, берут ли все употребления свое начало из слов-клятв; и гораздо более правдоподобным выглядит, что «чистое» утверждение — это цель, идеал, к которому в своем градуальном развитии стремится наука, точно так же как она стремится к идеалу точности. Язык как таковой и на своих примитивных стадиях не является ни точным, ни эксплицитным: точность в языке проясняет то, что было высказано, — его *значение*; эксплицитность в нашем смысле проясняет силу употребления или (в определенном смысле; см. ниже) «как его следует понимать».

Эксплицитная перформативная формула, более того, лишь последний и «наиболее успешный» из огромного числа речевых приемов, которые всегда использовались с большим или меньшим успехом для того, чтобы осуществить одну и ту же функцию (точно так же как измерение и стандартизация были наиболее удачным приемом, когда-либо введенным для развития *точности* речи).

Рассмотрим ряд наиболее примитивных приемов речи, некоторые из которых (хотя, конечно, не без изменений и потерь, как мы увидим) были приняты на вооружение эксплицитным перформативом.

1. Наклонение

Мы уже говорили о таком чрезвычайно распространенном и обычном приеме использования повелительного наклонения. Оно управляет употреблением «команды» (или призыва, или разрешения, или уступки и всего что угодно!). Так, я могу сказать «Закройте» во многих контекстах:

«А ну закройте!» напоминает перформатив «Я приказываю вам закрыть».

«Вы бы закрыли!» напоминает перформатив «Советую вам закрыть».

«Ну ладно, закройте» напоминает перформатив «Разрешаю вам закрыть».

«Очень хорошо, тогда закройте ее» напоминает перформатив «Я согласен, чтобы вы закрыли».

«Ну, рискните закрыть» напоминает перформатив «Я обрекаю вас на риск закрыть».

Или, опять-таки, мы можем использовать вспомогательные глаголы:

«Вы можете закрыть ее» напоминает перформатив «Я даю вам разрешение, я согласен с тем, чтобы вы закрыли».

«Вы должны закрыть ее» напоминает перформатив «Я приказываю, я советую вам закрыть ее».

«Вам следует закрыть ее» напоминает перформатив «Я советую вам закрыть ее».

2. Интонация, каденция, эмфаза

(Точно так же как использование сценических ремарок, например «угрожающе» и т. д.). Примеры такие:

Он сейчас набросится! (предупреждение)

Он что, сейчас набросится? (вопрос)

Он же сейчас набросится?! (выражение протеста)

Эти особенности разговорного языка невоспроизводимы адекватно в письменной речи. Например, мы пытались передать интонацию, каденцию и эмфазу протеста, используя вопросительный и восклицательный знаки (но это очень скудные средства). Пунктуация, курсив и порядок слов мало могут помочь, эти средства слишком грубы.

3. Наречия и наречные словосочетания

Но в письменном языке — и даже в устном до некоторой степени, хотя не до такой, — мы обращаемся к адвербиальным фразам и идиомам. Так, мы можем определить силу высказывания «Я буду», добавив «возможно» или — в про-

тивоположном смысле — «безусловно»; мы можем подчеркивать (с целью напоминания или с какой-либо другой), написав «Будет правильно с твоей стороны, если ты всегда будешь помнить...». Больше можно было бы сказать о возникающих здесь связях между тем, как намекают, дают почувствовать, начинают издали, подводят к выводу, сообщают, «выражают» (скверное слово); все это, несмотря на существенные различия, включает в себя употребление одних и тех же словесных приемов и перифраз. Мы вернемся к важной и разнообразной отличительной черте этих явлений во второй половине наших лекций.

4. Связующие частицы

На более утонченном уровне, возможно, приходит употребление особого вербального приема связующей частицы; так, мы можем употребить частицу «все-таки», по силе равную выражению «Я настаиваю»; мы употребляем слово «поэтому» эквивалентно выражению «Я делаю вывод, что»; мы употребляем «хотя» эквивалентно «Я допускаю, что». Отметим также употребление частиц «в то время как», «настоящим», «более того».³⁴ Точно такой же цели служит использование заголовков вроде Манифест, Акт, Прокламация или подзаголовка «Роман».

В дополнение к тому, что и как мы говорим, существуют другие существенные приемы, посредством которых проявляется сила употребления:

5. Сопровождение употребления

Мы можем сопровождать употребление слов мимикой или жестами (подмигивание, указание пальцем, пожимание плечами, нахмуривание бровей и т. д.) или же церемониальными невербальными действиями. Они могут иногда использоваться вообще без употребления каких-либо слов, и важность их совершенно очевидна.

6. Обстоятельства употребления

Обстоятельства употребления играют очень важную роль. Так, мы можем сказать «*Его* слова я воспринимаю как приказ, а не как просьбу»; точно так же контекст слов «Однажды я умру», «Я завещаю вам свои часы» в зависимости от состояния здоровья говорящего по-разному понимается и оценивается нами.

Но в определенном смысле эти дополнительные возможности избыточны: они могут породить двусмысленность и неадекватность понимания, и, более того, мы употребляем их для других целей, например для намека. Эксплицит-

³⁴ Правда, некоторые из этих примеров поднимают старый вопрос — считать ли высказывания «Я допускаю, что» и «Я делаю вывод, что» перформативными.

ный перформатив исключает двусмысленность и определяет действие достаточно четко.

Трудности с этими приемами кроются в принципиальной неясности их значения и неопределенности восприятия, но существует также, возможно, и их некоторая принципиальная неадекватность в том, чтобы иметь с ними дело применительно к такому сложному полю деятельности, которое мы осуществляем при помощи слов. «Императив» может быть приказом, разрешением, требованием, просьбой, мольбой, предположением, рекомендацией, предупреждением («Посмотри и увидишь сам») или может выражать условие, или уступку, или дефиницию («Будем рассматривать...»), и т. д. Передать какому-то человеку вещь, говоря «Возьми», может означать, что мы дарим ее или даем ее в долг, или на время, или на хранение. Сказать «Я буду» может означать обещание, или выражение намерения, или предсказание будущего. И так далее. Без сомнения, комбинации некоторых или всех приемов, приведенных выше (а очень возможно, что это далеко не все), будут обычны, а в конечном итоге и всегда, достаточны. Так, когда мы говорим «Я буду», мы можем иметь в виду, что мы предсказываем будущее, добавив наречия «несомненно» или «вероятно», а выражая намерение, добавить наречия «определенно» или «безусловно», а обещая, добавить адвербиальную фразу «без всякого сомнения» или «Я сделаю все возможное».

Надо бы заметить, что, когда у нас есть перформативные глаголы, мы можем употреблять их не только в формулах «что...» или «глагол + инфинитив», но также в сценических ремарках («приглашает»), заголовках («Предупреждаем!»), в вводных предложениях (это почти такой же хороший тест на перформативность, как и наши нормальные формы); и мы не должны забывать использование специальных слов, таких, как «Вон!» и т. д., которые не имеют нормальных форм.

Так или иначе, существование и даже использование эксплицитного перформатива не уничтожит всех наших проблем.

(1) В философии мы можем даже выявить проблему, связанную с возможностью принять ошибочно перформатив за дескриптив или констатив.

(1a) Конечно, дело не только в том, что перформатив часто не сохраняет двойственности, присущей первоначальным употреблениям; в дальнейшем мы должны рассмотреть случаи, в которых представляется сомнительным, является ли выражение эксплицитным перформативом или нет, а также случаи, очень похожие на перформативы, но не перформативы.

(2) Здесь, кажется, должны быть ясные случаи, где одна и та же формула, кажется, бывает эксплицитным перформативом, а иногда дескриптивом и может даже порой обыгрывать эту амбивалентность, например, «Я одобряю», «Я согласен». Так, «Я одобряю» может обладать перформативной силой одобрения, а может иметь дескриптивное значение: «Мне это нравится».

(3) Мы рассмотрим два классических вида случая, в котором это явление возникает. Они обнаруживают некоторые свойства, характерные для развития эксплицитных перформативных формул.

Существует множество случаев в человеческой жизни, когда чувство определенной «эмоции» (запомним это слово!) или «желания» или принятие некоей установки конвенционально рассматривается как соответствующий или подходящий ответ или реакция на определенное положение дел, включая совершение кем-либо определенного действия, случаев, когда такой ответ является естественным (или нам бы хотелось так думать!). В таких случаях, конечно, возможно и обычно реально чувствовать эмоцию или желание, о которых мы говорим; и до тех пор, пока наши эмоции или желания не распознаются другими людьми, это нормально желать информировать о них, о том, что мы ими обладаем. Понятным образом, по иным, может быть, менее уважительным причинам в различных случаях «выражать» эти чувства становится *de rigueur*,³⁵ если мы обладаем ими, и в дальнейшем даже выражать их, когда они кажутся уместными, независимо от того, чувствуем ли мы на самом деле нечто, когда мы о них говорим. Примеры выражений, используемых таким образом, следующие:

Благодарю	Я благодарен вам	Я испытываю благодарность
Прошу прощения	Извините	Я раскаиваюсь
Я критикую	} Осуждаю	{ Я потрясен тем, что
Я порицаю		
Я одобряю	Мне нравится	Я выражаю одобрение
Добро пожаловать	Рад вас видеть	
Поздравляю	Очень рад, что	

В этих списках первая колонка содержит перформативные употребления; во второй колонке это не чистые перформативы, но наполовину дескриптивы, в третьей колонке это чистые сообщения. Стало быть, существует множество выражений, среди них много важных, которые страдают своего рода умыш-

³⁵ Обязательно (*франц.*) — Прим. перев.

ленной амбивалентностью, и с этим борются посредством постоянного введения чистых перформативных конструкций. Можем ли мы предложить какой-либо тест, чтобы решить, являются ли «Мне нравится» или «Извините», используемые определенным образом (или даже всегда), перформативами?

Один тест будет заключаться в следующем: имеет ли смысл применительно к данному употреблению сказать «*На самом деле?*». Например, когда кто-то говорит «Рад вас видеть» или «Добро пожаловать», мы можем сказать «Интересно, действительно ли он рад его видеть?», хотя мы не можем сказать таким же образом «Интересно, он действительно хочет, чтобы он “добро пожаловал”?». Другой тест будет заключаться в том, может ли кто-то на самом деле совершить действие, при этом ничего не говоря, например, в случае сожаления в отличие от принесения извинений, в случае признательности в отличие от выражения благодарности, при осуждении в отличие от порицания.³⁶ Существует также третий тест — можем ли мы хотя бы в некоторых случаях вставлять перед предполагаемым перформативным глаголом такое наречие, как «умышленно», или такое выражение, как «Я исполнен желания» (I am willing to). Потому что (возможно) если посредством употребления совершается действие, то ясно, что мы должны быть в состоянии (хотя бы в некоторых случаях) делать это умышленно или быть исполненными желания делать это. Так, мы можем сказать: «Я умышленно приветствовал его», «Я умышленно одобрил его действия», «Я умышленно принес свои извинения», и мы можем сказать: «Я преисполнен желания принести извинения», но мы не можем сказать: «Мне умышленно нравится его поступок» или «Я преисполнен желания сожалеть» (в отличие от «Я преисполнен желания сказать, что сожалею»).

Четвертый тест заключался бы в том, чтобы спросить, может ли быть то, что говорится, в буквальном смысле ложным, как иногда, когда я говорю «Я сожалею», или оно может только включать неискренность (неуспешность), как в том случае, когда я говорю «Прошу меня извинить» — подобные фразы размывают границу между неискренностью и ложью.³⁷

Но здесь имеется определенное различие, о природе которого у меня нет ясного представления: мы связывали «Приношу свои извинения» с «Сожалею»;

³⁶ Существуют классические сомнения по поводу молчаливого согласия; здесь не-реальная форма проявляется как альтернатива перформативному действию, и это бросает тень на наш второй тест.

³⁷ Существуют явления, параллельные по отношению к этим в других случаях: например, особенно запутанный случай, возникающий в случае явлений, которые мы называем произносимым (dictional) или пояснительным (expositive) перформативом.

но ведь существует множество конвенциональных способов выражения чувств, чем-то похожих на эти, но совершенно определенно не являющихся перформативами, например:

«Я имею удовольствие предоставить слово следующему лектору».

«Я сожалею, но должен сказать...».

«Я рад представившейся возможности объявить...».³⁸

Мы можем назвать их фразами вежливости подобно «Имею честь...». Они достаточно конвенционализированы, чтобы сформулировать их так; но это не тот случай, чтобы сказать: когда вы говорите, что испытываете удовольствие, это и *значит испытывать* удовольствие. К сожалению, чтобы быть перформативным употреблением, даже в этих случаях, связанных с чувствами и установками, которые я окрестил как «БЕХАБИТИВЫ», не достаточно того, чтобы конвенционализированно выражать чувство или установку.

Также следует разграничить случаи *подкрепления слова действием* — особый тип случаев, который может порождать перформативы, но который сам по себе не является случаем перформативного употребления. Типичный случай такого рода следующий: «Вот как я хлопаю дверь» (хлопает дверь). Но случай такого рода ведет к «Я приветствую вас» (приветствует); здесь «Я приветствую вас» может стать субститутутом приветствия и тем самым чистым перформативным употреблением. Сказать «Я приветствую вас» и *значит* приветствовать вас. Сравним это с выражением «Я салютую в память...».

Но существует масса переходных стадий между подкреплением слова делом и чистым перформативом:

«Плывать». Сказать так и *значит* плывать (в соответствующих обстоятельствах); но это не является действием «плывать», если слово «плывать» не произнесено.

«Шах!» Сказать так — *значит* объявить шах при определенных обстоятельствах. Но будет ли это все равно шах, если «шах» не объявлен?

J'adoube 'Поправляю'. Что это — подкрепление действия словом или часть действия, состоящего в правильной постановке фигуры в противоположность ходу?

Возможно, эти дескрипции не так важны, но точно такие же переходы имеются в случае перформативов, как, например:

³⁸ В рукописи есть замечание на полях: «Требуется дальнейшая разработка классификации, упомянуть мимоходом. — Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.

«Я цитирую»: он цитирует.

«Я определяю»: он определяет (например, что *x* есть *y*).

«Я определяю *x* как *y*».

В этих случаях употребление действует вроде заглавия: является ли это разновидностью перформатива? Оно действует по большей части там, где подкрепление действия словом само по себе является вербальным совершением действия.

ЛЕКЦИЯ VII

В последнее время мы в основном имели дело с Эксплицитным перформативом в противоположность Первичному, утверждая, что первый естественным образом развивается из последнего, так же как язык и общество. Мы говорили, тем не менее, что это не устраняет всех проблем в наших поисках эксплицитных перформативных глаголов. Мы дали несколько примеров, которые помимо прочего показали, как эксплицитный перформатив развивается из первичного.

Мы брали примеры из сферы того, что может быть названо *бехабитивом*, типом перформативов, имеющих дело, грубо говоря, с реакциями на поведение, а также поведением, направленным на другого и выражающим установки и чувства.

Сравним:

<i>Эксплицитный</i>	<i>Нечистый</i>	
<i>Перформатив</i>	<i>(полудескрипция)</i>	<i>Дескрипция</i>
Приношу извинения	Извините	Я раскаиваюсь
Я против	Я осуждаю	Я испытываю
Я порицаю		
Я одобряю		
Приветствую вас	Мне нравится	отвращение
	Рад вас видеть	

Мы предложили тест на выявление чистого эксплицитного перформатива:

(1) Имеет ли смысл (или тот же самый смысл) спросить: «Но он на самом деле...?» Мы не можем спросить «Он на самом деле приветствовал его?» в том же смысле, в каком мы спрашиваем «Он на самом деле рад его видеть?», и мы не можем спросить «Он на самом деле порицает его?» в том же смысле, что и «Ему на самом деле нравится?». Это не очень хороший тест, потому, например, что он оставляет возможность неудачи. Мы можем спросить «Он на самом деле

женился?», когда он сказал «Согласен», потому что во время бракосочетания могли быть неудачи, которые сделали его результат проблематичным.

(2) Мог ли он совершить действие, не употребляя перформатива?

(3) Мог ли он сделать это умышленно? Мог ли он быть преисполнен желания совершить его?

(4) Может ли быть в буквальном смысле ложным то, что я, например, порицаю (в противоположность ситуации, когда мне что-то нравится), когда я говорю, что я порицаю? (Безусловно, это всегда может быть *неискренним*.)

Иногда применим тест, связанный с заменой одного слова другим или с заменой всей конструкции. Так, используя эксплицитный перформатив, мы можем сказать скорее «Я одобряю», чем «Мне нравится». Сравним это с различием между «Чтоб ты провалился на дно морское!» и «Я хочу, чтобы ты сегодня повеселился».

В заключение мы отграничим наши перформативы от:

(1) Чисто конвенциональных ритуальных выражений вежливости, таких, как «Я имею удовольствие...». Они совершенно отличны в том, что, хотя оба носят ритуальный характер и не требуют искренности, все они в соответствии с четырьмя нашими тестами все же не являются перформативами. Они, кажется, организуют ограниченный класс, ограниченный, вероятно, проявлением чувств или даже проявлением чувств во время разговора или ситуации, когда человек слышит что-либо.

(2) Подкрепления словом действия, типичным примером которого является адвокат, в конце своего выступления говорящий «Я закончил». Эти фразы особенно подвержены переходу в чистые перформативы, когда действие, подкрепляемое словом, само является чистым ритуальным действием, невербальным действием — поклоном («Приветствую вас») или вербальным ритуалом «Браво» («Я аплодирую»).

Другой чрезвычайно важный класс слов, в которых наличествует тот же самый феномен переключения с дескриптива на перформатив и колебание между ними, как в случае с бехабитивами, есть класс, который я называю *экспозитивами*, или экспозиционными перформативами. Здесь ядро употребления часто имеет прямую форму «утверждения», но здесь также во главе этого ядра находится перформативный глагол, который показывает, как это «утверждение» входит в контекст разговора, обмена мнениями, диалога или, говоря в общем, в контекст «экспозиции». Вот несколько примеров.

«Я считаю (или настаиваю), что у Луны нет обратной стороны».

«Я заключаю (или делаю вывод), что у Луны нет обратной стороны».

«Я свидетельствую, что у Луны нет обратной стороны».

«Я признаю (или допускаю), что у Луны нет обратной стороны».

«Я предрекаю (или предсказываю), что у Луны нет обратной стороны».

Произносить такого рода вещи и значит считать, заключать, свидетельствовать, отвечать, предсказывать и т. д.

И вот многие из этих глаголов вполне удовлетворяют критериям чистого перформатива. (И хотя они в этом качестве раздражают, будучи привязаны к придаточным предложениям, похожим на «утверждения», истинные или ложные, мы уже отмечали их раньше и вернемся к ним позже.) Например, когда я говорю «Я предрекаю, что...», «Я допускаю, что...», «Я постулирую, что...», последующее придаточное будет в нормальном случае выглядеть просто как утверждение, но глаголы сами по себе кажутся чистыми перформативами.

Если взять наши четыре теста, которые мы использовали применительно к бехабитивам: когда он говорит «Постулирую, что...», то:

- (1) мы не можем спросить: «Но он *на самом деле* постулировал...?»
- (2) он не может постулировать, не говоря, что он постулирует;
- (3) можно сказать: «Я умышленно постулировал...» или «Я полон желания постулировать...»;
- (4) не может быть в буквальном смысле ложным высказывание «Я постулирую (за исключением смысла, отмеченного ранее: «На странице 265 я постулирую...»).

Во всех этих отношениях «Я постулирую» похоже на «Я прошу прощения», «Я порицаю его за то...». Конечно, эти употребления могут быть неуспешными — он может предсказывать, когда у него нет права предсказывать, или сказать «Я признаюсь, что вы это сделали», или быть неискренним, говоря «Я признаюсь, что я это сделал», когда он этого не делал.

Еще существует огромное число глаголов, которые выглядят очень похожими и кажутся входящими в один и тот же класс, но которые не проходят наши тесты, как, например, «Я предполагаю, что...» в том случае, когда я не сознаю, что я предполагал это, ничего не сказав относительно того, что я предполагаю. И я могу предполагать что-либо, хотя я не осознаю и не высказываю этого в важном дескриптивном смысле. Я могу, конечно, утверждать или отрицать что-либо, ничего не говоря об этом, при том что «Я утверждаю» и «Я от-

рица» — в некотором смысле чистые перформативы, которые здесь не релевантны; я могу кивать и качать головой, или утверждать, или отрицать это *посредством импликации*, говоря что-либо еще. Но в случае «Я предполагал, что» я мог бы иметь возможность предполагать что-либо без того, чтобы говорить что-либо, и без имплицирования посредством говорения чего-то еще, но лишь сидя спокойно в своем углу, в котором я не мог бы спокойно сидеть, если бы отрицал это.

Другими словами, «Я предполагаю, что...» и, возможно, «Я полагаю, что...» действуют так же амбивалентно, как «Я прошу извинения за то, что...»: иногда это эквивалентно «Прошу прощения», иногда описывает мои чувства, иногда — и то, и другое. Итак, «Я предполагаю» иногда эквивалентно «Я постулирую», а иногда — нет.

Или, опять-таки, утверждение «Я согласен с тем, что...» иногда действует так же, как «Я одобряю его поведение», иногда оно больше похоже на «Мне нравится, как он себя ведет», в том случае когда оно по меньше мере отчасти описывает мою установку, интеллектуальную ориентацию, состояние веры. Здесь вновь может быть важным небольшое изменение утверждения, например, различие между «Я согласен с тем, что...» и «Я согласен с...», — но это не будет железным правилом.

Тот же самый общий феномен, что и с бехабитивами, имеет место и с рассматриваемым классом. Так же как мы имеем «Я предпосылаю, что (Я постулирую, что)» в качестве чистого эксплицитного перформатива, тогда как «Я предполагаю, что» — нет, так же мы имеем:

«Я предвижу (предсказываю)» как чистый перформатив, в то время как «Я предчувствую (ожидаю, предвкушаю)» — нет;

«Я поддерживаю (присоединяюсь к) это мнение» как чистый перформатив, а «Я согласен с этим мнением» — нет;

«Сомневаюсь, что это так» как чистый перформатив, а «Интересно знать, так ли это» — нет.

Здесь «постулировать», «предсказывать», «поддерживать», «сомневаться» и т. д. пройдут наши тесты на чистый эксплицитный перформатив, в то время как другие не пройдут или пройдут, но не всегда.

Теперь важно подчеркнуть следующее: не все то, что мы делаем в такого рода матрице, заполняя наше особое употребление, скажем, помещая его в соответствующий ему контекст, является тем, что мы можем делать посред-

ством эксплицитного перформатива. Например, мы не можем сказать, «Я понимаю, что...», «Я намекаю» и т. д.

Бехабитивы и экспозитивы — два чрезвычайно критических класса, в которых имеет место это явление; но оно также имеет место и в других классах, например, в том, который я называю *вердиктивами*. Примеры вердиктивов следующие: «Я заявляю, что...», «Я считаю, что...», «Я определяю...», «Я датирую...». Так, если вы судья и говорите: «Я считаю, что...», тогда сказать, что вы считаете, и значит считать; с менее официальными лицами дело обстоит не так ясно: это может быть просто описанием состояния сознания. Данной трудности можно избежать обычным способом посредством введения особого слова, такого, как «вердикт»: «Я решаю в пользу такого-то...», «Я заявляю...»; в противном случае перформативная природа употребления все еще зависит отчасти от контекста употребления, такого, как ситуация судьи в зале заседания; будучи судьей, он должен быть в мантии, сидеть на скамье и т. д.

Нечто подобное можно наблюдать в случае «Я классифицирую х-ы как у-и», где, как мы видим, имеет место двойное употребление: чистый эксплицитный перформатив и затем описание моего поведения при совершении действий такого рода. Мы можем сказать «На самом деле он не классифицирует...» или «Он сейчас классифицирует...», и он может классифицировать, ничего при этом не говоря. Мы должны разграничивать этот случай и те, в которых мы ограничены совершением одного-единственного действия: например, «Я определяю х как у» не утверждает, что он регулярно это делает, но ограничивает его определенными регулярными действиями употребления одного выражения как эквивалентного другому. В этом контексте полезно сравнить «Я намерен» и «Я обещаю».

Чрезвычайно важно для такого рода проблем, действует ли соответствующий или предполагаемый эксплицитный перформативный глагол сам по себе или он иногда действует отчасти, как дескрипция, то есть истинно или ложно, для выражения чувств, состояний сознания, умонастроения и т. д. Но этот тип случаев вновь предполагает более широкий феномен, который уже привлекал наше внимание тем, что употребление в целом казалось, по существу, подразумевающим истинность или ложность, несмотря на его перформативные характеристики. Даже если мы рассмотрим компромиссный случай, скажем, «Я считаю что...», произнесенное неюристом, или «Я ожидаю, что...», то кажется абсурдным предполагать, что все, что они описывают или утверждают, если они действительно описывают и утверждают, относится к мнениям и

ожиданиям говорящего. Полагать так — скорее, нечто вроде пронципальности Алисы-в-Стране-Чудес, когда «Я думаю, что *p*» рассматривается как утверждение о себе самой, на которое можно ответить: «Кэт лишь говорит о тебе» («Я не думаю...» — начала Алиса. «Тогда и не говори», — сказала Гусеница или кто бы там ни был.) И когда мы приходим к чистому эксплицитному перформативу типа «утверждать» или «заявлять», его характеристикой является совершение действия утверждения или заявления. И мы уже не раз отмечали, что некоторые вещи, которые являются чистыми классическими перформативами типа *Over* 'Перехожу на прием', чрезвычайно близко подходят к описанию фактов, в то время как другие — типа «Игра!» — нет.

Тем не менее это не так уж плохо: мы можем разграничить инициальную суть перформатива («Я утверждаю, что...»), которая делает ясным то, как должно быть рассмотрено употребление: что оно является утверждением (в противоположность предсказанию и т. д.) в отличие от придаточной части, от которой требуется быть истинной или ложной. Тем не менее существует много случаев, которые, поскольку язык так устроен, мы не в состоянии расколоть на две части таким способом, даже если употребления кажутся имеющими своего рода эксплицитный перформатив: таковы «Я рассматриваю *x* как *у*», «Я анализирую *x* как *у*». Здесь уподобление и утверждение совершаются одновременно в одной сжатой фразе, по крайней мере, квазиперформативного характера. Чтобы подтолкнуть себя на этот путь, мы можем также отметить «Я знаю, что...», «Я полагаю, что...» и т. д. Насколько сложны эти примеры? Мы не можем предполагать, что они являются чистыми дескрипциями.

Теперь давайте посмотрим, на каком мы сейчас свете: начав с предполагаемого контраста между перформативным и констативным употреблениями, мы обнаружили отчетливые указания на то, что неуспешности, тем не менее, кажутся характерными для обоих типов употреблений, а не только для перформативов и что требования соответствия или подтверждения фактами, различные в различных случаях, кажутся характеризующими перформативы вдобавок к требованию, что они должны быть успешными, точно так же как это характерно для констативов.

И вот мы не смогли найти грамматического критерия для перформативов, но подумали, что, вероятно, мы можем полагать, что каждый перформатив *мог бы* в принципе взять форму эксплицитного перформатива, и затем мы могли бы составить список перформативных глаголов. Еще мы обнаружили, тем не

менее, что часто нелегко быть уверенным в том, даже когда мы имеем подходящую эксплицитную форму, является ли употребление перформативным или нет; и достаточно типично некоторым образом, что мы еще имеем употребления, начинающиеся с «Я утверждаю, что...», которые, кажется, удовлетворяют требованиям перформативности, но все же, безусловно, являются утверждениями и, безусловно, существенным образом являются поэтому истинными или ложными.

Настало время сделать «свежий старт» в решении проблемы. Мы хотим пересмотреть в целом смыслы, в которых сказать что-то значит сделать что-то или, говоря что-то, мы делаем что-то (а также, возможно, рассмотреть другой случай, в котором *посредством* говорения чего-либо мы делаем нечто). Возможно, некоторое прояснение и определение может помочь нам выбраться из этой путаницы. Ибо в конце концов «делать что-то» — это очень неясное выражение. Разве, произнося любое высказывание, мы не «делаем что-то»? Определенно, что способы, посредством которых мы говорили о «действии», вводили в заблуждение, как и во всем другом. Например, мы можем противопоставить человека слова и человека дела. Мы можем сказать, что он *не делает ничего*, только *говорит*: а также, опять-таки, мы можем противопоставить *только* думающего что-то *действительно* говорящему это (вслух), и в этом контексте говорение и есть делание чего-то.

Пришло время переуточнить обстоятельства «произнесения употребления». ³⁹ Для начала следует отметить, что существует целая группа смыслов, которые я обозначу как (А), в которых сказать что-то всегда обязательно значит сделать что-то, группа смыслов, которые вместе и образуют «говорение» чего-то, в полном смысле слова «говорить». Мы можем согласиться, не настаивая на формулировках и уточнениях, что сказать что-либо есть:

(А.а) всегда совершить действие употребления определенных звуков («фонетическое» действие), что употребление есть звук;

(А.б) всегда совершить действие употребления определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного типа, принадлежащих *и в качестве* принадлежащих определенному словарю, в определенной конструкции, то есть соответствующих и в качестве соответствующих определенной грамматике с определенной интонацией и т. д. Это действие мы можем назвать «фатичес-

³⁹ Мы не будем всегда отмечать, но должны держать в уме возможность «этиологии», которая имеет место, когда мы используем речь в своих действиях, в художественном вымысле и поэзии, цитировании и декламации.

ким»; употребление, посредством которого данное действие совершается, — «фемой» (в отличие от фемемы лингвистической теории); и

(А.с) в целом совершать действие использования этой фемы или ее составляющих с определенным более или менее ясным «смыслом» и более или менее определенной «референцией» (что вместе составляет «значение»). Это действие мы можем назвать «ретическим», а употребление, посредством которого это действие совершается, назвать «ремой».

ЛЕКЦИЯ VIII

Включившись в программу по определению списка эксплицитных перформативных глаголов, мы обнаруживаем, что в том, что мы собираемся найти, не всегда просто разграничить перформативные употребления и констативы, и поэтому представляется целесообразным вернуться на некоторое время назад, к основаниям, и рассмотреть с самого начала, как много имеется смыслов, в которых сказать что-либо *и есть* сделать что-либо или, говоря что-либо, мы тем самым делаем это и даже *посредством* самого говорения мы делаем что-либо. И мы начали отграничивать целую группу смыслов «делания чего-то», которые мы все включили вместе, когда отметили, что, очевидно, сказать что-либо *есть* в полном и нормальном смысле сделать что-либо — что включает употребление определенных звуков, определенных слов в определенных конструкциях и употребление их с определенным «значением» в любимом философами смысле этого слова, то есть с определенным смыслом и определенной референцией.

Действие «говорения чего-либо» в этом полностью нормальном смысле я называю, то есть «крещю», осуществлением локутивного действия, и исследование употреблений в этих аспектах — исследованием локуций, или полных единиц речи. Наш интерес к локутивному действию, конечно, направлен прежде всего на то, чтобы выяснить его природу, с тем чтобы отграничить его от других действий, с которыми мы имели дело первоначально. Добавлю лишь, что, конечно, было бы возможным и необходимым огромное множество дальнейших уточнений, если бы мы обсуждали локутивное действие как таковое, — уточнений чрезвычайной важности не только для философов, но и, скажем, для грамматистов и фонетистов.

Мы произвели три приблизительных разграничения между фонетическим, фатическим и ретическим действиями. Фонетическое действие есть просто действие по употреблению определенных звуков. Фатическое действие есть употребление определенных вокабул, или слов, то есть звуков определенного рода, принадлежащих (и в качестве принадлежащих) определенному словарю и соотносящихся (и в качестве соотносящихся) с определенной грамматикой. Ретическое действие это совершение действия использования таких вокабул с определенными или более или менее определенными смыслом и референцией. Так, «Он сказал: «Кошка сидит на ковре» представляет собой фатический акт, в то время как «Он сказал, что кошка сидит на ковре» представляет собой ретический акт. Сходное противопоставление иллюстрируют следующие пары:

- Он сказал: «Я буду здесь», Он сказал, что он будет здесь,
 Он сказал: «Пошел вон», Он сказал, чтобы я шел вон,
 Он сказал: «Это в Оксфорде или в Кембридже?» — «Он спросил,
 находится ли это в Оксфорде или в Кембридже».

Рассматривая все эти примеры как таковые, помимо наших непосредственных целей я намечу несколько общих точек для запоминания:

(1) Очевидно, для осуществления фатического действия я должен осуществить фонетическое действие, или, если вам угодно, осуществляя одно, я осуществляю другое (но это не означает, что фатические действия являются подклассом фонетических действий — как принадлежащие им): однако обратное неверно, ибо, если обезьяна издает звук, неотличимый от «иду», — это еще не фатический акт.

(2) Очевидно, при определении фатического действия две вещи накладываются друг на друга: словарь и грамматика. Так, мы не назвали бы особым именем лицо, которое производит, например, такие употребления, как «Кошка абсолютно если» или «Хливикие шорьки пырялись по нове». Возникающий в дальнейшем еще один фактор связан с интонацией, важной не менее, чем грамматика вместе со словарем.

(3) Фатическое действие, тем не менее, подобно фонетическому, является существенным образом воспроизводимым, подражаемым (включая интонацию, подмигивания, жесты и т. д.). Можно мимически изобразить не только утверждение в кавычках — «У нее прекрасные волосы», — но также и более слож-

ный факт, что он говорит это примерно так: «У нее прекрасные *волосы*» (пожимает плечами).

Это примерно такое употребление в кавычках слова «сказал», как бывает в романах: каждое употребление может быть просто воспроизведено в кавычках или когда после кавычек стоит «сказал он» или, чаще, «сказала она» и т. д.

Но ретическое действие это примерно то, что в случае утверждения мы говорим: «Он сказал, что кошка сидела на ковре», «Он сказал, что он пойдет», «Он сказал, что мне надо идти» (Его слова были «Тебе надо идти»). Это так называемая «косвенная речь». Если смысл или референция *не* рассматриваются здесь как ясные, тогда все употребление в целом (или частично) должно быть закавычено. Так, я могу сказать: «Он сказал, что я должен пойти к “министру”, но не сказал, к какому министру», или «Я сказал, что он ведет себя плохо, а он ответил, что “чем выше забираешься, тем труднее”». Тем не менее мы не всегда можем с легкостью употребить «сказал, что»: мы могли бы сказать «рассказал о том, что», «посоветовал, чтобы» и т. д., если он использовал императив или такие эквивалентные фразы, как «сказал, мне надо», «сказал, мне лучше» и т. д. Сравним с такими фразами, как «приветствовал меня» и «принес свои извинения».

Я добавлю еще один пункт касательно ретического действия: конечно, смысл и референция (именование и отнесение к предмету) сами по себе являются подчиненными действиями, совершающимися при осуществлении ретического действия. Так, мы можем сказать «Я подразумеваю под “банком”...», и мы скажем «Под “ним” я имею в виду...». Можем ли мы совершать ретическое действия без соотнесения или без именованя? В целом кажется, что ответ должен заключаться в том, что не можем, но существуют некоторые загадочные случаи. В чем состоит референция высказывания «Все треугольники имеют три стороны»? Соответственно, ясно, что мы можем совершить фатическое действие, которое не будет ретическим действием, хотя обратное неверно. Так, мы можем повторять чье-то замечание, или бормотать какие-то слова, или мы можем читать латинское предложение, не понимая значения слов.

Вопрос о том, когда одна фема или одна рема является *такой же*, как другая, в плане тип (type) или разновидность (token), и вопрос о том, что представляет собой одна-единственная фема или рема, не имеют здесь такого значения. Но, конечно, важно помнить, что одна и та же фема (разновидность (token) одного типа) может быть использована в различных случаях употребления с различными смыслом и референцией и тем самым быть другой ремой.

Когда различные фемы используются в одном смысле и с одной референцией, мы можем говорить о ретически эквивалентных действиях (то есть в некотором смысле об «одном и том же утверждении»), но не об одной и той же реме или ретическом действии (которые являются одним и тем же утверждением в другом смысле, который включает использование одних и тех же слов).

Фема является единицей языка: ее характерный дефект в том, что она бессмысленна — не обладает значением. Однако рема является единицей речи; ее же типичный дефект в том, что она может быть неясной, или пустой, или расплывчатой и т. д.

Но хотя все это чрезвычайно интересно, все это вовсе не проливает никакого света на нашу проблему констативов в их противоположности перформативному употреблению. Например, в высшей степени вероятно применительно к употреблению, скажем, «Он собирается наброситься» выяснить вполне четко, «что нами было сказано» при осуществлении этого употребления во всех разграниченных нами смыслах, и все же вовсе не будет до конца ясно, осуществлял ли я действие *предупреждения*, высказывая это употребление. Может быть абсолютно ясно, что я имею в виду под «Он собирается наброситься» или «Закрой дверь», но не ясно, что именно подразумевается — утверждение или предупреждение и т. д.

Осуществить локутивное действие, можем мы сказать, в целом означает *eo ipso*⁴⁰ осуществить *иллокутивное* действие, как я предлагаю назвать его. Чтобы определить, какое именно иллокутивное действие осуществлено, мы должны определить, каким способом мы используем локуцию:

задаем или отвечаем на вопросы,
даем некую информацию, или уверение, или предупреждение,
выносим вердикт или осуществляем намерение,
произносим предложение,
делаем назначение или вызов или наводим критику,
отождествляем или даем описание

и массу подобных вещей. (Хотя я вовсе не предполагаю, что здесь перед нами четко очерченный класс явлений.) И нет ничего таинственного с нашим *eo ipso*. Проблемой, скорее, является большое число различных смыслов, так расплывчато выраженных, что то, «каким способом мы используем их», может относиться даже к локутивному действию и, далее, даже к перлокутивному

⁴⁰ Тем самым (лат.) — Прим. перев.

действию, к которому мы перейдем через минуту. Когда мы осуществляем локутивное действие, мы пользуемся речью: но каким образом в точности мы пользуемся ею в данном случае? Поскольку существует огромное число функций или способов, при помощи которых мы пользуемся речью, и это составляет огромное различие в нашем действии в некотором смысле — в смысле (В), — каким способом и в каком смысле мы «использовали» это употребление. Большая разница, советовались ли мы или просто предполагали, или на самом деле приказывали, давали ли строгое обещание, или только заявляли о неясном намерении и тому подобное. Эти проблемы слегка проникли, хотя не без путаницы, в грамматику (см. выше), но мы постоянно обсуждаем их в том смысле, *имеют ли* определенные вопросы (определенные локуции) *силу* вопроса или *должны быть рассмотрены в качестве* оценки и т. д.

Я объяснил осуществление действия в этом новом и втором смысле как осуществление «иллокутивного» действия, т. е. осуществление действия, состоящее в говорении чего-либо в противоположность осуществлению действия говорения чего-либо; я буду отсылать к доктрине различных типов функций языка, которая здесь обсуждается, как к доктрине «иллокутивных сил».

Можно сказать, что философы слишком долго игнорировали подобного рода исследования, изучая все проблемы как проблемы «локутивного употребления», и в самом деле, эта «дескриптивная ошибка», отмеченная мною в Лекции I, обыкновенно возникает из ошибочного понимания проблем первого типа как проблем второго типа. Действительно, мы начали из этого выбираться; в течение нескольких лет мы все больше и больше начинаем осознавать, что ситуация, связанная с употреблением, вполне серьезна и что слова, используемые в некотором содержании, должны быть объяснены «контекстом», для которого они предназначены или в котором употреблены в ходе реального языкового обмена. Но все же, вероятно, мы еще слишком склонны давать эти объяснения в терминах «значений слов». Понятное дело, что мы можем использовать «значение» наравне в референцией применительно к иллокутивной силе — «Он обозначил это как приказ» и т. д. Но я хочу разграничить *силу* и значение в том смысле, что значение является эквивалентом смысла и референции, точно так же как внутри значения становится порой существенным разграничить смысл и референцию.

Более того, мы здесь имеем иллюстрацию различных использований выражения «использование языка» или «использование предложения» и т. д. — слово «использование» — безнадежно двусмысленное или широкое слово, так

же как слово «значение», — вошло уже в привычку высмеивать эту двусмысленность. Но «использование» в качестве его заменителя — не в лучшем положении. Мы можем прояснить в определенном случае, что значит «использование предложения» в смысле локутивного действия, не касаясь, в сущности, на самом деле его использования в смысле *иллокутивного* действия.

Прежде чем начать дальнейшие уточнения понятия иллокутивного действия, давайте противопоставим *и* локутивное, *и* иллокутивное действие еще третьему типу действия.

Имеется еще один смысл (С), в котором осуществить локутивное действие, и тем самым иллокутивное действие, может также означать осуществление действия другого типа. Говорение чего-либо будет часто и даже нормально производить определенные соответствующие эффекты на эмоции, мысли или действия слушающих или говорящего, или других людей: и это может быть сделано с расчетом, намерением или целью продуцировать это; и мы можем тогда сказать, думая об этом, что говорящий осуществил действие, по номенклатуре которого референция была лишь косвенно (С.а) либо даже вовсе не была (С.б) осуществлением локутивного или иллокутивного действия. Мы назовем совершение действия этого рода осуществлением *перлокутивного* действия, или *перлокуцией*. Не будем пока определять эту идею более точно — хотя, конечно, в принципе это необходимо, — но просто приведем примеры:

(Е.1)

Действие (А), или Локуция

Он сказал мне «Стреляй в нее!», подразумевая под «стреляй» — стреляй, а под «она» — осуществляя референцию к *ней*.

Действие (В), или Иллокуция

Он настоял на том (или посоветовал, приказал и т. д.), чтобы я застрелил ее.

Действие (С.а), или Перлокуция

Он убедил меня застрелить ее.

Действие (С.б)

Он заставил меня (добился того и т. д.) застрелить ее.

(Е.2)

Действие (А), или Локуция

Он сказал мне: «Ты не можешь так поступить».

Действие (В), или Иллокуция

Он протестовал против того, чтобы я так поступил.

Действие (C.a), или Перлокуция

Он препятствовал мне, удерживал меня.

Действие (C.b)

Он останавливал меня, он взывал к моему здравому смыслу.

Он раздражал меня.

Мы можем точно так же разграничить локутивное действие «он сказал, что...» от иллюкутивного действия «он настаивал на том, что...» и от перлокутивного действия «он доказал мне, что...».

Как будет видно в дальнейшем, эффекты перлокуции обладают реальными последствиями, не включающими такие конвенциональные эффекты, как, например, ограниченность говорящего своим обещанием (которая имеет место в иллюкутивном действии). Вероятно, нуждается в пояснении, существует ли явное различие между тем, что мы чувствуем как реальную продукцию реальных эффектов, и тем, что мы рассматриваем лишь как конвенциональные следствия; в любом случае мы позже вернемся к этому.

Итак, мы здесь грубо разграничили три типа действий — локутивные, иллюкутивные и перлокутивные.⁴¹ Давайте прокомментируем в целом эти три класса, оставляя их еще пока не уточненными. Первые три пункта будут вновь касаться «использования языка».

(1) Наш интерес в этих лекциях сконцентрирован по преимуществу на втором, иллюкутивном, действии в его противопоставлении двум другим. Существует постоянная тенденция в философии затушевывать его (размывать) в пользу одного или другого, в то время как оно отличается от них. Мы уже видели, как выражения «значение» и «использование предложения» размывают различие между локутивным и иллюкутивным действиями. Теперь мы отметим, что говорить об «использовании» языка — это также размывать разграничение между локутивными и иллюкутивными действиями — поэтому мы через пару минут разграничим их более точно. Говорить об «использовании “языка”» для убеждения или предупреждения — все равно что говорить об «использовании “языка”» для «принуждения, побуждения, поднятия тревоги»; все же первое можно приблизительно противопоставить второму, сказав, что оно *конвенционально* в том смысле, что по крайней мере его можно эксплици-

⁴¹ Здесь в рукописи появляется сделанная в 1958 г. заметка такого содержания: «(1) Все это неясно, и (2) во всех относящихся к делу смыслах важно (А) и (В) в отличие от (С), не окажутся ли все высказывания перформативными?». — Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.

ровать посредством перформативной формулы; но последнее нельзя. Так, мы можем сказать «Я утверждаю, что» или «Я предупреждаю тебя, что», но мы не можем сказать «Я убеждаю тебя в том, что» или «Я тревожу тебя с тем, чтобы». Далее, мы можем достаточно ясно уточнить, утверждал ли кто-либо нечто или нет, не рассматривая вопроса о том, убеждал ли он кого-то или нет.

(2) Прежде чем продолжать дальше, давайте выясним, что выражение «использование языка» может скрывать другие материи, даже более разнообразные, чем иллокутивные и перлокутивные действия. Например, мы можем говорить об «использовании языка» для чего-либо, например для того, чтобы пошутить; и мы можем использовать «в» способом, отличным от иллокутивного «в», когда мы говорим «в случае, когда я говорил *p*, я шутил», или «принимал участие», или «читал стихи»; или, опять-таки, мы можем говорить о «поэтическом использовании языка» в противоположность «использованию языка в поэзии». Этим референциям к «использованию языка» нечего делать с иллокутивным действием. Например, если я говорю: «Иди и схвати падающую звезду», то может быть совершенно ясно, каковы и значение, и сила моего употребления, но все же может оставаться не решенным, какую именно из других вещей я смогу совершить. Существует паразитическое использование языка, которое является «несерьезным», не «полностью нормальным использованием». Нормальные условия референции могут быть приостановлены, если не делаются ни попытки стандартного перлокутивного действия, ни попытки заставить вас сделать что-либо, как Уолт Уитмен несерьезно призывает орла свободы парить.

(3) Более того, могут быть такие вещи, которые мы «делаем» в некотором контексте, говоря при этом что-либо, вещи, которые не кажутся попадающими, по крайней мере интуитивно, в точности в один из трех грубо очерченных нами классов или кажутся неопределенно попадающими сразу в несколько; но так или иначе мы не чувствуем ясно, что они так же далеки от наших трех типов действий, как шутки или писание стихов. Например, *намек*, когда мы намекаем на что-то посредством какого-либо употребления, которое кажется содержащим некую конвенцию, как в иллокутивном действии; но мы не можем сказать: «Я намекаю, что...», и здесь скрывается нечто, подразумевающее скорее продуманный эффект, нежели чистое действие. Другой пример — это возбуждение эмоции. Мы можем возбудить эмоцию в ходе употребления или посредством его, как в том случае, когда мы переругиваемся; но, опять-

таким образом, мы не имеем здесь употребления перформативной формулы и других приемов иллокутивных действий. Мы можем сказать, что используем ругань (божбу)⁴² для оживления наших чувств. Мы должны заметить, что иллокутивное действие является конвенциональным: действие осуществляется в соответствии с конвенцией.

(4) Действия всех трех родов, будучи осуществлением действий, склонны к неудачам, как все действия в принципе. Мы должны систематически разграничивать «действия, осуществляющие *x*», то есть достигающие *x*, и «действия, пытающиеся осуществить *x*»: например, мы должны разграничивать предупреждение и попытку предупредить. Здесь нас подстерегают неудачи.

Последние три пункта возникают благодаря тому, что наши действия суть не что иное, как *действия*.

(5) Поскольку наши действия суть не что иное, как действия, мы должны всегда помнить о различии между продуцированием тех эффектов или последствий, которые преднамеренны, и тех, которые непреднамеренны; и (i) когда говорящий преднамеренно производит некий эффект, этого, тем не менее, может и не произойти, а (ii) когда он непреднамеренно производит его или намеренно не производит, он может, тем не менее, произойти. Чтобы купировать трудности (i), мы, как и раньше, обращаемся к различию между попыткой и достижением; чтобы купировать сложность (ii), мы призовем на помощь обычные лингвистические приемы отказа (наречие типа «неумышленно» и «и так далее»), которые мы держим наготове для персонального употребления во всех классах совершения действий.

(6) Более того, мы должны, конечно, разрешить, что, будучи действиями, наши действия были подобны таким действиям, которые мы не *совершаем* в том смысле, то есть что мы делали их, скажем, под нажимом или как-либо по-другому. Другие способы, когда действие совершено не полностью, даны в (2) выше.

(7) Наконец, мы должны встретить возражение относительно наших иллокутивных и перлокутивных действий — а именно, что само понятие действия неясно, — встретить общей доктриной действия. У нас есть идея «действия» как фиксированной физической вещи, которую мы осуществляем, в противоположность конвенциям и как противоположную конвенциям. Но

⁴² «Ругань (божба)» (swearing) является двусмысленной: «Клянусь Богом!» значит божиться; но «Черт возьми!» не означает божбу.

(а) иллокутивное действие и даже локутивное действие тоже могут включать в себя конвенции: рассмотрим пример выражения почтения. Оно является почтением только потому, что конвенционально, и оно осуществляется только потому, что конвенционально. Сравним различие между ударом по стене и ударом по воротам в футболе;

(б) перлокутивное действие может включать то, что в некотором смысле является следствием, как в том случае, когда мы говорим «Делая *x*, я делал *у*»: мы всегда привносим мысль о тех или иных «следствиях», некоторые из которых могут быть «ненамеренными». Вообще не существует ограничений на минимальное физическое действие. Мы можем включить в само действие неопределенно длинную цепочку того, что можно также назвать «следствиями» действия или, возможно, фундаментальным общим местом теории нашего языка обо всех «действиях» в целом. Так, если нас спросят: «Что он сделал?» — мы можем ответить либо «Он убил ослика», или «Он выстрелил из ружья», или «Он нажал на курок», или «Он нажал своим пальцем на спусковой крючок», и все это будет правильным. Итак, чтобы сократить нянину сказку о том, как старуха пыталась вовремя загнать свинью домой, мы можем в конечном счете сказать, что свинью спугнула кошка, которая заставила или вынудила ее выбежать во двор. Если в подобных случаях мы хотим также *подразумевать* и действие *B* (иллокуцию), и действие *C* (перлокуцию), то мы, скорее, скажем «Он совершил действие *C* посредством (*by*) *B*», а не «в ходе (*in*) *B*...». В этом причина того, чтобы назвать *C* перлокутивным действием в противоположность иллокутивному действию.

В следующий раз мы вернемся к разграничению между нашими тремя типами действий и к выражениям «в ходе» и «посредством осуществления *x* я совершил *у*» с точки зрения уточнения разбивки на три класса, а также на их члены и нечлены. Мы увидим, что не только локутивное действие, но и иллокутивное и перлокутивное для своего полного осуществления нуждаются в том, чтобы совершать одновременно много действий.

ЛЕКЦИЯ IX

Когда мы решили, что предпринимаем программу составления списка эксплицитных перформативных глаголов, мы столкнулись с некоторыми трудностями, заключающимися в проблеме: «являются ли некоторые употребления перформативами или хотя бы *чистыми* перформативами». Нам казалось уместным поэтому вернуться к основам и рассмотреть, как много имеется смыслов, в которых сказать что-либо равнозначно тому, чтобы сделать что-либо, или когда в процессе говорения чего-либо мы делаем что-либо, или даже *посредством* говорения чего-либо мы делаем что-либо.

Вначале мы разграничили группу вещей, которые мы делаем при произнесении чего-либо, обобщив это разграничение словами о том, что мы совершаем *локутивное действие*, которое приблизительно эквивалентно употреблению определенного предложения с определенным смыслом и определенной референцией, что, опять-таки, приблизительно эквивалентно «значению» в традиционном смысле. Затем мы сказали, что мы также можем совершать *иллокутивные действия*, такие, как информирование, приказ, предостережение, предпринимание и т. д., то есть употребления, которые имеют определенную (конвенциональную) силу. Наконец, мы можем совершать также *перлокутивные действия* — то, что мы привносим или достигаем *посредством* говорения чего-либо, например, убеждение, принуждение, устрашение и даже, скажем, удивление или заведение в тупик. Здесь мы располагаем тремя, если не более, смыслами, или измерениями, «использования предложения» или «использования языка» (и, разумеется, есть и другие). Все эти три типа «действий», конечно, будучи просто действиями, порождают обычные проблемы и оговорки

относительно того, как отличить попытку от достижения, намеренное от ненамеренного и тому подобное. Тогда мы сказали, что необходимо рассмотреть эти три типа действий с большой детализированностью.

Мы должны отграничить иллюкутивное действие от перлокутивного: например, мы можем отграничить фразу «Говоря это, я предостерегал его от» от фразы «Посредством говорения этого я убеждал его, или удивлял его, или заставлял его остановиться».

НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫДЕЛЯТЬ «СЛЕДСТВИЯ»

Существует различие между иллюкуцией и перлокуцией, которое кажется более похожим на возникновение проблемы, и вот ее-то мы должны преодолеть, определив различие между иллюкуциями и локуциями тем или иным образом. Определенно, что перлокутивный смысл «совершения действия» должен как-то быть выведен из игры как нерелевантный по отношению к смыслу, в котором употребление, если осуществление его есть «совершение действия», является перформативным, то есть если оно, по крайней мере, отличается от констативного. Для ясности: *каждое* или почти каждое перлокутивное действие может быть осуществлено в соответствующих обстоятельствах посредством осуществления (с расчетом или без него) прямого констативного употребления (если существует такой зверь). Вы можете, например, удерживать меня (С.б)⁴³ от того, чтобы я делал что-то, информируя меня, возможно, простоудушно, но вовремя о том, какие последствия это действие будет иметь для меня в реальности: и это применимо даже к (С.а), потому что вы можете убедить меня (С.а), что она изменяет мужу, спросив ее, не ее ли это был платок, который найден в спальне X,⁴⁴ или утверждая, что это точно ее платок.

Мы должны затем провести демаркационную линию между действием, которое мы совершаем (здесь: локуцией), и его последствием. И вот если дей-

⁴³ См. лекцию VIII, где объясняется смысл обозначений (С.б) и (С.а) и др.

⁴⁴ Тот факт, что предоставление прямой информации почти всегда продуцирует соответствующий результат действия, удивляет не более чем противоположное: что совершение любого действия (включающее употребление перформатива) имеет регулярные последствия, заключающиеся в осознании фактов нами и другими людьми. Совершить некое действие «воспринимабельно» и различимо — значит предоставить нам самим информацию о других возможностях в целом и знать то, (а) что мы сделали это, а также (б) множество других фактов по поводу наших мотивов, нашего характера и чего-либо еще, что может быть выведено из совершения этого действия. Если вы

ствие в целом и не заключается в говорении чего-то, но является неконвенциональным «физическим» действием, то это запутанная материя. Как мы видели, мы можем (или можем думать, что можем) поэтапно классифицировать все больше и больше из того, что первоначально и обыкновенно включается или, возможно, может включаться под именем, данным «нашему действию» самому по себе,⁴⁵ как *на самом деле* единственное *последствие*, так или иначе наименее удаленное и так или иначе естественно ожидаемое, наше актуальное действие в предположительно минимальном физическом смысле, которое мы затем обнаруживаем как производящее некоторое движение или движения частями нашего тела (например, сгибание пальца, которое производит спуск курка, которое производит, ... которое убивает ослика). Можно, конечно, больше сказать о том, что нас здесь не занимает, но по крайней мере в случае действий говорения чего-либо,

(1) Помощь оказывает нам *номенклатура*, чего обычно не происходит в случае «физических» действий. Потому что в случае физических действий мы практически всегда естественно именуем действие *не* в тех терминах, которые мы здесь назвали минимальным физическим действием, но в терминах, охватывающих более или менее широкий, но неопределенно большой круг явлений, который можно назвать естественными последствиями действия (или, по-другому, намерением, ради которого оно совершено).

Мы не просто не используем понятие минимального физического действия (которое в любом случае является сомнительным), но мы даже, как кажется, не располагаем каким-либо классом имен, которые разграничивали бы физические действия и их последствия; в то время как в том, что касается действий, связанных с произнесением чего-либо, словарь имен для действий (В), кажется, выразительно отмечает разрыв в определенной точке между действи-

на политическом митинге швыряетесь помидорами (или вопите «Я протестую», когда кто-то другой говорит, — если это совершение действия), последствия, возможно, будут заключаться в том, что другие осознают, что вы протестуете против чего-то, и это заставит их подумать, что вы придерживаетесь определенных политических взглядов — но это не придаст тому, что вы проделывали, ни истинности, ни ложности (хотя эти действия могут быть — и даже намеренно — вводящими в заблуждение). И по той же причине производство последующих результатов любого порядка не предохранит констативное употребление от того, что оно *будет* истинным или ложным.

⁴⁵ Я не буду здесь входить в обсуждение вопроса, как далеко могут простирались последствия. Обычные ошибки на эту тему могут быть найдены, например, в работе «*Principia Ethica*» Мура (См.: Мур Дж. Принципы этики. М.: Прогресс, 1984)

ем (нашим говорением чего-либо) и его последствиями (которые обычно не являются *говорением* о чем-либо) или по крайней мере большинством из них.⁴⁶

(2) ДАЛЕЕ, наше положение несколько облегчается вследствие особой природы действий говорения чего-либо по контрасту с обычными физическими действиями: ибо эти последние, даже минимальное физическое действие, которое мы тщимся освободить от его последствий, обладают, будучи движением тела, *in pari materia*⁴⁷:⁴⁸ по меньшей мере многими из непосредственных и естественных последствий, в то время как, какими бы эти непосредственные и естественные последствия действия говорения чего-либо ни были, они по меньшей мере не являются в нормальном случае другими дальнейшими действиями говорения чего-либо со стороны ли самого говорящего, что более обычно, или со стороны остальных участников коммуникации. Так что мы здесь имеем своего рода регулярный разрыв в цепи, который желателен в случае физических действий и который ассоциируется с особым классом имен для иллюкций.

Но на это можно спросить: разве последствия, вводимые с помощью номенклатурной перлокуции, не являются на самом деле последствиями действий (A), то есть локуций? Не должны ли мы, чтобы освободить «все» последствия, вернуться назад, за пределы иллюкций и локуций — и в действительности к действию (A.a), к употреблению звуков, которое является физичес-

⁴⁶ Отметим, что, если мы полагаем, что минимальное физическое действие — это движение тела, когда мы говорим «Я пошевелил пальцем», тот факт, что объект движения *является* частью моего тела, на самом деле не приводит к новому смыслу слова «пошевелил». Таким образом, я могу быть в состоянии пошевелить ушами, как это делают школьники, или подвигать ими большим и указательным пальцами, или подвигать ногой, или переставить ее руками, если и нога вдруг онемела. В таких примерах, как «Я пошевелил пальцем», обычное употребление глагола «шевелить» является предельным. Мы не должны слишком углубляться, подходя к вопросу о «движении мышц» и т. д.

⁴⁷ Отчасти (лат.) — Прим. перев.

⁴⁸ Это *in pari materia* может вас завести в тупик. Я не имею в виду, как, было отмечено в предшествующей сноске, что мое «шевеление пальцем» метафизически по меньшей мере выглядит как «нажатие на курок». Но движение «нажатия на спусковой крючок пальцем» не находится в отношении *prima materia* (в первую очередь) с «движением спускового крючка».

Или мы могли взяться за это более важным способом, сказав, что смысл, в котором говорение чего-либо производит эффекты, является фундаментально иным смыслом причины, которая используется в физической каузализации давлением и т. д. Нужно проходить сквозь конвенции языка и влияние, оказываемое одним человеком на другого: это, возможно, и есть исходный смысл «причины».

ким движением?⁴⁹ Следует, разумеется, добавить, что для того, чтобы совершить иллокутивное действие, необходимо совершить локутивное действие: например, для того, чтобы поздравить, необходимо произнести определенные слова, а для того, чтобы произнести определенные слова, необходимо хотя бы отчасти сделать определенными более или менее неопикуемые движения органов речи.⁵⁰ Так что разрыв между «физическими» действиями и действиями говорения чего-либо не всегда полный — существует некоторая связь. Но (i), несмотря на то, что это может быть важным в некоторых отношениях и некоторых контекстах, это не кажется предохраняющим от очерчивания линии для нашей настоящей цели, которой мы добиваемся, то есть линии *a*, разграничивающей завершение иллокутивного действия и все вытекающие из него последствия. И далее (ii), что гораздо более важно, мы должны отказаться от идеи, предполагающей, хотя и не утверждающей, что иллокутивное действие есть *следствие* локутивного действия, и даже от идеи, что то, что импортируется номенклатурой иллокуций, это *дополнительная* референция к некоторым из последствий локуций, то есть что сказать «он меня склонил к» значит сказать, что он произнес определенные слова и плюс к этому еще и наличие или *предположение* неких последствий (? воздействия на меня). Если бы мы пожелали по некоторой причине или в некотором смысле «вернуться назад» от иллокуции к фонетическому действию (*A.a*), мы не должны были бы возвращаться к минимальному физическому действию *via*⁵¹ цепи его следствий тем способом, каким мы предположительно возвращаемся назад от смерти кролика к движению спускового крючка. Употребление звуков может быть последствием (физическим) движения органов речи, дыхания, и т. д., но употребление слова *не* является последствием употребления звуков, физических или каких бы то ни было еще. И произнесение слов с определенным значением не является ни физическим, ни иным *следствием* произнесения слов. Поэтому даже фатические (*A.b*) и ретические (*A.c*) действия не являются *последствиями* — не будем принимать во внимание физические последствия, — фонетических действий (*A.a*). Что мы хотим импортировать посредством использования номенклатуры локуций, так это референцию, то есть не последствия (по меньшей мере в любом обыденном смысле) локуции, но конвенции илло-

⁴⁹ Является ли? Мы уже отмечали, что «производство звуков» само по себе является реальным последствием минимума физического действия движения чьих-то речевых органов.

⁵⁰ Для простоты мы по-прежнему ограничиваемся *устным* высказыванием.

⁵¹ Путем, посредством (*лат.*) — *Прим. перев.*

кутивной силы как значение определенных особых обстоятельств в случаях осуществления употреблений. Мы ненадолго вернемся к смыслам, в которых успешное или законченное осуществление иллокутивного действия в определенном отношении *привносится*-таки «последствиями» или «результатами». ⁵²

До сих пор я уверял, что мы имеем надежды изолировать иллокутивное действие от перлокутивного как производящего последствия, и это само по себе не является последствием иллокутивного действия. Теперь, так или иначе, я должен указать на то, что иллокутивное действие в противоположность перлокутивному связано в определенном смысле с продуцированием эффектов:

(1) До тех пор пока определенный эффект не достигнут, иллокутивное действие не может считаться успешным, удачно завершенным. В этом, можно сказать, его отличие от того, чтобы определить иллокутивное действие как достижение определенного эффекта. Я лишь тогда вправе сказать, что я предуп-

⁵² Мы еще можем ощущать склонность приписать некоторую «первичность» локуции в противоположность иллокуции, видя, что некоторое данное ретическое действие (А.с) все еще может быть пространством для сомнения, в том смысле как оно может быть описано в терминах иллокуций. Почему в конце концов мы должны на одном ставить ярлык А, а на другом В? Мы можем согласиться по поводу определенных слов, которые были произнесены, и даже тех смыслов, в которых они были использованы, а также по поводу тех реальностей, применительно к которым они осуществляли референцию, и все же быть несогласными, что произнесенное в этих обстоятельствах употребление равнозначно угрозе или, может быть, предупреждению. И в конце концов существует пространство для аналогичных споров по поводу индивидуальных случаев, например по поводу того, как ретическое действие (А.с) может быть описано в терминах локуций (что мы в действительности имеем в виду? К какому лицу, времени и так далее мы реально производим референцию?): и действительно, мы часто можем соглашаться, что это действие, совершенное определенным лицом посредством приказа (иллокуция), в то время как еще не определено, что он подразумевал под этим именно приказ (локуция). Допустимо предположить, что действие по крайней мере «обязано» быть в состоянии описанным как более или менее *определенный* тип иллокуции, так чтобы его можно было бы описать как более или менее определенный локутивный акт (А). Трудности с конвенциями и намерениями должны возникнуть по мере принятия решения об описании локуции или иллокуции: намеренное или ненамеренное, двойственность значения и референции, возможно, являющиеся таким же обычным делом, как намеренная или ненамеренная неудача, должны продемонстрировать, «как надо понимать наши слова» (в иллокутивном смысле). Более того, весь аппарат «эксплицитных перформативов» (см. выше) служит для устраниения разногласий в той же мере, как и для описания иллокутивных действий. Фактически гораздо труднее избежать разногласий, чем описать «локутивные действия». Так или иначе, каждое действие является конвенциональным и испытывает потребность в «построении», осуществляемом судьями.

редил слушающих, когда они в определенном смысле услышали то, что я сказал. Если иллокутивное действие должно быть осуществлено, то эффект должен быть достигнут применительно к слушающему. Как же нам лучше за это взяться? И как нам ограничить это? В целом результат воздействия обеспечивает понимание и силу локуции. Так, совершение иллокутивного действия включает в себя обеспечение его *усвоения*.

(2) Иллокутивный акт «достигает результата» определенными способами в противоположность производству последствий в смысле привнесения их в положение дел в «нормальном» течении изменений естественного хода событий. Таким образом, «Нарекаю этот корабль “Королева Елизавета”» имеет в качестве результата поименование, или крещение, корабля; определенные последующие действия, такие, как осуществление референции к этому кораблю как к поименованному «Генералиссимус Сталин», являются неправомерными.

(3) Мы сказали, что многие иллокутивные действия требуют ответа посредством конвенции или практического следствия, которые могут быть «однонаправленными» и «двунаправленными»: так, мы можем отличать убеждение, приказ, обещание, предположение и вопрос от предложения помощи, спрашивая «Будете ли вы делать то-то и то-то?» или спрашивая «Да или нет?». Если этот ответ получен или если практическое следствие осуществлено, то возникает требование другого действия со стороны говорящего или другого лица; и это настолько общее место причинно-следственного языка, что оно не может быть включено в начальный сегмент действия.

В целом мы можем, так или иначе, всегда сказать «Я заставил его...» (делать то-то и то-то). Это приписывает мне действие, которое является, если в нем применяются слова, перлокутивным действием. Так, мы должны разграничивать «Я приказал ему, и он подчинился» и «Я *заставил его* подчиниться». Общее предположение состоит в том, что в дело были пущены некие дополнительные средства, чтобы достичь этого следствия, которое может быть приписано мне, приманки, и даже частенько личное влияние, равносильное принуждению; очень часто иллокутивное действие существует как отличное от чистого приказа, как в том случае, когда я говорю: «Я заставил его сделать это, утверждая, что х».

Поэтому здесь имеется три способа, при помощи которых иллокутивные действия достигают своих результатов; и все они отличаются от производства результатов, которые являются характеристикой перлокутивного действия.

Мы должны разграничивать действия, которые имеют перлокутивный объект (убеждение, уговоры), от тех, которые лишь производят практическое перлокутивное последствие. Так, мы можем сказать «Я пытался предостеречь его, но добился только того, что растревожил его». То, что является перлокутивным объектом одной иллокуции, может быть практическим следствием другой: например, перлокутивный объект предостережения — насторожить человека — может быть практическим следствием перлокутивного действия, пробуждающего тревогу. Опять-таки утешение может быть практическим следствием иллокуции, а не объектом говорения «Не делай этого». Некоторые перлокутивные действия всегда имеют практические следствия скорее, чем объекты, особенно те, которые не обладают иллокутивной формулой: так, я могу удивить вас, или огорчить вас, или унижить вас посредством локуции, хотя не существует иллокутивной формулы «Я удивляю тебя...», «Я огорчаю тебя...», «Я унижаю тебя...».

Характеристикой перлокутивного действия является то, что достигнутый ответ или следствие может быть осуществлено дополнительно или нелокутивными средствами: так, запугивания можно достичь размахиванием палкой или целясь из ружья. Даже в случаях уговоров, убеждений и принуждений подчиниться или поверить мы можем достичь ответа невербально. Тем не менее только этого недостаточно для того, чтобы отграничить иллокутивное действие, в то время как мы можем, например, предостерегать, или приказывать, или назначать, или дарить, или протестовать, или просить прощения невербальными средствами, и это будут иллокутивные действия. Так, мы можем высунуть язык или запустить помидором в знак протеста.

Более важен вопрос, всегда ли перлокутивное действие может достигать своего ответа или практического следствия неконвенциональными средствами. Безусловно, мы можем достичь некоторых практических следствий перлокутивного действия сугубо неконвенциональными средствами (или, как можно сказать, «инконвенциональными» средствами) посредством действий, которые вообще не являются конвенциональными или не являются конвенциональными для этих целей; так, я могу убеждать кого-либо, спокойно покачивая большой палкой или спокойно заметив, что его престарелые родители все еще находятся в Третьем рейхе. Строго говоря, не может быть иллокутивного акта до тех пор, пока используемые средства являются неконвенциональными; то же касается невербальных средств для достижения целей действия — они должны быть конвенциональными. Но трудно сказать, где начинаются и

где кончаются конвенции; так, я могу убедить его, покачивая палкой, или я могу подарить ему что-то, просто вручив ему это. Но если я убеждаю его, покачивая палкой, то покачивание палкой в таком случае и есть убеждение — он бы прекрасно понял, что я имею в виду: это будет казаться безошибочным жестом угрозы. Сходные трудности возникают в случае молчаливого согласия с каким-то проектом или голосования при помощи поднятия рук. Но факт остается фактом, что многие иллокутивные действия не могут быть осуществлены никак иначе, кроме как при помощи произнесения каких-либо слов. Это справедливо для утверждения, информирования (в противоположность показу), доказательства, предоставления оценки, выражения мнения и решения (в юридическом смысле слова) — это справедливо для большинства вердиктивов и экспозитивов в противоположность многим экзерситивам и комиссивам.⁵³

⁵³ Определение вердиктивов, экспозитивов, экзерситивов и комиссивов см. в Лекции XII.

ЛЕКЦИЯ X

Забыв на время о начальном разграничении между перформативами и констативами, а также о программе определения списка эксплицитных перформативных слов, преимущественно глаголов, мы сделали свежий старт посредством рассмотрения смыслов, в которых сказать что-либо значит сделать что-либо. Так, мы разграничили локутивное действие (и внутри него фонетический, фатический и ретический акты), которое обладает *значением*; иллокутивное действие, которое обладает определенной *силой* при произнесении чего-либо; перлокутивное действие, которое *достигает* определенного *результата* посредством произнесения каких-то слов.

В последней лекции мы разграничили некоторые смыслы последствий и эффектов в этих связях, особенно три смысла, в которых результаты могут достигаться даже с иллокутивными действиями, а именно обеспечение безопасности, вступление в силу и ответная реакция. В случае перлокутивного действия мы произвели приблизительное разграничение между достижением объекта и производством практического следствия. Иллокутивные действия являются конвенциональными действиями: перлокутивные действия *не* конвенциональны. Действия *обоих* типов могут быть осуществлены — или, более точно, действия, названные такими же именами (например, действия, эквивалентные иллокутивному действию предостережения или перлокутивному действию убеждения), — невербально; но даже тогда, чтобы заслужить имя иллокутивного действия, например, предостережения, это должно быть *конвенциональное* невербальное действие: перлокутивные же действия *не* конвенциональны, хотя для их осуществления могут совершаться конвенциональ-

ные действия. Судья должен быть в состоянии решить, услышав все, что говорилось, какие иллокутивные и перлокутивные действия были совершены, но не то, какие перлокутивные цели при этом достигались.

Наконец, мы сказали, что есть еще целый ряд вопросов о том, «как мы используем язык» или «что мы делаем, произнося какие-либо слова» (о чем мы уже говорили) и что это интуитивно кажется совершенно иной проблемой, которой мы не будем здесь касаться. Например, есть намеки (и другие *небуквальные* использования языка), шутки (и другие *несерьезные* использования языка), а также ругань и бахвальство (которые, вероятно, являются экспрессивным использованием языка). Мы можем сказать: «Говоря *x*, я шутил» (намекал на..., выражал свои чувства и т. д.).

Мы должны теперь сделать несколько заключительных замечаний относительно формул:

«Говоря *x*, я делал *y*» или «сделал *y*»

«*In saying x I was doing y*» or «*I did y*».

«Сказав *x*, я тем самым сделал *y*» или «делал *y*»

«*By saying x I did y*» or «*I was doing y*».

Эти формулы показались нам приемлемыми и удобными потому, что первая (*in* — в говорении) применяется для обозначения глаголов, которые являются именами для иллокутивных действий, и вторая (*by* — сказав, посредством говорения) — для обозначения глаголов, являющихся именами для перлокутивных действий, того, что мы фактически выбираем в качестве имен для *иллокуции* и *перлокуции*. Например:

«Говоря ему, что я его застрелю, я ему угрожал»

«*In saying I would shoot him I was threatening him*».

«Сказав ему, что я его застрелю, я напугал его»

«*By saying I would shoot him I alarmed him*».

Обеспечивают ли нас эти лингвистические формулы тестом на разграничение иллокутивных и перлокутивных действий? Нет, не обеспечивают. Прежде чем объяснить, в чем тут дело, позвольте мне сделать одно общее наблюдение или признание. Многие из вас почувствуют нетерпение в ходе этого исследования и в определенном отношении совершенно справедливо. Вы скажете: «Может, отрубить концы? Зачем продолжать говорить о списках приемлемых в обычной речи названий для вещей, которые мы делаем и которые имеют отношение к говорению, а также о формулах вроде “*in*” и “*by*”?» Поче-

му бы напрямую не приступить к обсуждению проблемы в терминах лингвистики и психологии? Зачем все время кружить вокруг да около? Хорошо, разумеется, я согласен, что это должно быть сделано — но только, я бы сказал, *после того*, а не прежде, чем мы выясним, что можно почерпнуть из обыденного языка, даже если то, что мы из него черпаем, и так кажется безусловным. Но в другом случае мы многое упустим и пойдем слишком быстро.

«In» и «by» так или иначе заслуживают исследования, так же как и «когда», «в то время как» и т. д. Важность такого рода исследований очевидна в общем вопросе о том, как различные возможные описания того, «что я делаю», взаимодействуют между собой, как мы это видели в случае «последствий». Мы рассмотрим тогда формулы «in» и «by» и после этого вернемся к нашему первоначальному разграничению перформативов и констативов, чтобы посмотреть, как оно выглядит в новом ракурсе.

Сначала мы возьмем формулу «Говоря *x*, я делал *y*» (или «я сделал *y*») («In saying *x* I was doing *y*» or «I did *y*»).

(1) Использование этой формулы не ограничивается иллокутивными действиями; она применима (*a*) к локутивным действиям и (*b*) к тем действиям, которые, кажется, выпадают из нашей классификации. Это, конечно, не тот случай, в котором, если мы можем сказать «говоря *x*, вы *y*-кали», то «*y*-кать» — это непременно осуществлять иллокутивное действие. В большинстве случаев можно заявить, что эта формула не будет применима к перлокутивному действию, в то время как формула «by» не будет применима к иллокутивному действию. В частности (*a*), мы используем одну и ту же формулу, где «*y*-кать» означает осуществлять некоторую несущественную часть локутивного действия: например, «Говоря (in saying), что я ненавижу католиков, я имел в виду только нынешних католиков» или «Я подразумевал или думал о римских католиках». Хотя в этом случае мы, возможно, использовали бы формулу «in speaking of» (а не «in saying»). Другой пример этого типа таков: «Говоря «Iced ink» (замерзшие чернила), я произношу звуки «I stink» (Я дурно пахну)». Но кроме того существуют (*b*) другие разнородные случаи, такие, как «Говоря *x*, вы совершили ошибку», или «не рассмотрели обязательное разграничение», или «нарушили закон», «подвергали себя риску», «забывали»: совершать ошибку или подвергать себя риску не означает осуществлять иллокутивное действие и даже локутивное.

Мы можем попытаться решить (*a*) тот факт, что оно не применимо к иллокутивным действиям, доказав, что «говорение» неоднозначно. Там, где ис-

пользование не является иллокутивным, «saying» может быть заменено на «speaking of» или «использование выражения» или вместо «говоря х» мы могли бы сказать «посредством слова х» или «используя слово х». Это тот смысл выражения «говорить» (saying), который требует последующих кавычек, и в подобных случаях мы имеем дело с фатическим, а не ретическим действием.

Случай (b) разнородных действий, выпадающих из нашей классификации, более сложен. Возможным тестом здесь был бы следующий: там, где мы можем употребить у-глагол ⁵⁴ в непродолженном времени (прошедшем или настоящем) вместо продолженного времени или, то же самое, там, где мы можем заменить «in» на «by», сохранив продолженное время, у-глагол не будет являться именем для локуции. Итак, для «Говоря так, он совершал ошибку» мы могли бы употребить без изменения смысла либо выражение «Говоря так, он совершил ошибку», либо «Посредством произнесения своих слов он совершал ошибку»: но мы не скажем «Говоря так, я протестовал» или «Посредством говорения этого я выражал протест».

(2) Но в целом мы могли бы заявить, что формула не сочетается с перлокутивными глаголами, подобными «убедить», «заставить», «отпугнуть». Однако мы должны слегка уточнить этот тезис. Во-первых, исключения возникают из-за некорректного использования языка. Так, люди говорят «Вы запугиваете меня?» вместо «Вы угрожаете мне?» и тем самым делают возможным употребление «Говоря х, он запугивал меня». Во-вторых, одно и то же слово может законным образом использоваться и иллокутивным, и перлокутивным способами. Например, «соблазнять» — глагол, который может быть с легкостью употреблен любым способом. Мы не говорим «Я соблазняю тебя», но мы говорим «Позволь мне соблазнить тебя сделать то-то», и диалог типа «Не хочешь еще одно мороженое?» — «Ты меня соблазняешь?» — вполне возможен. Последний вопрос был бы абсурдным в перлокутивном смысле, потому что ответить на него мог бы сам говорящий, если вообще мог бы кто-либо. Если я говорю: «Ну почему бы нет?» — может показаться, что я соблазняю его, но на самом деле он может и не соблазниться. В-третьих, имеется пролептическое⁵⁵ употребление глаголов, таких, например, как «совращать» или «успокаивать». В этом случае слово «пытаться» кажется всегда возможной добавкой к перлокутивному глаголу. Но мы не можем сказать, что иллокутивный глагол всегда

⁵⁴ Речь идет о глаголе, обозначенном через у в формуле «говоря х, я у-кал». — *Прим. ред. англ. текста Дж. О. Уормсона.*

⁵⁵ От древнегреч. prolepsis — предчувствие, предвидение. — *Прим. перев.*

эквивалентен попытке сделать что-либо, что может быть выражено перлокутивным глаголом, например, что «доказывать» эквивалентно выражению «пытаться убедить» или что «предупреждать» эквивалентно «пытаться встревожить» или «насторожить». Потому что, во-первых, различие между попыткой и осуществлением уже содержится в иллокутивном глаголе точно так же, как в перлокутивном; мы различаем доказательство и попытку доказательства точно так же, как убеждение и попытку убеждения. Более того, многие иллокутивные действия не являются случаями попытки осуществить некий перлокутивный акт; например, обещать не значит пытаться сделать что-либо.

Но мы можем еще спросить, возможно ли употреблять «*in*» в перлокутивном действии; это соблазнительно, когда действие совершается ненамеренно. Но даже здесь есть нечто некорректное, и лучше в данном случае употребить «*by*». Или, по крайней мере, если я говорю, например, «Говоря *x*, я убеждал его», я здесь отчитываюсь не в том, как я пришел к тому, чтобы сказать *x*, и не в том, как я пришел к тому, чтобы убеждать его; это другой путь использования формулы для объяснения того, что мы подразумеваем под фразой, когда употребляем формулу «говоря *x*», — здесь включается другой смысл («в процессе» или «в ходе» в противоположность «критерию») по сравнению с тем, который используется с иллокутивными глаголами.

Давайте теперь рассмотрим общее значение формулы «*in*». Если я говорю «Делая *A*, я делал *B*» (*In doing A I was doing B*), я могу подразумевать под этим либо что *A* включает *B* (*A* объясняет *B*), либо что *B* включает *A* (*B* объясняет *A*). Это разграничение может быть выявлено путем противопоставления (α.1) «В ходе и в процессе делания *A* я делал *B* (в ходе построения дома я строил стену) и (α.2) «Делая *A*, я находился в ходе или в процессе делания *B*» (Строя стену, я строил дом). Или, опять-таки, противопоставляя (α.1): «Употребляя звуки *N*, я говорил *S*» — и (α.2): «Говоря *S*, я употреблял звуки *N*»; в (α.1) я объяснял *A* (в данном случае произнесение мною звуков) и утверждал, что моя цель состоит в употреблении звуков, в то время как в (α.2) я объяснял *B* (употребление звуков) и тем самым утверждал результат моего употребления звуков. Формула часто используется для того, чтобы мои действия служили в качестве ответа на вопрос: «Как ты пришел к тому, чтобы сделать то-то и то-то?» Из этих двух различных эмфаз словарь предпочитает первый случай (α.1), в котором мы объясняем *B*, но мы так же часто используем это и в случае (α.2) для объяснения *A*.

Если мы теперь рассмотрим пример:

Говоря..., я забывал...,

то обнаружим, что *B* (забывал) объясняет, как мы приходим к тому, чтобы сказать это, то есть объясняет *A*. Точно так же предложение

Жужжа, я думал, что это жужжат бабочки

объясняет мое жужжание (*A*). Кажется, что именно таким образом формула «говоря» (*in saying*) употребляется с локутивными глаголами: она объясняет то, что я делал, говоря (но не то, что я подразумевал при этом).

Но если мы рассмотрим примеры:

($\alpha.3$) Жужжа, я притворялся пчелой

Жужжа, я вел себя, как клоун,

мы обнаружим, что говорение о том, что кто-то делал нечто (жужжал), намеренно или фактически конституировало мое говорение того-то и того-то, действие определенного рода, и делало его пригодным для обозначения посредством другого имени. Иллокутивный пример

Говоря то-то и то-то, я предостерегал

есть пример именно такого рода: он не похож на «в ходе того-то» типа ($\alpha.1$) и ($\alpha.2$) (где *A* объясняет *B* или *vice versa*⁵⁶). Но он отличается от локутивных примеров тем, что действие строится не по намерению или по факту, а преимущественно по конвенции (которая тоже, конечно, факт). Эти особенности служат для того, чтобы удовлетворительно вычленять иллокутивные действия.⁵⁷

Когда формула «говоря» (*in saying*) используется с перлокутивными глаголами, с другой стороны, она используется в зачинах типа «в процессе» в смысле ($\alpha.1$), но при этом она объясняет *B*, в то время как случай локутивного глагола объясняет *A*. Поэтому она отличается и от локутивных, и от иллокутивных случаев.

Вопрос «Откуда берется...?» не ограничивается вопросами средств и целей, как мы можем наблюдать. Так, в примере

Говоря *A*, я забывал про *B*

мы объясняем *A*, но в новом смысле выражений «объяснять» или «включать в себя», что не то же самое, что средства и цели. Опять-таки, в примере

Говоря..., я убеждал (оскорблял...)

⁵⁶ Наоборот (лат.) — Прим. перев.

⁵⁷ Но положим, что существует дантист-халтурщик. Мы можем сказать: «Надевая коронку, он занимается протезированием». Здесь имеется конвенция, как в случае предупреждения, — это может решить судья.

мы объясняем *B* (мое убеждение или оскорбление мною его), что в действительности является следствием, но не следствием используемых средств.

Формула «*by*» подобным же образом не ограничена перлокутивными глаголами. Существует локутивное употребление (посредством говорения... я подразумевал...), иллокутивное употребление (посредством говорения... я тем самым предостерегал...) и разнообразие маргинальных случаев (посредством говорения... я сам завел себя в тупик). Употребления «*by*» в целом могут быть по крайней мере двух типов:

- (а) Посредством битья по шляпке гвоздя я забивал его в стену.
- (б) Посредством надевания коронки я занимался зубной практикой.

В случае (а) «*by*» указывает на средства, посредством которых, в духе которых или с применением метода которых я осуществлял действие; в случае (б) «*by*» указывает на критерий, применимый к тому, что я делал, и позволяющий определить мои действия как занятие протезированием. Кажется, различие между двумя этими случаями невелико, за исключением того, что употребление с целью указания на критерий кажется более внешним. Второй смысл «*by*» — критериобразующий смысл, — кажется, также довольно близко приближается к «*in*» в одном из его смыслов: «Говоря это (*in saying that*), я нарушал закон (нарушил закон)»; и таким способом «*by*» определенно может быть употреблено с иллокутивными глаголами в формуле «посредством говорения» (*by saying*). Так, мы можем сказать «Посредством говорения... я предостерегал его (я предостерег его)». Но «*by*» в этом смысле не используется с перлокутивными глаголами. Если я говорю «Посредством говорения... я убедил (уговорил) его», то «*by*» здесь будет иметь смысл средство–целевой или каким-то образом сигнализировать о манере или методе, посредством которых я совершил это действие. Используется ли когда-либо «*by*»–формула в «средство–целевом смысле» с иллокутивными глаголами? Кажется, что здесь имеется по меньшей мере два типа случаев:

- (а) Когда мы адаптируем вербальные средства осуществления чего-либо вместо невербальных, то есть когда мы говорим вместо того, чтобы воспользоваться палкой. Так, в примере: «Посредством говорения «Да, согласен» (жениться на ней) перформатив «Да, согласен» является средством для достижения цели, то есть женитьбы. Здесь «говорение» используется в смысле, в котором оно берется в кавычки и является использованием языка для фатического, а не ретического действия.

(b) Когда некоторое перформативное употребление используется как косвенное средство для совершения другого действия. Так, в примере «Посредством говорения “Объявляю три в пиках” я информировал его о том, что у меня нет бубен», я использую перформатив «Объявляю три в пиках» как косвенное средство информирования его (которое также является иллокутивным действием).

Суммирую: чтобы использовать формулу «посредством говорения» в качестве теста на перлокутивность, мы должны сначала быть уверенными в том:

- (1) что «посредством» (by) употребляется в инструментальном смысле в отличие от критериального;
 - (2) что «говорение» (saying) используется
- (a) в полном объеме иллокутивного действия, а не в частичном, например, как фатическое действие;
 - (b) не путем двойной конвенции, как в вышеприведенном примере с игрой в бридж.

Существуют два других вспомогательных лингвистических теста на разграничение иллокутивного и перлокутивного действий:

(1) Кажется, что в случае иллокутивных глаголов мы часто можем говорить «Сказать *x* означало сделать *y*». Нельзя сказать «Стучать молотком по гвоздью означало забивать гвоздь». Но эта формула не даст нам чистого теста, потому что так мы можем сказать много вещей; мы можем сказать «Сказать это означало убедить его» (пролептическое значение?), хотя «убедить» — перлокутивный глагол.

(2) Глаголы, которые мы классифицировали (интуитивно — поскольку это все, что у нас есть) как имена для иллокутивных действий, кажется, весьма близко подходят к *эксплицитным перформативным* глаголам, потому что мы можем употребить выражения «Я предостерегаю тебя от того, что» и «Я приказываю тебе» как эксплицитные перформативы; но предостережение и приказ — это иллокутивные действия. Мы можем использовать перформатив «Я предостерегаю тебя», но не «Я убеждаю тебя», можем использовать перформатив «Угрожаю тебе тем-то и тем-то», но не «Запугиваю тебя тем-то и тем-то»; убеждение и запугивание — перлокутивные действия.

Общий вывод должен так или иначе заключаться в том, что эти формулы в лучшем случае являются весьма ненадежными тестами для решения того, яв-

ляется ли выражение иллокуцией в противоположность перлокуции или не является. Но, тем не менее, «by» и «in» заслуживают скрупулезного исследования в не меньшей степени, чем столь популярное ныне «как».

Но какова же тогда связь между перформативами и этими иллокутивными действиями? Кажется, что, когда у нас есть эксплицитный перформатив, у нас тем самым есть и иллокутивное действие; давайте посмотрим тогда, каково отношение между (1) разграничениями, касающимися перформативов, установленными в ранних лекциях, и (2) различными типами действий.

ЛЕКЦИЯ XI

Когда мы вначале противопоставляли перформативное употребление констативному, мы говорили, что

(1) перформатив должен делать что-либо в противоположность тому, чтобы говорить что-либо; и

(2) перформатив является успешным или неуспешным в противоположность истинности и ложности.

Являются ли эти противопоставления в действительности разумными? Наше последующее обсуждение того, что делается и что говорится, кажется, определенно наметило вывод, в соответствии с которым, когда бы я ни «сказал» что-либо (за исключением, возможно, чистого восклицания типа «черт» или «ох»), я всегда осуществляю как локутивное, так и иллокутивное действия, и эти два типа действия кажутся теми самыми вещами, которые мы пытались использовать как средства разграничения (под именами «делания» и «говoreния») перформативов от констативов. Если мы в целом всегда осуществляем обе эти вещи, как может выжить наша дистинкция?

Давайте пересмотрим противопоставление со стороны констативных употреблений: с этой точки зрения мы довольствовались обращением к «утверждениям» как типичному, парадигмальному случаю. Было бы ли это корректным — сказать, что, когда мы утверждаем нечто,

(1) мы совершаем нечто наряду и в противоположность просто произнесению чего-либо и

(2) наше употребление может быть либо успешным, либо неуспешным (наряду с тем, если угодно, что оно будет истинным или ложным)?

(1) Разумеется, утверждать значит в очень малой степени совершать иллокутивное действие, такое, скажем, как предостережение или приговор. Конечно, это не значит осуществлять действие каким-то особым физическим способом, отличным от того, который включается, когда, говоря, мы производим движения органов речи; но тогда это, как мы видели, не является ни предостережением, ни протестом, ни обещанием, ни именованием. Кажется, что «утверждать» отвечает всем критериям, которые у нас были для разграничения иллокутивного акта. Рассмотрим такой безусловный пример:

Говоря, что идет дождь, я не спорил, не доказывал и не предостерегал:
я просто констатировал факт.

Здесь «констатировал» существует абсолютно на таком же уровне, как доказательство, спор и предостережение. Или опять-таки:

Говоря, что возрастает безработица, я не предостерегал и не протестовал:
я просто констатировал факты.

Или взять другой тип теста, также, конечно, использованного нами ранее:

Я утверждаю, что он этого не делал.

Этот пример существует точно на таком же уровне, что и

Я доказываю, что он этого не делал.

Я полагаю, что он этого не делал.

Спорим, что он этого не делал.

Если я просто использую первичную и неэксплицитную форму употребления:

Он не делал этого,

то мы можем сделать эксплицитным то, что мы делали, говоря это, или выявить иллокутивную силу этого употребления, произнеся равным образом любой из трех вышеприведенных примеров.

Более того, хотя употребление «Он этого не делал» часто используется как утверждение и, следовательно, должно быть, без сомнения, истинным или ложным (*это уж точно, если вообще можно о чем-то говорить*), тем не менее не кажется возможным говорить, что оно в этом отношении отличается от «Я утверждаю, что он не делал этого». Если кто-то говорит: «Я утверждаю, что он

не делал этого», мы исследуем истинность этого утверждения точно таким же способом, как если бы он *simpliciter*⁵⁸ сказал «Он не делал этого», когда мы рассматриваем это, как часто на самом деле и делаем, в качестве утверждения. То есть сказать «Я утверждаю, что он этого не делал» означает сделать точно такое же утверждение, как сказать «Он этого не делал». Это не значит сделать другое утверждение о том, что «я» утверждаю (за исключением маргинальных случаев: историческое и хабитуальное настоящее и т. д.). Так же, как в предыдущем случае, когда я говорю «Я думаю, что он это сделал», кто-то проявит грубость, если скажет мне на это «Это ты о себе говоришь». И это действительно *может* относиться только ко мне, в то время как настоящее утверждение не может. Так что существует неприменимый конфликт между

(а) нашим употреблением как совершением чего-либо

(b) нашим употреблением как истинным или ложным.

Чтобы разобраться в этом, сравним, к примеру, «Я предостерегаю тебя, что он собирается напасть», где равным образом имеется и предостережение, и истина или ложь относительно того, что он собирается напасть; и эта двойственность должна учитываться и при оценке предостережения в той же мере (хотя не совсем таким же способом), что и при оценке утверждения.

Чистое наблюдение «Я утверждаю, что» не даст разграничения каким-либо существенным образом от «Я считаю, что» (сказать это и означает так считать), «Я информирую тебя о том, что», «Я свидетельствую, что» и т. д. Возможно, некоторые «существенные» различия между подобными глаголами будут еще выявлены в дальнейшем, но до сих пор в этом плане ничего сделано не было.

(2) Более того, если мы думаем о втором приписываемом перформативам противопоставлении, согласно которому они являются успешными и неуспешными, тогда как утверждения — истинными или ложными, то вновь с точки зрения предполагаемых констативных употреблений, в особенности утверждений, мы находим, что утверждения *подвержены* тем же типам неудач, что и перформативы. Давайте оглянемся назад и посмотрим, действительно ли утверждения не подвержены точно тем же «несостоятельностям», что и скажем, предостережение, — то, что мы называем «неудачами», то есть различные «несостоятельности», которые делают употребление неуспешным без того, чтобы делать его истинным или ложным.

⁵⁸ Попросту (франц.) — Прим. перев.

Мы уже отмечали тот смысл, в котором говорение или утверждение «Кошка сидит на ковре» подразумевает, что я полагаю, что кошка сидит на ковре. Это параллель к смыслу — то есть тот же самый смысл, — в котором «Я обещаю быть здесь» подразумевает, что я полагаю, что буду в состоянии быть здесь. Поэтому утверждение подвержено *неискренней* форме неудачи, и даже *нарушающей* форме неудачи в том смысле, что говорение или утверждение того, что кошка сидит на ковре, обязывает меня утверждать или сказать «Ковер находится под кошкой», равно как перформатив «Я определяю *X* как *У*» (в *слабом* смысле) обязывает меня употреблять эти термины особым образом в моем будущем дискурсе, и мы можем видеть, как это связано с такими действиями, как обещание. Это подразумевает, что утверждения могут давать возможность возникнуть неудачам двух *Г*-типов.

А что мы скажем о неудачах типов *A* и *B*, которые преследуют действие — предостережение, предприятие и т. д. — и которые аннулируют, делают его недействительным? Может ли некоторая вещь, которая выглядит похожей на утверждение, быть аннулированной и стать недействительной в той же мере, как может стать недействительным договор? Важно, что ответом кажется — «Да». Первые случаи — *A.1* и *A.2*, где нет конвенции (или общепринятой конвенции) или где обстоятельства не соответствуют для их использования говорящим. Многие неудачи именно этого типа угрожают утверждениям.

Мы уже отмечали случай недействительного утверждения, *предполагающего* (как мы это назвали) существование того, к чему оно осуществляет референцию; если таких объектов не существует, то «утверждение» не говорит ни о чем. И вот кто-то может сказать в подобных обстоятельствах, что если, например, кто-то утверждает, что нынешний король Франции лыс, то «вопрос о том, действительно ли он лыс, даже не возникает»; но лучше сказать, что несостоятельное утверждение является аннулированным и недействительным точно так же, как когда я говорю, что продам вам что-либо, но оно не мое (или оно сгорело) или больше не существует. Противопоставления часто недействительны потому, что объекты, о которых идет речь, не существуют, что влечет за собой провал референции (тотальную многозначность).

Но важно отметить также, что «утверждения» в той же мере подвержены неудачам этого типа, хотя и другими способами, но также параллельными договорам, обещаниям, предостережением и т. д. Как часто мы говорим, например, «Вы не можете мне приказывать» в смысле «Вы не имеете права мне приказывать», что эквивалентно тому, чтобы сказать, что вы не в том положении,

чтобы это делать. Также часто существуют вещи, которые вы не можете утверждать — не имеете права утверждать, не в том положении, чтобы утверждать. Вы *не можете* сейчас утверждать, сколько людей находится в соседней комнате; если вы говорите «В соседней комнате пятьдесят человек», я могу лишь считать, что это отгадка или прикидка (как в том случае, когда вы не можете приказывать мне, что было бы немисливо, но можете достаточно невежливо спросить, так и в этом случае я считаю, что вы «отваживаетесь на догадку», хотя это довольно странно). Здесь есть нечто, что вы можете при других обстоятельствах быть в состоянии утверждать; но что сказать об утверждениях о других лицах, чувствах или о будущем? Является ли предвидение или даже предсказание, скажем, о человеческом поведении подлинным утверждением? Важно рассматривать ситуацию речи в целом.

Точно так же, как иногда мы не можем назначать, но можем лишь подтвердить назначенное, так иногда мы не можем утверждать, но можем только поддержать уже сделанное утверждение.

Недействительные утверждения также подвержены неудачам типа *B* — ошибкам и препятствиям. Тот, кто «говорит то, что не думает», использует неверное слово — говорит «кошка сидит на ковре», подразумевая не «кошка», а «мышка». Возникают и другие похожие тривиальности — или, скорее, не просто тривиальности, потому что возможно обсуждать такие употребления сугубо в терминах значения, или смысла и референции и сильно запутаться, хотя в действительности их легко понять.

Мы однажды осознали, что то, что мы склонны изучать, это не предложение, но использование употребления в речевой ситуации, и мы не можем понимать с этой поры, что утверждение — это совершение действия. Более того, сравнив это утверждение с тем, что мы говорили об иллюкутивном действии, мы можем сказать, что это действие, применительно к которому не в меньшей степени, чем к локутивному действию, осуществляется необходимость «обеспечения усвоения»: сомнение относительно того, утверждал ли я что-либо, если меня не слышали или не поняли, это сомнение точно того же рода, что и сомнение относительно того, предостерегал ли я *sotto voce*⁵⁹ или протестовал, если никто не воспринял это как протест, и т. д. И утверждения «приводят к результатам» в той же мере, что и, скажем, «именования»: если я утверждал нечто, то это отзывает меня к другим утверждениям — другие утверждения, сделанные мной, могут быть приемлемыми или нет. Также неко-

⁵⁹ Тихим голосом (*итал.*) — *Прим. перев.*

торые утверждения или замечания, сделанные вами, будут или не будут противоречить моим, опровергать меня или нет и т. п. Если, возможно, утверждение не предполагает ответа, значит это не существенно по отношению к иллюкутивному акту. И определенно в утверждении мы осуществляем или можем осуществлять перлокутивные действия всех типов.

Самое большее, что может быть доказано с определенной достоверностью, это то, что не существует перлокутивного *объекта*, специфически ассоциирующегося с утверждением, подобно тому, какой существует применительно к информированию, доказательству и т. д.; и эта сравнительная чистота может быть одной из причин, почему мы даем «утверждению» определенную особую позицию. Но это, разумеется, не оправдывало бы задавания, скажем «дескрипций», если они правильно используются, и сходный приоритет в любом случае может быть закреплен за многими иллюкутивными действиями.

Тем не менее, глядя на дело с точки зрения перформативов, мы можем все же чувствовать, что они теряют нечто, чем располагают утверждения, даже если, как мы показали, обратное неверно. Перформативы, конечно, по ходу дела высказывают что-то, а не только осуществляют действия, но мы можем чувствовать, что они, по существу, не являются истинными или ложными, как утверждения. Мы можем чувствовать, что здесь существует измерение, в котором мы судим, определяем значимость, даем оценку констативного употребления (понимая в качестве исходной предпосылки, что оно является успешным), чего не возникает в связи с неконстативными или перформативными употреблениями. Давайте согласимся, что все эти обстоятельства и ситуации должны иметь место, чтобы я мог преуспеть в утверждении чего бы то ни было, и все же, когда я делаю утверждения, возникает (the) *вопрос*, является ли то, что я сказал, истинным или ложным. И мы это чувствуем, задавая простой вопрос, является ли это утверждение «соотносящимся с фактами». С этим я согласен: попытка сказать, что использование выражения «является истинным» как эквивалентного одобрению или чему-то подобному, ни к чему хорошему не приводит. Итак, мы имеем здесь измерение критики законченного утверждения.

Но теперь:

- (1) разве не возникает возможность подобной объективной оценки, по крайней мере в большом числе случаев, применительно к другим употреблениям, которые кажутся типичными перформативами; и
- (2) не слишком ли такое объяснение утверждений упрощенно?

Во-первых, возникает очевидный крен в сторону истины и лжи в случае, например, вердиктивов, таких, как оценивание, обнаружение и вынесение приговора. Так, мы можем:

оценивать	верно или неверно	например, что сейчас полтретьего;
полагать	правильно или неправильно	например, что он виновен;
объявлять	правильно или неправильно	например, что бэтсмен находится в ауте.

Мы не говорим «истинно» в случае вердиктивов, но мы определенно адресуем самих себя к некоему вопросу; и такие наречия, как «верно», «неверно», «правильно» и «неправильно», также используются вместе с утверждениями.

Или, опять-таки, существует параллель между обоснованием и доказательством, с одной стороны, и валидным истинным утверждением, с другой. Это не сводится к вопросу, доказывает он или обосновывает, но относится также к вопросу, прав ли он в своих словах или успешен в своих действиях. Предостережение и совет могут быть сделаны правильно или неправильно, хорошо или плохо. Сходные наблюдения возникают по поводу похвал, обвинений и поздравлений. Обвинение не будет в порядке, если вы, скажем, совершили такой же поступок, в котором обвиняете другого; и здесь всегда возникает вопрос, заслужены или не заслужены похвалы, обвинения и поздравления: недостаточно сказать, что вы обвинили его — и конец; существуют причины, по которым одно действие предпочтительно по сравнению с другим. Вопрос о том, являются ли похвала и обвинение заслуженными, это совершенно другой вопрос по сравнению с тем, своевременны ли они; и то же разграничение может быть произведено в случае совета. Это совсем разные вещи — сказать, что совет хороший или плохой, и сказать, что он своевременный и несвоевременный, хотя время совета более важно применительно к его «пригодности», чем время обвинения применительно к его заслуженности.

Можем ли мы быть уверенными, что истинные утверждения являются другим классом суждений, чем обоснованное доказательство, хороший совет, справедливый суд или заслуженное обвинение? Разве эти последние типы суждений каким-то сложным образом не связаны с фактами? То же самое справедливо применительно к экзерситивам, таким, как именование, назначение, завещание, спор. Факты появляются тем же путем, что и наше знание или мнение о фактах.

Хорошо, конечно, что постоянно делаются попытки достичь этого разграничения. Нам говорят, что обоснованность аргументов (если они не являются дедуктивными аргументами, которые валидны уже по своей природе) и заслуженность обвинения не являются объективными материями; в предостережении, нам говорят, мы должны разграничивать «утверждение» о том, что бык собирается наброситься, и само предостережение. Но рассмотрим также момент, является ли вопрос об истине и лжи таким уж объективным. Мы спрашиваем: «Это справедливое суждение?» — и существуют веские причины и убедительные доказательства для того, чтобы утверждать это и сказать, столь уж сильно отличаются они от причин и доказательств для перформативных действий типа доказательства, предостережения и суждения. Является ли в таком случае констатив всегда истинным или ложным? Когда констатив противоречит фактам, мы фактически оцениваем его таким способом, который включает в себя использование широкого круга терминов, которые накладываются на те, что мы используем при оценке перформативов. В реальной жизни в противоположность простым ситуациям, представленным в логической теории, никогда нельзя однозначно ответить, является ли это просто истинным или ложным.

Предположим, что мы сопоставляем с фактами высказывание «Франция шестиугольна». В данном случае, я полагаю, это суждение не будет ни истинным, ни ложным. Ладно, может, до некоторой степени оно и истинно; конечно, я могу понять, что вы имеете в виду, говоря, что оно является истинным для определенных намерений и целей. Оно вполне достаточно для высокопоставленного генерала, но не для географа. «На самом деле оно достаточно приблизительное, — сказали бы мы, — и вполне сносно для достаточно приблизительного утверждения». Но тогда кто-то говорит: «Но является ли оно истинным или ложным? Я не имею в виду, приблизительно ли оно или нет; конечно, оно приблизительно, но оно должно быть истинным или ложным — ведь это же утверждение, не так ли?» Как можно ответить на его вопрос, является ли истинным или ложным то, что Франция шестиугольна? Оно просто приблизительно, и это правильный и окончательный ответ на вопрос об отношении высказывания «Франция шестиугольна» к самой Франции. Это приблизительное описание; оно не истинно и не ложно.

Опять-таки в случае истинного или ложного утверждения точно так же, как в случае хорошего или плохого совета, намерения и цели употребления и его контекст чрезвычайно важны; то, что рассматривается как истинное в

школьном учебнике, может оказаться ложным в историческом исследовании. Рассмотрим констатив «Лорд Реглан выиграл битву при Альме», помня, что при Альме было военное сражение, если такое вообще было, и что приказы лорда Реглана ни разу не доходили до некоторых из его подчиненных. Так выиграл лорд Реглан битву при Альме или нет? Конечно, в некоторых контекстах, возможно, в школьном учебнике, сказать так будет совершенно справедливо — может быть, это будет некоторым преувеличением, и не встанет вопрос о награждении лорда Реглана медалью за это сражение. Подобно тому как высказывание «Франция шестиугольна» приблизительно, так же высказывание «Лорд Реглан выиграл битву при Альме» есть высказывание, преувеличенное и удобное для некоторых контекстов, но не для других; было бы бесполезно настаивать на его истинности или ложности.

В-третьих, давайте рассмотрим вопрос о том, является ли истинным или ложным высказывание о том, что все снежные гуси мигрирует в Лабрадор, учитывая, что, возможно, какой-то один увечный гусь иногда не с состоянием преодолеть весь путь. Столкнувшись с подобными проблемами, многие заявляют, и по большей части справедливо, что употребления, начинающиеся словом «Все...», являются дефинициями или советами, предписывающими определить некое правило. Но какое правило? Эта идея возникает отчасти из-за непонимания референции подобных утверждений, которая ограничена лишь известными фактами; мы не можем даже сделать простого утверждения о том, что истинность утверждений зависит от фактов, а не от знания о фактах. Положим, прежде чем была открыта Австралия, *X* сказал: «Все лебеди белые». Если вы потом обнаружили в Австралии черных лебедей, опровергнет ли этот факт высказывание *X*? Теперь его высказывание ложно? Необязательно: он возьмет его назад, но он может сказать: «Я не говорил о лебедях абсолютно повсеместно; например, я не делал утверждения о возможных лебедях на Марсе». Референция зависит от знания на момент употребления. На истинность или ложность утверждений влияет то содержание, которое в них включается или, наоборот, оставляется за их пределами, и их способность вводить в заблуждение и т. п. Так, например, описания, которые считаются истинными или ложными или, если угодно, являются «утверждениями», несомненно, поддаются под такого рода анализ, поскольку они по своей природе выборочны и высказываются с некоторой целью. Важно осознать, что понятия «истинный» и «ложный», как и понятия «свободный» и «несвободный», вовсе не относятся к чему-то простому, а обозначают только некоторое общее измерение, в рам-

ках которого противопоставлены правильность, или уместность, высказывания и его неуместность в таких-то обстоятельствах, в такой-то аудитории, для такой-то цели и при таких-то намерениях.

В общем, можно сказать следующее: относительно утверждений (и например, описаний), относительно предупреждений и т. д. может встать вопрос (при условии, что вы действительно и с полным правом предупреждали, утверждали или советовали) о *правильности* акта утверждения, предупреждения или совета, но не в смысле его своевременности или целесообразности, а в плане уместности данного высказывания, учитывая факты, ваше знание о фактах, цели, ради которых вы вступали в общение, и т. п.

Эта доктрина совершенно отлична от той, о которой говорят прагматисты: что истина это то, что работает, и т. д. Истинность или ложность утверждения зависит не только от значений слов, но и от того, какое действие вы совершили и при каких обстоятельствах.

Что же тогда в конце концов остается от разграничения между перформативными и констативными утверждениями? На самом деле мы можем сказать, что у нас на уме по этому поводу следующее:

(a) в случае констативного употребления мы абстрагируемся от иллокутивного аспекта речи (оставим пока в покое перлокутивный) и сконцентрируемся на локутивном; более того, мы используем упрощенное понятие соответствия фактам — упрощенное потому, что, по существу, оно подключает иллокутивный аспект. В идеале мы стремимся к тому, что было бы правильным сказать при всех обстоятельствах, для любой цели, любому слушателю и т. д. Возможно, иногда это реализуется;

(b) в случае перформативного употребления мы уделяем столько внимания, сколько можем, иллокутивной силе высказывания в противоположность измерению соответствия фактам.

Возможно, никакие из этих абстракций нам не пригодятся: возможно, на самом деле мы имеем здесь не два полюса, но, скорее, историческое развитие. И вот в определенных случаях, возможно, в случае математических формул в книгах по физике в качестве примеров констативов, или употребляя простые административные приказы, или давая простые имена, скажем, как примеры перформативов, мы в реальной жизни приближаемся к таким вещам. Были примеры такого рода типа «Я прошу прощения» и «Кошка сидит на ковре», сказанные по соответствующим причинам в экстремальных маргинальных случаях, которые и дали возможность возникнуть идее двух различных упот-

реблений. Но действительный вывод, безусловно, должен заключаться в том, что мы нуждаемся: (а) в разграничении локутивных и иллокутивных действий и (б) в тщательном анализе и установлении для каждого типа иллокутивного действия — предостережения, оценки, вынесения приговора, утверждения и описания, того, в чем заключается, если он вообще в чем-нибудь заключается, специфический способ, посредством которого они осуществляют намерение, определяющее, во-первых, приемлемость или неприемлемость данного действия, и, во-вторых, являются ли они «правильными» или «неправильными»; в каких терминах производится позитивная или негативная оценка и что она означает (подразумевает). Это широкое поле, и, конечно, оно не приведет к простому разграничению «истинного» и «ложного»; не приведет оно и к отграничению утверждений от всего остального, поскольку утверждение лишь одно среди огромного числа речевых действий иллокутивного класса.

Более того, в целом локутивное действие в той же мере, что и иллокутивное, является лишь абстракцией: каждое подлинное речевое действие является и тем, и другим. (Это то же самое, что и способ, посредством которого можно установить, что ретическое действие и т. д. суть чистые абстракции.) Но, конечно, по типовым образцам мы разграничиваем различные абстрактные «действия» посредством возможных промашек между чашкой и ртом, то есть в данном случае различных типов абсурда, который может возникать в осуществлении их. Мы можем сравнить с этим утверждением то, что было сказано в первой лекции о классификации типов абсурда.

ЛЕКЦИЯ XII

Мы оставили много незавершенных концов, но после короткого резюме мы должны броситься вперед. Как же выглядит разграничение «констативов» — «перформативов» в свете позднейшей теории? В целом для всех употреблений, которые мы рассмотрели (за исключением, возможно, ругани), мы обнаружили:

- (1) измерение успешности/неуспешности,
- (1а) иллокутивную силу,
- (2) измерение истинности/ложности,
- (2а) локутивное значение (смысл и референцию).

Доктрина различия перформативов/констативов относится к доктрине локутивных и иллокутивных действий в тотальном речевом действии так же, как *специальная* теории к *общей* теории. И нужда в общей теории возникает просто потому, что традиционное «утверждение» является абстракцией, так же как его традиционные «истинность» и «ложность». Но с этой точки зрения я не могу сделать ничего другого, как запустить пару обнадёживающих фейерверков. В частности, нижеследующая мораль находится среди тех, что я хотел бы вывести:

- (А) **Всякая** речевая деятельность в любой речевой ситуации есть *единственный актуальный* феномен, который в конечном счете мы призваны прояснить.
- (В) **Утверждение** и описание — *просто два* имени среди множества других имен для иллокутивных действий; они не занимают уникального положения.
- (С) **В частности**, они не занимают уникального положения применительно к соотношенности с фактами, позицию, уникальным образом называемую «быть»

истинным» или «ложным», потому что истинность и ложь (за исключением некой искусственной абстракции, которая всегда возможна и законна для определенных целей) не являются именами отношений или чего угодно, но являются измерениями утверждения — как слова стоят в отношении к фактам, событиям, ситуациям и т. д., к которым они относятся.

(D) Точно так же знакомое противопоставление «норматив или эвалюатив» в противоположность фактуалу нуждается, подобно многим другим дихотомиям, в элиминации.

(E) Мы можем обоснованно подозревать, что теория «значения» как чего-то эквивалентного «смыслу и референту» будет определено требовать некоторого переосмысления и переформулирования в терминах разграничения между локутивным и иллокутивным действиями (*если это разграничение правомочно*: здесь оно только намечено). Я допускаю, что в этом отношении сделано недостаточно: я рассмотрел старое понятие «смысла и референции» под влиянием текущих взглядов; я бы также подчеркнул, что опустил какое бы то ни было прямое рассмотрение иллокутивной силы утверждений.

И вот мы сказали, что существует еще одна вещь, которая требует того, чтобы быть сделанной, требует обширных полевых исследований. Мы уже давно говорили, что нуждаемся в списке «эксплицитных перформативных глаголов»; но в свете более общей теории мы знаем, что то, в чем нуждаемся, это список *иллокутивных сил* употреблений. Так или иначе, старая дихотомия *первичного и эксплицитного* перформативов вполне успешно выживет в море изменения от перформативно/констативного разграничения к теории речевых актов. Поскольку у нас сначала имелась причина полагать, что типы тестов, пригодных для эксплицитных перформативных глаголов («сказать... означает сделать...» и т. д.), будут эффективнее сортировать те глаголы, которые создают эксплицитную, как мы теперь скажем, иллокутивную силу употребления, или то, какое именно иллокутивное действие мы совершаем, используя данное употребление. Если что и не переживет перехода или останется на правах маргинального ограниченного класса, что и не вызывает удивления, поскольку оно создавало проблемы в самом начале, так это понятие чистоты перформатива: оно в основном базировалось на вере в противопоставление перформативов и констативов, которое, как мы видели, должно быть заменено в интересах более общих семей связанных между собой или пересекающихся речевых действий, которые и представляют то, что мы сейчас хотим подвергнуть классификации.

Используя (с осторожностью) простой тест на первое лицо единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения активного залога и просматривая словарь (пусть даже краткий) в достаточно либеральном духе, мы получаем список глаголов порядка десяти в третьей степени.⁶⁰ Как я говорил, я предприму попытку некой общей предварительной классификации и сделаю несколько замечаний касательно выделенных классов. Ладно, вот мы и продолжаем. Я только сделаю пробежку или, скорее, легкую прогулку вокруг этой темы.

Я различаю пять наиболее общих классов — но я далек от того, чтобы быть совершенно счастливым от их выделения. Тем не менее они вполне достаточны, чтобы сыграть Старого Гарри с двумя фетишами, которые я допускаю на роль Старого Гарри, а именно (1) фетиш истинности/ложности, (2) фетиш факта/оценки. Затем я называю эти классы употреблений, классифицируемые в соответствии с их иллокутивной силой, под следующими более или менее отталкивающими названиями:

- (1) Вердиктивы
- (2) Экзерситивы
- (3) Комиссивы
- (4) Бехабитивы (звучит шокирующе)
- (5) Экспозитивы.

Мы рассмотрим их по порядку, но вначале я дам приблизительную идею каждого.

Первые, вердиктивы, определяются по признаку вынесения вердикта, как и предполагает их название, судьей, юристом или арбитром. Но вердикты необязательно должны быть окончательными; они могут быть, например, оценкой, мнением или одобрением. Здесь существенно то, что дается решение — относительно некоего факта или ценности, — вынести которое по разным причинам бывает нелегко.

Вторые, экзерситивы, являются воплощением власти, права или влияния. Примеры — назначение, обоснование, приказ, принуждение, совет, предостережение и т. д.

Третьи, комиссивы, определяются обещаниями или другими обязательствами; они *обязывают* (commit) вас что-то сделать, но включают также деклара-

⁶⁰ Почему мы используем это выражение вместо 1000? Во-первых, оно больше впечатляет и выглядит более научным; во-вторых, мы тем самым охватываем числа от 1000 до 9999 — нормальный диапазон; в то время как указав 1000, мы тем самым имеем в виду «примерно 1000» — диапазон достаточно узкий.

ции или объявления о намерениях, которые не являются обещаниями, или, скорее, представляют собой нечто малопонятное, что мы называем участием или поддержкой, когда, например, принимают чью-то сторону. Они обладают очевидной связью с вердиктивами и экзерситивами.

Четвертые, *бехабитивы*, чрезвычайно смешанная группа, которая имеет дело с установками и *социальным поведением*. Примерами являются извинение, поздравление, похвала, выражение соболезнования, проклятие, вызов.

Пятые, *экспозитивы*, трудны для определения. Они олицетворяют то, какое место занимает наше употребление в ходе дискуссии или беседы, как мы используем слова, в общем они — представляют (are expository). Примеры: «я отвечаю», «я доказываю», «я признаю», «я иллюстрирую», «я допускаю», «я постулирую». Мы должны с самого начала иметь ясность относительно того, что после выделения этих групп остаются широкие возможности маргинальных, или неудобоваримых, случаев или того и другого вместе.

Последние два класса таковы, что доставляют мне наибольшее количество неприятностей, и вполне возможно, что они выделены не совсем отчетливо и пересекаются друг с другом или даже что потребуется свежая классификация. Я не рассматриваю свою классификацию как истину в последней инстанции. *Бехабитивы* беспокоят меня тем, что они слишком неоднородны, *экспозитивы* — тем, что они невероятно многочисленны и важны, а также тем, что их легко перепутать с другими классами, хотя, безусловно, они обладают определенной уникальностью, хотя в чем она заключается, даже я не могу дать себе отчета. Можно было бы вполне показать, что все эти аспекты представлены во всех выделенных мной классах.

1. ВЕРДИКТИВЫ

Примеры такие:

acquit (оправдывать)	convict (осуждать)	find (as a matter of fact) (считать)
hold (as matter of law) (решать)	interpret as (интерпретировать)	understand (понимать)
read it as (истолковывать как)	rule (постановить)	calculate (рассчитывать)
reacop (рассматривать)	estimate (оценивать)	locate (локализовать)
place (определять место)	date (датировать)	measure (измерять)
put it at (определять стоимость)	make it (полагать)	take it (заключать)
grade (сортировать)	rank (давать оценку)	rate (оценивать)

assess (определять размер ущерба)	value (производить оценку)	describe (описывать)
characterize (характеризовать)	diagnose (диагностировать)	analyse (анализировать)

Дальнейшие примеры можно найти в сфере одобрений или оценок характера, таких, как «Я бы назвал его прилежным».

Вердикты заключаются на основании фактов, официальном или неофициальном сообщении, или размышлении, или суждении об оценке фактов, если они различимы. Вердиктив это судебный акт в противоположность законодательным и исполнительным актам. Но некоторые судебные действия, понятые широко, как те, которые могут быть произнесены любыми судьями, а не только, к примеру, присяжными, на самом деле являются экзерситивами. Вердиктивы имеют очевидную связь с истинностью и ложностью в плане обоснованности или необоснованности либо справедливости или несправедливости. То, что содержание вердиктива является истинным или ложным, проявляется, например, в возможности оспаривать такие решения арбитра, как «аут», «с поля» или «штрафной».

Сравнение с экзерситивами

В качестве официальных действий постановления судьи являются проявлением действия закона; решение присяжного жюри делает человека виновным; требование арбитра, чтобы игрок ушел с поля, что допущено нарушение, что гол забит неправильно, влечет за собой штрафной удар или засчитывание гола. Это делается в соответствии с официальной позицией говорящего — но все это еще может быть правильным или неправильным, корректным или некорректным, справедливым или несправедливым по обстоятельствам. Здесь не принимается решения в пользу или против кого-либо. Судебный акт есть, если угодно, исполнительный акт, но мы должны различать исполнительное употребление «У тебя это будет» от вердикта «Это принадлежит тебе» и примерно так же разграничивать оценку убытков от их возмещения.

Сравнение с комиссивами

Вердиктивы имеют последствия в законе, в нас самих и в других людях. Вынесение вердикта, или оценка, обязывает, к примеру, нас к определенным действиям в будущем, так же как и любой речевой акт, может быть, даже в большей мере, во всяком случае в отношении к последовательности поведения; вероятно, мы знаем, к чему нас обяжет тот или иной вердикт. Так, вынесение определенного вердикта ограничивает нас, как мы только что сказали, или

даже обязывает к возмещению ущерба. Интерпретация фактов также может обязать нас принять определенный вердикт, или оценку. Вынести вердикт может также означать, что мы поддерживаем нечто; он может обязывать нас встать на чью-то сторону, защищать ее и т. д.

Сравнение с бегахитивами

Поздравление может подразумевать вердикт по поводу ценности или качества. Опять-таки в определенном смысле «обвинение» может быть эквивалентно «признанию ответственности», обвинение это вердиктив, но в другом смысле оно значит принятие определенной установки по отношению к человеку, и поэтому это бегахитив.

Сравнение с экспозитивами

Когда я говорю «я интерпретирую», «я анализирую», «я описываю», «я характеризую», то это в определенном смысле означает вынесение вердикта, но подобного рода речевое действие существенным образом связано со словесными действиями и проясняет нашу экспозицию. «Удаляю вас с поля» должно быть ограничено от «Я считаю, что вас нужно “удалить с поля”»; первое является вердиктом, вынесенным при помощи слов, подобно «Я бы описал это как трусость»; второе — вердикт об использовании слов, как в предложении «Я бы описал это как “трусость”».

2. ЭКЗЕРСИТИВЫ

Экзерситив — это принятие решения в пользу или против определенного образа действий или защита таковых действий. Это решение, касающееся того, что нечто должно быть таким-то и таким-то в противоположность суждению, что оно является таким-то: это защита того, как должно быть, в противоположность оценке того, как есть на самом деле; это возмещение убытков в отличие от их оценки; это предложение в противоположность вердикту. Арбитры и судьи применяют и экзерситивы, и вердиктивы. Их результатами может быть то, что другим лицам «предписывается» или «разрешается», или «не разрешается» совершать определенные действия.

Это очень широкий класс; примеры его следующие:

appoint (назначать)	degrade (разжаловать)	demote (понижить в должности)
dismiss (освободить, распустить)	excommunicate (отлучать)	name (именовать)
order (приказывать)	command (командовать)	direct (отдавать распоряжение)

sentence (выносить приговор)	fine (штрафовать)	grant (предоставлять)
levy (взимать)	vote for (голосовать)	nominate (назначать)
choose (выбирать)	claim (требовать)	give (предоставлять)
bequeath (завещать)	pardon (прощать)	resign (подавать в отставку)
warn (предостерегать)	advise (советовать)	plead (умолять)
pray (молить)	entreat (умолять)	beg (просить)
urge (заставлять)	press (настаивать)	recommend (рекомендовать)
proclaim (провозглашать)	announce (извещать)	quash (отменять)
countermand (отменять приказ)	annul (расторгать)	repeal (отменять)
enact (предписывать)	reprieve (отсрочивать)	veto (запрещать)
dedicate (посвящать)	declare closed (объявлять закрытым)	declare open (объявлять открытым)

Сравнение с вердиктивами

«Я считаю», «я интерпретирую» и тому подобные употребления могут быть, если они официальные, экзерситивными действиями. Более того, «я присуждаю» и «я осуществляю помилование» являются экзерситивами, базирующимися на вердиктивах.

Сравнение с комиссивами

Многие экзерситивы, такие, как *разрешать, уполномочивать, делегировать, предлагать, признавать, давать, санкционировать, заявлять права и давать согласие*, фактически обязывают человека к определенной последовательности действий. Если я говорю «Объявляю войну» или «Отказываюсь», то цель моего действия в целом обязать меня самого к совершению определенной последовательности действий. Связь между экзерситивом и обязыванием кого-то такая же тесная, как между значением и подразумеванием (*implication*). Очевидно, что назначение или называние действительно обязывает нас, но мы бы, скорее, сказали, что они представляют собой *проявление* власти, права, имени и т. д. или же изменяют или вовсе элиминируют их.

Сравнение с бегахитивами

Такие экзерситивы, как «я призываю», «я протестую», «я одобряю», тесно связаны с бегахитивами. Вызов, протест, одобрение, похвала, рекомендация могут выступать как непосредственные осуществления установки или осуществления самого действия.

Сравнение с экспозитивами

Такие экзерситивы, как «я отказываюсь», «я сомневаюсь» и «я возражаю», в контексте доказательства или беседы имеют примерно такую же силу, как экспозитивы.

Вот типичные контексты, в которых экзерсивы используются таким образом:

- (1) назначение на должности и посты, выдвижение кандидатур, выборы, допуск, отставка, увольнение, заявление;
- (2) совет, проповедь и петиция;
- (3) уполномочивание, приказы, приговоры и отмены;
- (4) ведение заседаний, дел;
- (5) права, требования, обвинения и т. д.

3. КОМИССИВЫ

Главное свойство комиссивов — обязать говорящего к определенной линии поведения. Примеры:

promise (обещать)	covenant (заключать сделку)	contract (заключать договор)
undertake (предпринимать)	bind myself (связывать себя)	give my word (давать слово)
am determined to (иметь твердое намерение)	intend (намереваться)	declare my intention (заявлять о намерении)
mean to (подразумевать)	plan (планировать)	purpose (иметь целью)
propose to (предлагать)	shall (буду делать)	contemplate (обдумывать)
envisage (намечать)	engage (связывать себя обязательством)	swear (клясться)
guarantee (гарантировать)	pledge myself (торжественно обещать)	bet (спорить)
vow (давать обет)	agree (соглашаться)	consent (давать согласие)
dedicate myself to (посвятить себя)	declare for (высказываться за)	side with (становится на сторону)
adopt (принимать)	champion (бороться)	embrace (принимать веру)
espouse (поддерживать)	oppose (противостоять)	favour (одобрять)

Декларации о намерениях отличаются от обязательств, и может возникнуть вопрос, следует ли их относить к одному классу. Так же как мы обладаем разграничением между уговором и приказом, так же у нас есть разграничение между намерением и обещанием. Но и то и другое вдохновляется первичными перформативами «буду»; так что мы имеем локуции «возможно, буду», «буду делать все, что в моих силах», «скорее всего, буду», «обещаю, что, возможно, буду».

Здесь также есть уклон в сторону «дескриптивов». С одной стороны, я могу *просто* утверждать, что у меня было определенное намерение, но я могу также заявить, или выразить, или провозгласить свое намерение или решение. «Я заявляю о своем намерении», без сомнения, обязывает меня; и сказать «Я намерен» в целом значит о чем-то заявить или нечто провозгласить. То же самое происходит с декларациями о поддержке, как, например, во фразе «Я посвящаю всю жизнь...». В случае комиссивов, подобных «одобрять», «возражать», «принимать точку зрения», «занимать позицию» и «вступать на путь», вы не можете утверждать, что вы одобряете, возражаете, и т. д. в целом, без объявления того, что вы делаете. Сказать «Я одобряю X» может в соответствии с контекстом означать голосовать за X, поддерживать X или рукоплескать X-у.

Сравнение с вердиктивами

Вердиктивы обязывают нас действовать двумя способами:

- (a) тем, что обеспечивает последовательность нашего поведения и тем самым наш вердикт;
- (b) тем, который может быть последствием нашего вердикта или включен в него.

Сравнение с экзерситивами

Экзерситивы обязывают нас по отношению к последствиям действия, например, именованию. В особом случае пермиссивов мы можем спросить, должны ли мы рассматривать их как экзерситивы или как комиссивы.

Сравнение с бехабитивами

Такие реакции, как негодование, рукоплескание, похвала, включают в себя приверженность (*espousing*) и обязательства, точно так же как совет или выбор. Но бехабитивы обязывают нас к *уподоблению* поведению, а не к реальному поведению. Так, если я обвиняю, то я принимаю установку по отношению к чьему-то поведению в прошлом, но самого себя я могу обязывать только избегать такого поведения.

Сравнение с экспозитивами

Клятва, обещание и гарантирование в определенных случаях работают так же, как экспозитивы, название, определение, анализ и допущение — из одной группы, и поддержка, согласие, несогласие, утверждение, защита — из другой группы локуций; обе кажутся одновременно экспозитивами и комиссивами.

4. БЕХАБИТИВЫ

Бехабитивы включают понятие реакции на поведение других людей, их судьбу и установки и выражение установок по отношению к чьему-то поведению в прошлом или в будущем. Существуют очевидные связи и с утверждениями, и с описаниями того, что представляют и выражают наши чувства в смысле излияния чувств, хотя бехабитивы отличаются и от тех, и от других.

Примеры бехабитивов:

1. Для извинения у нас есть «извиняться».
2. Для благодарности у нас есть «благодарить».
3. Для выражения симпатии у нас есть «сожалеть», «сочувствовать», «хвалить», «соболезновать», «поздравлять», «желать счастья», «симпатизировать».
4. Для установок мы имеем «негодовать», «не обращать внимания», «отдавать должное», «критиковать», «ворчать», «жаловаться на», «рукоплескать», «не придавать значения», «хвалить», «возражать», а также неэкзерситивное употребление глаголов «обвинять», «одобрять» и «поддерживать».
5. При встрече и прощании мы говорим «добро пожаловать» и «счастливого пути».
6. Для пожелания у нас есть «благословлять», «проклинать», «провозглашать тост», «выпить за» и «желать» (в сугубо перформативном смысле).
7. Для вызова и противоборства у нас есть «сметь», «бросать вызов», «протестовать», «оспаривать».

В поле бехабитивов кроме обычной возможности неудач имеются специальные условия неискренности.

Существуют очевидные связи с комиссивами, поскольку «хвалить» и «поддерживать» являются в равной мере реакцией на поведение и обязательством вести себя определенным образом. Существует также тесная связь с экзерситивами, поскольку «одобрять» может означать осуществлять власть, а также реакцию на поведение. Другие пограничные примеры: «рекомендовать», «не обращать внимания», «протестовать», «умолять», «бросать вызов».

5. ЭКСПОЗИТИВЫ

Экспозитивы используются в действиях объяснения (exposition), включающих представление точки зрения, изложение аргументов, а также прояснение употреблений и референций. Мы уже устали повторять, что можно без конца спорить, отнести ли подобные употребления к вердиктивам или экзерситивам, бехабитивам или комиссивам; мы можем также спорить о том, явля-

ются ли они просто описаниями наших чувств, опыта и т. д., особенно иногда, в случае подтверждения слова делом, как когда я говорю «Теперь перейдем к...», «Я цитирую...», «Ссылаюсь на...», «Резюмирую...», «Повторяю, что...», «Замечу, что...».

А вот примеры, которые с тем же успехом могут быть приведены и в качестве вердиктивов: «анализировать», «классифицировать», «интерпретировать», которые включают осуществление суждения.

Примеры, которые можно рассматривать как экзерситивы, это «уступить», «уговаривать», «доказывать», «настаивать», которые включают проявление влияния или осуществление власти. Примеры, которые можно с таким же успехом рассматривать в качестве комиссивов, таковы: «определять», «согласиться», «принять», «утверждать», «поддержать», «свидетельствовать», «клясться» — они включают принятие на себя обязательства. Примеры, которые с таким же успехом можно рассматривать как бехабитивы: «возражать», «сомневаться» — они включают принятие установки или выражение эмоции.

С самыми добрыми намерениями я привожу вам ниже некоторые списки, определяющие границы этого поля. Наиболее ключевыми являются такие примеры, как «утверждать», «подтверждать», «отрицать», «подчеркивать», «иллюстрировать», «отвечать». Огромное количество глаголов, таких, как «подвергать сомнению», «спрашивать», «отрицать» и т. д., кажутся естественным образом связанными с обменом мнениями в беседе: но последнее не так очевидно, потому, что, конечно, все в речевой деятельности имеет отношение к коммуникативной ситуации.

Итак, вот список экспозитивов:⁶¹

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. affirm (подтверждать) | apprise (извещать) |
| deny (отрицать) | tell (рассказывать) |
| state (утверждать) | answer (отвечать) |
| describe (описывать) | rejoin (возражать) |
| class (классифицировать) | 3a. ask (спрашивать) |
| identify (идентифицировать) | 4. testify (свидетельствовать) |
| 2. remark (замечать) | report (докладывать) |
| mention (упоминать) | swear (клясться) |
| ? interpose (перебивать) | conjecture (предполагать) |
| 3. inform (информировать) | ? doubt (сомневаться) |

⁶¹ Мы сохранили компоновку и нумерацию Остина. Общее значение разбивки на группы очевидно, но в имеющихся у нас авторских записях эта классификация не снабжена каким-либо ключом. Вопросительные знаки принадлежат Остину. — Прим. ред. англ. текста Дж. О. Урмсона.

? know (знать)	neglect (пренебрегать)
? believe (полагать)	? emphasize (подчеркивать)
5. accept (принимать)	7. begin by (начинать с)
concede (допускать)	turn to (переходить к)
withdraw (отказываться)	conclude by (заключать)
agree (соглашаться)	7a. interpret (интерпретировать)
demur to (протестовать)	distinguish (разграничивать)
object to (возражать)	analyze (анализировать)
adhere to (придерживаться)	define (определять)
recognize (признавать)	7b. illustrate (иллюстрировать)
repudiate (отрекаться)	explain (объяснять)
5a. correct (исправлять)	formulate (формулировать)
revise (пересматривать)	7c. mean (иметь в виду)
6. postulate (постулировать)	refer (соотносить)
deduce (выводить)	call (называть)
argue (доказывать)	understand (понимать)
	regard as (считать за)

Подводя итог, мы можем сказать, что вердиктив — это осуществление суждения, экзерситив — это утверждение влияния или проявление власти, комиссив — это принятие обязательств или выражение намерений, бехабитив — это принятие установки и экспозитив — это прояснение причин, доказательств и сообщений.

Как это обычно и бывает, у меня не хватает времени для того, что сказать, почему все мною сказанное представляет интерес. В таком случае приведу всего один пример. Философов долгое время интересовало слово «хороший», лишь совсем недавно они начали линию рассмотрения того, как мы употребляем его, что мы делаем посредством его употребления. Было предположено, например, что мы употребляем его для выражения одобрения, похвалы или для сортировки. Но мы не выясним на самом деле ничего о слове «хороший» и о том, зачем мы его употребляем, пока в идеале не составим полный список тех иллокутивных действий, среди которых похвала и сортировка будут частными разновидностями, пока мы не узнаем, сколько таких актов существует и каковы их взаимосвязи и пересечения. Так, мы показали одно из возможных применений нашей общей теории, которую мы рассмотрели; без сомнения, существует много других теорий. Я сознательно не сталкивал свою общую теорию с философскими проблемами (некоторые из них достаточно сложны, что почти оправдывает их славу); это не означает, что я не знаю этих

теорий. Конечно, такое изложение кажется скучным и суховатым, неудобоваримым и трудноперевариваемым для восприятия; но еще тяжелее его обдумывать и писать. Подлинная радость приходит, когда мы начинаем применять ее в философии.

В этих лекциях, таким образом, я сделал два дела, которые я не люблю делать вместе:

(1) обрисовал программу, то есть говорил, что надо делать, скорее, чем делал это сам;

(2) читал лекции.

Так или иначе, против (1) говорит то, что я бы очень хотел думать, что слегка разобрался в том, как начали складываться дела и как они пойдут дальше в разных областях философии, а не просто провозгласил индивидуальный манифест. И против (2) — я с определенностью хотел бы сказать, что для меня нет места, более подходящего для лекций, нежели Гарвард.

СМЫСЛ
И СЕНСИВИЛИИ



Восстановлено из рукописных
записей

Дж. Дж. Уорноком

Предисловие переводчика

Предлагаемая вниманию читателя книга является довольно необычным философским произведением — необычным хотя бы потому, что ее автору, известному Оксфордскому философу-аналитику Джону Остину (1911—1960), многие ставят в вину нефилософский характер его исследовательских поисков. И его противники, и его последователи усматривают в том, как Остин критикует традиционные философские концепции и понятия, отрицание самой философии. Мы не будем здесь обсуждать, насколько правомерно это обвинение; отметим лишь любопытную особенность остиновского анализа, которая создает определенные трудности при переводе его текстов на другие языки. Как правило, философское исследование (по крайней мере, в аналитической традиции) претендует на общезначимость, предполагающую относительную независимость анализа от того естественного языка, на котором проводится этот анализ. В случае Остина это не так. Проводимый им лингвистический анализ в значительной мере определяется тем, что он строится на основе обыденного английского языка, поскольку важными “блоками” в обосновании Остина становятся разнообразные факты об английском языке: о смысловых оттенках и связях отдельных слов, о специфике контекстов их употребления и т. д. Безусловно, в разных естественных языках можно проследить совпадения в этих аспектах (и тогда подобный анализ в равной мере применим к этим языкам), однако, часто это не так. Поэтому читателю, приступающему к чтению работ Остина, следует помнить о том, что многие его рассуждения и замечания имеют силу только для английского языка. Это не означает, что нельзя провести сходного анализа на основе русского или любого другого языка; просто тогда анализ будет несколько иным, его “плотью и кровью” станут иные примеры из практики соответствующего разговорного языка.

Отмеченная особенность остиновского анализа обусловила обилие английских слов и фраз, встречающихся в переводе, что, возможно, вызовет раздражение у читателя, поскольку затрудняет чтение. Однако в данном случае присутствие английских слов и фраз неизбежно и обусловлено спецификой лингвистического анализа. Возьмем, к примеру, анализируемое Остином английское слово “real”. Поскольку этим словом, как считает Остин, часто злоупотребляют сторонники критикуемой им теории чувственных данных, необходимо рассмотреть те контексты, в которых это слово употребляется в обыденном английском языке. Однако в русском языке в соответствующих контекстах употребляется не какое-то одно слово, а несколько слов — “настоящий”, “реальный” или “действительный”. Хотя указанные русские слова, несомненно, тесно связаны со словом “реальность”, однако их связи не всегда столь прямые и очевидные, как в случае английских “real” и “reality”, но именно наличие такой связи играет важную роль в анализе Остина. Или другой пример — английские слова “precise”, “exact” и “accurate” во мно-

гих контекстах передаются одним русским словом “точный” (хотя здесь могут подразумеваться различные смысловые оттенки: точный в смысле “правильный”, или точный в смысле “измеренный с помощью мелко градуированной шкалы”, или точный в смысле “тот, что нужно” и т. д.) Рассуждения Остина по этому вопросу утрачивают смысл, если не учитывать, что речь идет не об одном слове “точный”, а о трех разных английских словах.

Особо следует отметить раздел IV книги, в котором проводится сравнение между английскими глаголами “looks” (выглядит), “seems” (кажется) и “appears” (представляется, производит впечатление) и теми грамматическими конструкциями, в которых они употребляются. Здесь практически все примеры Остина даются в английском и русском вариантах, поскольку для прослеживаемых различий в употреблении перечисленных английских слов не всегда можно указать соответствующие различия в употреблении русских “эквивалентов”. Следует учитывать, что многие английские грамматические конструкции, которые Остин рассматривает как разные, как правило, переводятся совершенно одинаково на русский язык, однако в целях большей ясности и наглядности мы и в русских вариантах старались сохранить хотя бы внешнее различие.

И еще два момента нуждаются в разъяснении. Во-первых, иногда Остин использует слова, за которыми стоят определенные английские идиоматические выражения. Так, например, перечисляя особенности слова “teal”, он изобретает для него особое название “trouser-word”. Значение этого словосочетания определяется английским выражением “to wear the trousers” (букв.: носить брюки), которое означает: быть хозяином в доме, верховодить, играть роль первой скрипки. При переводе подобных слов и словосочетаний мы выбирали — возможно, в ущерб образности и яркости — наиболее соответствующее контексту и близкое по значению выражение русского языка.

Другой момент имеет отношение к названию книги Остина. Термин “сенсibiliи” был введен Б. Расселом как еще одно имя для чувственных данных. Второй термин, входящий в название, — английское “sense” — имеет множество значений и переводится на русский язык по-разному: чувство, ощущение, восприятие, рассудок, разум, значение, смысл и т. д. На наш взгляд, именно многогранность и многозначность этого слова обыгрывается Остином в названии его лекций, однако в русском языке нет подобного термина, и поэтому при переводе неизбежно приходится выбирать какой-то один смысловой оттенок английского “sense”. Хотя книга в основном посвящена теме восприятия и было бы оправданно перевести “sense” как “чувство” или “восприятие”, однако мы сочли более уместным дать иной перевод — “смысл”, подчеркнув тем самым, что анализ значения или смысла предложений, с помощью которых мы высказываемся о том, что воспринимаем, представляет собой основной метод философского исследования Остина в этой работе.

Прямая зависимость критической аргументации Остина от определенных аспектов обыденного английского языка вовсе не означает, что его доводы не представляют особого интереса для философа, рассуждающего на русском языке. Во-первых, был бы интересен аналогичный анализ русского языка. Во-вторых, аргументы Остина не исчерпываются только анализом отдельных английских слов и выражений. Но самое главное — рассуждения Остина заставляют иначе взглянуть на то, что казалось очевидным, и задуматься над многими важными проблемами, в частности над формированием философской терминологии, ее статусом и связью с обыденным языком.

кандидат философских наук
Л. Б. Макеева

Предисловие

Остин неоднократно читал лекции по проблемам, которым посвящена эта книга. Впервые в той форме, в какой они здесь представлены, лекции были прочитаны в Оксфорде в весенний триместр 1947 года под общим названием «Проблемы в философии». Название «Смысл и сенсibiliи» Остин дал им в весенний триместр следующего года, и именно это название в последующем и сохранилось.

В этом, как и в других случаях, Остин не раз исправлял и переделывал свои собственные записи. Сохранилось несколько недатированных и очень фрагментарных записей, которыми он, по всей видимости, пользовался в 1947 году. Другой комплект записей был подготовлен в 1948 году, а еще один — в 1949 году. Этот последний комплект, куда Остин делал вставки и вносил исправления в 1955 году, содержит довольно подробное изложение первых частей его аргументации, тогда как последующие части представлены в менее полном и, очевидно, незаконченном виде. Четвертый комплект записей был подготовлен в 1955 году, а последний — в 1958 году для лекций, прочитанных Остином в Калифорнийском университете осенью того же года. В последний раз лекции «Смысл и сенсibiliи» были прочитаны им в Оксфорде в зимний триместр 1959 года.

Помимо этих более или менее последовательных записей бумаги Остина включали ряд разрозненных страниц, относящихся к разным датам и содержащих его замечания по тому же кругу проблем. Многие из этих замечаний были вставлены в записи лекций и потому приведены в настоящем издании. Некоторые носят явно предварительный характер, другие же, порой довольно подробные, хотя и делались в процессе подготовки к лекциям, но включены в лекции не были.

Весь рукописный материал находится сейчас в Бодлианской библиотеке и доступен для изучения.

Поздние комплекты записей, 1955 и 1958 годов, полностью не охватывают обсуждаемых в этих лекциях тем. По большей части они содержат дополнительный материал, а во всем остальном отсылают, с незначительными переделками, изменениями и исправлениями, к записям 1948 и 1949 годов. В настоящем издании этот дополнительный материал главным образом включен в раздел VII, заключительную часть раздела X и раздел XI. Читая лекции в Беркли, Остин отчасти использовал материал из своей статьи «Несправедливый к фактам» (*Unfair to Facts*), однако обычно этот материал не включался им в лекции, а потому он опущен и здесь, тем более что указанная статья была недавно опубликована.

Необходимо немного подробнее остановиться на том, как был подготовлен настоящий текст. Остин, безусловно, намеревался когда-нибудь опубликовать свою работу о восприятии, но сам он так и не приступил к подготовке ее к публикации. Поэтому его записи в основном предназначались для чтения лекций, а, на нашу беду, он мог читать лекции без

запинки и абсолютно точно, не имея под рукой записанного текста. Стало быть, о публикации его записей в их первоизданном виде не могло быть и речи; они были бы нечитательными и вряд ли понятными. Поэтому было решено преобразовать их в последовательный текст, и здесь следует помнить, что в предлагаемом тексте, хотя и максимально приближенном к записям Остина, вряд ли найдется предложение, которое в точности скопировано из его рукописи. В предлагаемом варианте наиболее близкими к собственным записям Остина являются разделы I–VI, VIII и IX, в которых представлена его аргументация, несущественно измененная после 1947 года. Что касается разделов VII, X и XI, то хотя и они не вызывают серьезных сомнений в том, что существо аргументации Остина представлено в них точно, однако было намного трудней восстановить из его записей, как и в каком порядке следует располагать здесь его доводы. Знакомясь с этими разделами, читателю следует проявлять особую осторожность и не придавать слишком большого значения деталям изложения; именно здесь ошибки редактора наиболее вероятны.

Не стоит особенно надеяться и на то, что ошибки не закрались и в другие места. Только по количеству слов настоящий текст в пять-шесть раз превышает даже самый полный комплект записей, и, хотя нет оснований сомневаться, что в основном взгляды Остина представлены здесь верно, нельзя быть уверенным и в том, что они не искажены в каких-то деталях. Иногда приходилось только догадываться, что *именно* он хотел сказать и как, к примеру, раскрывал или уточнял в лекциях то, что в его записях представлено одной фразой или вообще одним-единственным словом; в некоторых местах другой редактор, вероятней всего, предпочел бы другую интерпретацию. Однако этот неудовлетворительный аспект любого редактирования неизбежен в данном случае. Поэтому предлагаемый текст нельзя воспринимать как воспроизведение слово в слово того, что Остин говорил в своих лекциях, как нельзя его считать и некоторым приближением к тому, что Остин написал бы, если бы сам готовил текст по этой теме к публикации. Самое большее, на что можно претендовать — а я осмелюсь претендовать на это с уверенностью, — так это на то, что во всех содержательных (и во *многих* фразеологических) аспектах его аргументация верно представлена в этой книге. Впрочем, если бы нельзя было на это претендовать, то не могло бы быть и речи о подобной публикации.

Следует добавить, что у Остина отсутствовало деление текста на разделы. Здесь оно осуществлено с одной лишь целью — выделить последовательные шаги изложения. Имевшееся у Остина деление на отдельные лекции неизбежно было произвольным и меняющимся время от времени, поэтому придерживаться его было нежелательно и нереально.

Несколько человек, посещавших лекции Остина в Оксфорде или Америке, любезно предоставили мне свои конспекты. Они оказались чрезвычайно полезными — в особенности конспекты, присланные м-ром Дж. У. Питчером из Принстона и сотрудниками Отделения философии в Беркли. По своей полноте они не уступают собственным записям Остина. Боюсь, что те, кто посещал его лекции (я сам посещал их в 1947 году), сочтут эту книгу крайне несовершенным подобием того, что говорил Остин. Надеюсь, однако, что они согласятся с тем, что даже такое письменное свидетельство лучше чем ничего.

Я хотел бы выразить свою признательность м-ру Дж. О. Урмону, прочитавшему рукопись и давшему много полезных советов по ее улучшению.

*Ноябрь 1960 г.
Дж. Дж. Уорнок*

I

В этих лекциях я собираюсь обсудить некоторые современные (хотя к настоящему времени, возможно, и не столь современные) учения о чувственном восприятии. Думаю, мы не зайдем так далеко и не будем затрагивать вопрос об их истинности или ложности, но фактически этот вопрос и не может быть решен, ибо эти учения, как мы увидим, берут на себя непосильную задачу. В своем обсуждении я буду использовать в качестве главной «мишени» «Основания эмпирического знания» А. Дж. Айера, однако также речь пойдет о книге Прайса «Восприятие», а чуть позже и о книге Уорнока, посвященной Беркли. Многие в этих книгах я считаю заслуживающим критики, но отобрал я их не из-за их недостатков, а из-за их достоинств: на мой взгляд, в них содержится лучшее на сегодняшний день изложение признанных оснований для принятия теорий, существующих по меньшей мере со времен Гераклита, — изложение более полное, логически более последовательное и терминологически более точное, чем вы найдете, к примеру, у Декарта или Беркли. Несомненно, упомянутые авторы больше не придерживаются теорий, подробно излагаемых в этих книгах, или во всяком случае не стали бы их излагать в прежнем виде. Но, по крайней мере, они действительно придерживались этих теорий не так давно, а огромное число философов, безусловно, когда-то проповедовали эти теории или отстаивали вытекающие из них учения. Отобранные мною для обсуждения авторы, возможно, расходятся друг с другом в каких-то тонкостях, которые в свое время будут нами отмечены. Например, это касается вопроса о том, проводят ли они центральное различие в отношении двух «языков» или в отношении двух классов сущностей, но я уверен, что они согласны друг с другом и со своими предшественниками во всех главных (по большей части оставленных без внимания) посылах.

В идеальном варианте обсуждение такого рода должно было бы начинаться с анализа самых первых текстов, однако в данном случае такой подход исключен по той причине, что эти тексты не сохранились. Учения, которые нам предстоит обсудить — в отличие, скажем, от учений об «универсалиях», — уже во времена Платона были довольно древними.

Общее учение в его общепринятой формулировке звучит так: мы никогда не видим или не воспринимаем («ощущаем») иным способом или, во всяком случае, никогда *непосредственно* не воспринимаем и не ощущаем материальные объекты (или материальные вещи), а только лишь чувственные данные (или наши собственные идеи, впечатления, чувственные восприятия, перцепты и т. д.).

Возможно, кого-то заинтересует вопрос, насколько серьезно задумано это учение, насколько строго и буквально должны, по мнению выдвигающих его философов, восприниматься их слова. Однако не думаю, что нам стоит сейчас задаваться этим вопросом. В действительности на него не так-то просто ответить, поскольку, каким бы странным ни казалось нам это учение, нам порой советуют воспринимать его спокойно — именно в это учение мы все на самом деле постоянно верим. (Есть ситуации, когда вы говорите это, и есть ситуации, когда вы берете свои слова назад.) В любом случае это учение считается *достойным изложения*, но при этом несомненно, что оно вызывает у людей недоумение, поэтому для начала мы можем быть уверенными по крайней мере в том, что оно заслуживает серьезного внимания.

В общем, по моему мнению, это учение является типично *схоластическим* воззрением, и объясняется это, во-первых, одержимым увлечением некоторыми отдельными словами, употребление которых трактуют слишком упрощенно, по-настоящему не понимают, тщательно не изучают и корректно не описывают, а во-вторых, объясняется одержимым увлечением несколькими (почти всегда одними и теми же) малоизученными «фактами» (я называю это увлечение «схоластическим», но мог бы назвать и «философским»); упрощенность, схематичность, неустанное и навязчивое повторение одного и того же набора бессодержательных «примеров» — все это характерно не только для данного случая, но встречается слишком часто, чтобы от этого можно было отмахнуться как от случайного недочета философов). Как я постараюсь показать, наши повседневные слова демонстрируют намного более тонкие оттенки значения и фиксируют намного больше различий, чем осознают философы, а факты восприятия, выявляемые, скажем, психологами и отмечаемые простыми смертными, намного более разнообразны и сложны, чем это принимается во внимание. Здесь, как и

езде, очень важно отказаться от старых привычек *Gleichschaltung*,¹ от глубоко укоренившегося преклонения перед внешне пристойными дихотомиями.

Я не собираюсь утверждать — этот момент следует разъяснить с самого начала, — будто мы должны быть «реалистами», то есть должны придерживаться учения, согласно которому в действительности мы воспринимаем материальные вещи (или объекты). Эта доктрина не менее схоластична и ошибочна, чем противоположная ей. Безусловно, вопрос «Воспринимаем ли мы материальные вещи или чувственные данные?» кажется простым — *слишком* простым, но эта простота только лишь вводит в заблуждение (ср. со столь же грандиозным и слишком простым вопросом Фалеса о том, из чего состоит мир). Прежде всего важно понять, что эти два термина — «чувственные данные» и «материальные вещи» — существуют, взаимно поддерживая друг друга, и сомнителен не один из них, а само их противопоставление.² Мы «воспринимаем» вещи не *одного* вида, а *разных* видов, и число этих видов если и может быть сокращено, то только в ходе научного исследования, а не благодаря философии: карандаши во многих, хотя и не во всех, отношениях не похожи на радугу, а та в свою очередь во многих, хотя и не во всех, отношениях не похожа на остаточные образы, которые в свою очередь во многих, хотя и не во всех, отношениях не похожи на изображения на экране кинотеатра, и т. д. — без фиксируемого конца. Поэтому мы не должны искать ответ на вопрос, какого вида вещь мы воспринимаем. Прежде всего нам следует проделать негативную работу и избавиться от таких иллюзий, как «аргумент от иллюзии» — «аргумент», который многие из тех, кто наиболее мастерски его разрабатывал (например, Беркли, Юм, Рассел, Айер), кто в совершенстве овладел особым, удачным искусством «передергивания» английским философским языком, сами считали не вполне корректным. Избавиться от этой иллюзии будет непросто — отчасти по той причине, что здесь, как мы увидим, не просто «аргумент». Нам предстоит распутать один за другим массу пленительных (в основном вербальных) софизмов, раскрыв богатое разнообразие скрытых мотивов, — и благодаря этой процедуре мы в каком-то смысле окажемся там, откуда начали.

¹ *Gleichschaltung* (нем.) — унификация, приспособление к господствующей идеологии. — *Прим. перев.*

² В некоторых, хотя, конечно же, не во всех отношениях аналогичным является случай противопоставления «универсального» и «конкретного», или «индивидуального». Часто в философии, когда один из членов мнимого противопоставления попадает под подозрение, правильный подход состоит в том, чтобы отнестись с подозрением и ко второму, более невинному на вид, члену.

Подчеркну: в каком-то смысле, ибо в действительности мы надеемся узнать нечто позитивное благодаря технике устранения философских затруднений (отдельных видов философских затруднений, а не всей философии в целом) и вместе с тем узнать кое-что о значении некоторых английских слов («reality» (реальность), «seems» (кажется), «looks» (выглядит) и т. д.), которые при всей своей философской неопределенности представляют интерес сами по себе. Кроме того, ничто так не наскучивает, как постоянное повторение утверждений не только не истинных, но порой даже совсем неосмысленных. Если нам удастся хоть немного избавиться от этого, то все это будет только на пользу.

II

В таком случае давайте обратимся к самому началу «Оснований» Айера, которое, пожалуй, можно было бы назвать окончанием пути. В приводимом ниже отрывке³ мы как бы уже видим обыкновенного человека, плохо скрытого под внешностью самого Айера, проворно лавирующего к своей цели и рассчитывающего избежать саморазрушения.

«Обычно нам не приходит в голову, что мы должны как-то обосновывать нашу веру в существование материальных вещей. В настоящий момент я, к примеру, совершенно не сомневаюсь в том, что действительно воспринимаю привычные предметы — стулья, стол, картины, книги и цветы, — которыми обставлена моя комната, и, следовательно, уверен в том, что они существуют. Я, безусловно, признаю, что иногда люди обманываются в своих чувствах, но это не внушает мне подозрений, что и моим собственным чувственным восприятиям вообще-то нельзя доверять или что в настоящий момент они обманывают меня. И такая позиция, думаю, не является исключением. На практике большинство людей согласятся с Джоном Локком в том, что «*достоверность того, что вещи существуют in rerum Natura (когда для этого имеется свидетельство наших чувств), велика не только в той мере, какая возможна при нашем строении, но и настолько, насколько это требуется для нашего положения*».⁴

Однако если обратиться к сочинениям тех философов, которые в последнее время занимались изучением восприятия, то можно сразу усомниться в

³ Ayer A. J. The Foundations of Empirical Knowledge, pp. 1-2.

⁴ Локк Дж. Опыт о человеческом разумении // Локк Д. Соч. в 3 томах. Т. 2. М: Мысль, 1985, с. 113.

том, так ли прост этот вопрос. Верно, что в общем философы признают обоснованность нашей веры в существование материальных вещей; кто-то из них не преминул бы заявить, что при определенных обстоятельствах мы доподлинно знаем истинность таких высказываний, как «это сигарета» или «это ручка». Но даже в этом случае они по большей части не готовы признать, что такие объекты, как ручки или сигареты, воспринимаются нами непосредственно. По их мнению, непосредственно воспринимаем мы всегда объект совершенно иного рода, который в настоящее время стало привычным называть «чувственным данным».

Итак, в этом отрывке противопоставляется то, во что верим мы или во что верит обыкновенный человек, и то, во что верят, по крайней мере «по большей части», философы или что они «готовы признать». Мы должны рассмотреть обе стороны этого противопоставления, уделив особое внимание тому, что действительно предполагается или подразумевается в заявлениях этих сторон. Начнем с позиции обыкновенного человека.

1. Прежде всего совершенно явно предполагается, что обыкновенный человек верит в то, что воспринимает материальные вещи. Если это по крайней мере означает, что он *говорит*, что воспринимает материальные вещи, то это совершенно неверно, ибо обыкновенный человек точно не стал бы употреблять выражение «материальная вещь» и, вероятно, не стал бы употреблять выражение «воспринимаю». По-видимому, «материальная вещь» предлагается здесь не как выражение, которое *употребил бы* обычный человек, а как выражение, обычно обозначающее *класс* вещей, в которые верит обыкновенный человек и относительно которых он время от времени утверждает, что воспринимает их. Но тогда мы должны спросить, что же включает в себя этот класс. В качестве примеров нам обычно предлагают «привычные предметы» — стулья, столы, картины, книги, цветы, ручки, сигареты; выражение «материальная вещь» ни в приведенном отрывке (и ни в каком другом месте в тексте Айера) далее не разъясняется.⁵ Но действительно ли обыкновенный человек верит в то, что воспринимаемое им это всегда что-то вроде предметов обстановки или других «привычных предметов», представляющих собой мануфактурные товары среднего размера? Например, мы можем думать о людях, о го-

⁵ Сравните со списком Прайса в книге «Восприятие» («Perception», p. 1): «столы и стулья, коты и камни», хотя Прайс усложняет дело, добавив в список «воду» и «землю». См. также с. 280 о «физических объектах», «зрительно воспринимаемых и осязаемых телах».

лосах людей, о реках и горах, о пламени и радуге, о тенях и изображениях на экране кинотеатра, о картинках в книгах и на стенах, о парах и газах — обо всем том, о чем люди говорят, что видят это или (в некоторых случаях) слышат и обоняют, то есть «воспринимают». Являются ли все они «материальными вещами»? Если нет, то какие из них не являются и почему? Никаким ответом нас не устаивают. Проблема в том, что выражение «материальная вещь» уже с самого начала выступает лишь спутником «чувственного данного»; нигде и никогда этому выражению не предоставляется никакой другой роли. Помимо этого соображения нет никаких других оснований для того, чтобы пытаться представить как некий единый *вид* (*kind*) все вещи, о которых обыкновенный человек говорит, что «воспринимает» их.

2. Видимо, также подразумевается, (а) что если обыкновенный человек считает, что он не воспринимает материальные вещи, то он думает, что обманывается в своих чувствах, и (b) что если он считает, что обманывается в своих чувствах, то он думает, что не воспринимает материальные вещи. Однако и то, и другое неверно. Обыкновенный человек, наблюдающий, к примеру, радугу, не станет делать поспешного вывода о том, что он обманывается в своих чувствах, если его убедить, что радуга — это не материальная вещь; так и в случае, когда ему известно, что в ясный день корабль на море кажется менее удаленным, чем это есть на самом деле, он не станет делать вывод о том, что не видит материальную вещь (а еще меньше — что видит нематериальный корабль). Стало быть, различие между тем, во что верит обыкновенный человек, когда все в порядке (то есть когда он «воспринимает материальные вещи») и когда что-то не так (то есть когда он «обманывается в своих чувствах» и не «воспринимает материальные вещи»), не более просто, чем различие между тем, что, по его мнению, он воспринимает («материальные вещи»), и тем, что философы, со своей стороны, готовы признать, чем бы это ни оказалось. Почва подготовлена для принятия *обеих* фиктивных дихотомий.

3. Далее, разве в этом отрывке достаточно деликатно не намекается, что обыкновенный человек несколько наивен?⁶ Обычно ему не приходит в голову, что его вера в «существование материальных вещей» нуждается в обосновании, — однако, возможно, он *должен* был бы об этом догадаться. Он «совершенно не сомневается» в том, что действительно воспринимает столы и стулья, — одна-

⁶ Прайс, *op. cit.* (p. 26), утверждает, что обыкновенный человек наивен, хотя, видимо, и необязательно является наивным реалистом.

ко, возможно, он должен иногда сомневаться в этом и не должен быть столь «уверенным». Хотя люди иногда обманываются в своих чувствах, это «не внушает ему подозрений», что не все, может быть, в порядке, — однако, возможно, более склонному к размышлениям человеку это *внушило бы* подозрения. Хотя позиция обыкновенного человека здесь якобы только описывается, используемые обороты речи уже понемногу начинают тайно ее подтачивать.

4. Однако, возможно, наиболее важно то, что здесь подразумевается или считается само собой разумеющимся, что есть *основания* для сомнений и подозрений независимо от того, осознает их обыкновенный человек или нет. Цитата из Локка, с которой, как утверждается, согласятся большинство людей, по сути, содержит сильное *suggestio falsi*.⁷ В ней говорится, что, когда я, к примеру, смотрю при ярком дневном свете на стул в нескольких ярдах от меня, я, по моему мнению, располагаю (*только*) той достоверностью, которая мне необходима и на которую я могу рассчитывать, чтобы утверждать, что передо мной находится стул и что я вижу его. Но фактически обыкновенный человек счел бы сомнение в этом случае не просто странным, чрезмерно утонченным или нецелесообразным, но совершенно *бессмысленным*; он отреагировал бы совершенно правильно: «Ну если это не означает “видеть стул”, то я просто *не знаю, что это означает*». Более того, хотя приписываемая обыкновенному человеку вера в то, что его «чувственным восприятиям» можно доверять «вообще» или «сейчас», неявно противопоставляется точке зрения философов: оказывается, что позиция философов состоит не просто в том, что «чувствам» обыкновенного человека *нельзя доверять «сейчас», «вообще» или тогда, когда обыкновенный человек думает, что им можно доверять, ибо, по-видимому, философы «по большей части» считают, что то, что, с точки зрения обыкновенного человека, имеет место, на самом деле никогда не имеет места, — «по их мнению, непосредственно воспринимаем мы всегда объект совершенно иного рода». Философ вовсе не имеет в виду, что ошибки случаются чаще, нежели предполагает излишне доверчивый обыкновенный человек; он хочет сказать, что в определенном смысле или в определенном отношении обыкновенный человек ошибается постоянно. Поэтому нас вводят в заблуждение не только когда намекают, что всегда есть основания для сомнения, но и когда дают понять, что расхождение между философом и обыкновенным человеком касается лишь степени. На деле это разногласие совсем *иного* рода.*

⁷ Внушение ложного (лат.) — Прим. перев.

5. ТЕПЕРЬ рассмотрим, что Айер говорит об обмане. По его словам, мы признаем, что «иногда люди обманываются в своих чувствах», хотя и считаем, что в общем нашем «чувственном восприятии» можно «доверять».

Во-первых, хотя фраза «обманываться в своих чувствах» является распространенной метафорой, она все-таки метафора, и об этом стоит помнить, ибо в последующем эту же самую метафору нередко сопоставляют с выражением «достоверный» (*veridical*) и воспринимают очень серьезно. Конечно, в действительности наши чувства немы, и, хотя Декарт и другие философы пишут о «свидетельстве чувств», наши чувства ничего не *говорят* нам — ни истинного, ни ложного. Ситуация усугубляется еще и тем, что без объяснений вводится совершенно новое создание — наши «чувственные восприятия». Эти сущности, которые, безусловно, не фигурируют в речи обыкновенного человека и не относятся к сфере его убеждений, вводятся вместе с предположением, что в любом нашем «восприятии» *всегда* присутствует *промежуточная* сущность, *сообщающая* нам о чем-то *еще*, — вопрос лишь в том, можем ли мы доверять тому, что она говорит, или нет. Является ли она «достоверной»? Однако, безусловно, если мы представляем дело именно таким образом, мы просто подготавливаем взгляды, которых якобы придерживается обыкновенный человек, к их последующему истолкованию; мы расчищаем путь для так называемого воззрения философов тем, что практически приписываем его *обыкновенному человеку*.

Далее, важно помнить, что разговор об обмане *имеет смысл* только на общем фоне отсутствия обмана. (Вы не можете постоянно водить всех за нос.) Должна существовать возможность *распознавания* случая обмана путем сличения этого необычного случая с более стандартными. Если я говорю: «Наш бензомер обманывает нас», меня поймут так: хотя обычно его показания соответствуют содержанию бензобака, иногда это не так — иногда он показывает наличие двух галлонов, хотя на самом деле бензобак почти пуст. Теперь представьте, что я говорю: «Наш магический кристалл обманывает нас» — это озадачивает, ибо у нас нет ни малейшего представления о том, каким был бы стандартный случай, когда магический кристалл не обманывал бы нас.

Вместе с тем случаи, когда обыкновенный человек мог бы сказать, что он «обманывается в своих чувствах», совсем не столь распространенны. В частности, он не стал бы этого говорить в случае обычных эффектов перспективы, обычных зеркальных отражений или снов; по сути, когда он спит, смотрит в даль длинной прямой дороги или рассматривает свое лицо в зеркале, он не обманывается вовсе — или, по крайней мере, вряд ли когда-либо обманывает-

ся. Об этом стоит помнить в свете еще одного сильного *suggestio falsi*, состоящего в том, что, когда философ приводит в качестве примеров «иллюзий» все эти и многие другие очень распространенные явления, он якобы или просто упоминает случаи, которые обыкновенный человек уже признает «обманом чувств», или же лишь слегка расширяет класс тех случаев, которые обыкновенный человек с готовностью признал бы «обманом чувств». На самом деле это далеко не так.

Но даже если обыкновенный человек определенно не признает столь *много* случаев в качестве примеров «обмана чувств», хотя философы, видимо, признают, было бы совершенно неправильно предполагать, что все случаи, которые он действительно таковыми считает, он относит к одному и тому же виду. На деле мы наполовину уступим, если согласимся с этим предположением. Иногда обыкновенный человек предпочел бы сказать, что его чувства были обмануты, а не то, что он обманут в своих чувствах, например, ловкость рук обманывает глаз и т. д. Но в действительности мы имеем здесь великое многообразие случаев, и, по крайней мере, в промежуточных случаях совершенно неясно (и было бы типичной схоластикой пытаться решить), к каким из них применима, а к каким — не применима метафора «обман чувств». Но даже самый обыкновеннейший из людей, конечно же, пожелал бы провести различие между (а) случаями, когда *орган чувств* поврежден, неразвит или не функционирует нормально в том или ином отношении; (b) случаями, когда *среда* — или, говоря обобщенно, условия — восприятия в некотором смысле отличается от обычной или является нестандартной; и (c) случаями, когда о чем-то делается неверное заключение или что-то неправильно истолковывается, например, услышанный звук. (Безусловно, эти случаи не исключают друг друга.) Помимо того, имеются довольно распространенные случаи ошибочных прочтений, ослышек, фрейдовских оплошностей и т. д., которые, по всей видимости, нельзя отнести ни к одной из перечисленных рубрик. Стало быть, опять мы не имеем четкого и простого деления на случаи, когда все в порядке, и случаи, когда что-то не так. Как нам всем хорошо известно, что-то может быть не так в самых *разных* отношениях, которые не следует подводить — и не следует предполагать, что их можно подвести, — под какую-то одну общую категорию.

Наконец, еще раз отметим то, о чем уже шла речь: обыкновенный человек, конечно же, не считает, что все случаи «обмана чувств» одинаковы в одном конкретном отношении, а именно в том отношении, что в этих случаях он не «воспринимает материальные вещи» или что он воспринимает что-то нере-

альное или нематериальное. Одно дело — смотреть на диаграмму Мюллера-Лайера (на которой один из двух отрезков равной длины выглядит длиннее) или в очень ясный день смотреть на далекую деревню в долине, но совсем другое дело — видеть привидение или в состоянии белой горячки видеть чертиков. Когда же обыкновенный человек видит на сцене Обезглавленную женщину, он видит (видит *именно* это независимо от того, знает он об этом или нет) не что-то «нереальное» или «нематериальное», а женщину с черным мешком на голове на темном фоне. Если этот трюк выполнен искусно, человек не разберется в том, что же он видит (ибо специально все сделано так, чтобы ему было трудно разобраться), или же он не увидит, *что* это такое; утверждать это вовсе не означает делать вывод, что он видит что-то *еще*.

Итак, в заключение можно сказать, что нет вообще никаких оснований принимать на веру как предположение о том, что то, что, по мнению обыкновенного человека, он воспринимает в большинстве случаев, образует некий *вид* вещей (так называемые «материальные объекты»), так и предположение о том, что он признает в качестве другого единого *вида* случаи, когда он «обманут».⁸ Теперь давайте рассмотрим, что же утверждается о философах.

О философах говорится, что они «по большей части не готовы признать, что такие объекты, как ручки или сигареты, воспринимаются нами непосредственно». В этом утверждении нас, конечно же, сразустораживает слово «непосредственно» — излюбленное слово среди философов, но в действительности из всех лингвистических «подводных камней» оно менее всего заметно. Здесь, по сути, мы сталкиваемся с типичным случаем, когда значение слова с уже вполне конкретным употреблением постепенно расширяют — расширяют необдуманно, без каких-либо дефиниций или ограничений, пока оно не становится: вначале — неопределенно метафорическим, а в конечном счете — бессмысленным. Нельзя безнаказанно злоупотреблять обыденным языком.⁹

⁸ Я не отрицаю, что случаи, когда что-то не в порядке, *можно* было бы объединить под одним общим именем. Это общее имя само по себе могло бы быть совершенно безобидным при условии, что его употребление не подразумевало бы ни того, что (а) все эти случаи совершенно одинаковы, ни того, что (б) они одинаковы в определенных отношениях. Важно лишь, чтобы не выносилось поспешного суждения о фактах и чтобы они (следовательно) не игнорировались.

⁹ Особенно если злоупотребляешь, не осознавая этого. Напомню о проблемах, возникших в связи с непреднамеренным расширением значения слова «знак», приведшим — со всей очевидностью — к выводу о том, что, когда сыр находится у нас перед носом, мы видим *знаки* сыра.

1. Во-первых, важно сознавать, что здесь понятие опосредованного (*indirect*) восприятия играет роль первой скрипки — значение слова «непосредственный» (*direct*) определяется тем, что противопоставляется ему в качестве значения обратного ему слова:^{10:11} хотя слово «опосредованный» само (а) употребляется только в особых случаях и, кроме того, (b) имеет *разное* употребление в различных случаях, это, безусловно, не означает, что у нас нет оснований использовать во всех этих случаях одно и то же слово. Мы могли бы, к примеру, противопоставить человеку, который непосредственно (*directly*) наблюдал процессию, человека, который наблюдал ее *через перископ*; или же мы могли бы противопоставить месту, с которого вы можете видеть дверь непосредственно (*directly*), место, с которого вы можете видеть ее только *в зеркале*. Возможно, мы могли бы противопоставить случаю, когда вас видят непосредственно (*directly*), случай, когда видят вашу тень на шторах; и, возможно, мы могли бы противопоставить случаю, когда мы слышим музыку непосредственно (*directly*), случай, когда мы слышим ее по трансляции из концертного зала. Однако два последних случая наводят нас еще на два соображения.

2. Согласно первому соображению,¹² понятие опосредованного (*not direct*) восприятия кажется наиболее уместным тогда, когда сохраняется его связь с понятием отклонения в *направлении* (*direction*), как это имеет место в случае

¹⁰ Обратим внимание читателя на то, что данное замечание не вполне корректно для соответствующих русских выражений. В своем рассуждении Остин проводит ту мысль, что значение английского «*direct*» в сочетании «*direct perception*» определяется тем, какой смысл мы вкладываем в обратное ему слово, образованное путем прибавления к нему частицы «не-» (*direct—indirect*). Однако в случае русских «непосредственный» и «опосредованный» мы имеем иной (можно сказать — обратный) вариант словообразования, хотя, видимо, следует признать, что значение слова «непосредственный» в каждом конкретном случае определяется тем, что в данной ситуации означало бы «не непосредственно», т. е. опосредованно. — *Прим. перев.*

¹¹ Сравните в этом плане слова «*real*» (настоящий, реальный), «*proper*» (настоящий, сущий), «*free*» (свободный) и массу других. «Это настоящее» (*It is real*) — значение этого выражения определяется тем, что конкретно вы понимаете под «это настоящее»; «хотелось бы иметь настоящий лестничный ковер» (*I wish we had a proper stair-carpet*) — здесь значение слова «настоящий» определяется тем, что вас не устраивает в том ковре, который вы имеете (то, что он настоящий (*improper*)?); «Он свободен?» (*Is he free?*) — здесь значение «свободен» определяется тем, что вы имеете в виду, думая, что он мог бы быть несвободным (*imfree*). Находящимся в тюрьме? Связанным в тюрьме? Связанным предварительными обязательствами?

¹² Следует помнить, что русские слова «непосредственный» и «опосредованный» в отличие от английских «*direct*» и «*indirect*» не имеют прямой смысловой связи со словами «направления» (*direction*) и «прямой» (*straight, direct*). Поэтому, если в англий-

с перископом и зеркалом. Предполагается, что в этом случае мы не должны смотреть на интересующий нас объект *прямо* (straight). По этой причине случай, когда я вижу вашу тень на шторах, представляется сомнительным, а случай, когда я вижу вас, например, через бинокль или очки, вовсе не означает, что я вижу вас *опосредованно* (indirectly). Таким случаям, как последний, мы противопоставляем совершенно иные ситуации и используем другие выражения, например, «невооруженным глазом» — в противоположность «через телескоп» и «через очки». (Фактически, выражение «невооруженным глазом» прочнее закрепилось в повседневном употреблении, чем слово «непосредственно».)

3. Согласно второму соображению, понятие опосредованного восприятия — отчасти, несомненно, по указанной выше причине — не столь уместно применять тогда, когда речь идет не о зрении, а о других чувствах. В случае других чувств нельзя найти никакой аналогии «направлению зрения» (line of sight). Наиболее естественный смысл выражения «слышать опосредованно», безусловно, предполагает, что вам сообщают что-то через посредника, а это совсем другое дело. Но разве я слышу крик опосредованно, когда слышу рождаемое им эхо? Если я дотрагиваюсь до вас шестом, то значит ли это, что я дотрагиваюсь до вас опосредованно? Или если вы предлагаете мне kota в мешке, могу ли я пощупать его опосредованно — через мешок? А что может означать опосредованное обоняние, я просто не могу себе представить. По одной только этой причине следует признать, что есть что-то абсолютно некорректное в вопросе: «Воспринимаем ли мы вещи непосредственно или нет?» — где явно подразумевается, что восприятие охватывает функционирование всех чувств.

4. Однако — безусловно, по другим причинам — вызывает чрезвычайно много недоумений вопрос о том, насколько широко можно было бы или следовало бы применять понятие опосредованного восприятия. Применимо ли оно и должно ли применяться в случае, например, телефона? Или телевидения? Или радара? Не отходим ли мы при этом слишком далеко от первоначальной метафоры? По меньшей мере эти случаи отвечают тому, что представляется здесь необходимым условием, а именно: одновременное существование и параллель-

ском языке связь между понятиями «indirect perception» и «kink in direction» демонстрируется наглядно, то в русском языке связь между понятиями «опосредованное восприятие» и «изменение направления» требует дополнительного обоснования (если таковое вообще можно представить). «Непосредственный» и «опосредованный» своим образованием указывают на смысловую связь со словами «промежуточная среда», «посредник», что, кстати сказать, ставит под сомнение применимость в контексте русского языка и замечания Остина, изложенного в п. 3. — *Прим. перев.*

ное изменение того, что воспринимается напрямую (*in the straightforward way*) (звуки в телефонной трубке, изображение и сигналы на экране), и того, что претендует на роль, которую мы могли бы описать как воспринимаемое опосредованно. Совершенно ясно, что это условие исключает из числа случаев опосредованного восприятия разглядывание фотографий (статически фиксирующих эпизоды из прошлого) и просмотр фильмов (которые хотя и не статичны, но не просматриваются одновременно с событиями, зафиксированными в них). Определенно, в этих случаях *можно* выявить некое направление. Совершенно очевидно, например, что нам не следует говорить об опосредованном восприятии в *каждом* случае, когда мы видим что-то, из чего можно заключить о существовании (или проявлении) чего-то еще; нам *не* следует говорить, что мы видим орудия опосредованно, когда мы видим лишь вспышки орудийных залпов на расстоянии.

5. С другой стороны, если у нас есть серьезные основания говорить о чем-то как о воспринимаемом опосредованно, то им, видимо, должен быть тот вид вещей, которые мы (по крайней мере иногда) воспринимаем или могли бы воспринимать или их могли бы воспринимать другие люди, например, к этому виду относятся наши собственные затылки. Ибо в обратном случае мы вовсе не склонны говорить, что воспринимаем что-то, пусть даже опосредованно. Несомненно, здесь возможны осложнения (возникающие, например, в случае микроскопа, о котором я знаю очень мало или почти ничего не знаю). Однако представляется очевидным, что, как правило, мы склонны проводить различие между случаями, когда мы видим опосредованно (например, в зеркале) то, что перед этим могли *видеть* (непосредственно), и случаями, когда мы видим знаки (или следствия) — как, например, в камере Вильсона — чего-то такого, что само не может восприниматься чувствами. Было бы по крайней мере неестественно говорить о последнем случае как о примере опосредованного восприятия.

6. И, наконец, последний момент. По причинам, которые не столь трудно понять, мы на практике всегда предпочитаем использовать не метафору «опосредованный», а выражения, которые, так сказать, выполняют роль «наличной валюты». Если бы, докладывая, я сказал, что вижу вражеские танки опосредовано, это сразу бы вызвало вопрос: что именно я хочу сказать? «Я хочу сказать, что вижу сигналы на экране радара» — «Ну так и говорите!» (Сравните: «Я вижу ненастоящую (*unreal*) утку» — «Что вы хотите этим сказать?» — «Это приманка» — «А, понимаю. Почему же вы сразу этого не сказали?») Стало быть, очень редко имеет смысл, если вообще имеет, употреблять слово «опос-

редованный» (или «ненастоящий»); это выражение охватывает слишком много совершенно разных случаев, чтобы быть именно тем, что требуется в каждом конкретном случае.

Итак, совершенно очевидно, что употребление философами выражения «непосредственное восприятие», что бы оно ни означало, не является обыденным или сколько-нибудь привычным, так как при обыденном употреблении не только ошибочно, но просто абсурдно говорить, что такие объекты, как ручки и сигареты, никогда не воспринимаются непосредственно. Однако нам не предлагают никакого объяснения или определения этого нового употребления¹³ — напротив, даются очень беглые пояснения, как если бы мы уже довольно хорошо знали его. Вместе с тем очевидно, что употребление этого выражения философами, что бы оно ни означало, грешит против упомянутых выше канонов: никаких ограничений, похоже, не накладывается на его использование при конкретных обстоятельствах или применительно к конкретным чувствам, и, более того, видимо, предполагается, что то, о чем мы должны говорить как о воспринимаемом опосредованно, *никогда* не воспринимается нами непосредственно — и не относится к тому виду вещей, которые *можно было бы* воспринимать непосредственно.

Все это придает пикантность вопросу, который Айер формулирует несколькими строками ниже рассмотренного нами отрывка: «Почему мы не можем сказать, что непосредственно воспринимаем материальные вещи?» Ответ, говорит он, нам дает «так называемый аргумент от иллюзии», и именно этот аргумент мы теперь рассмотрим. Вполне возможно, что ответ поможет нам понять сам вопрос.

III

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ аргумента от иллюзии состоит в том, чтобы убедить людей принять «чувственные данные» в качестве адекватного и корректного ответа на вопрос, что они воспринимают в определенных *нестандартных, исключительных* условиях, но на деле за этим обычно следует дополнительное обоснование, призванное показать, что они *всегда* воспринимают чувственные данные. Так в чем же состоит этот аргумент?

¹³ Айер отмечает это довольно запоздало — см. pp. 60–61.

Айер¹⁴ формулирует его следующим образом. Этот аргумент «основывается на том факте, что материальные вещи могут восприниматься как разные явления разными наблюдателями или одним и тем же наблюдателем в разных условиях и что характер этих явлений в некоторой степени детерминируется этими условиями и состоянием наблюдателя». В качестве иллюстрации этого якобы установленного факта Айер затем ссылается на эффект перспективы («монета, которая выглядит круглой под одним углом зрения, может иметь форму эллипса, когда на нее смотрят под другим углом зрения»), преломление («палочка, которая обычно производит впечатление прямой, кажется изломанной в воде»), изменения в восприятии цветов под действием наркотиков («таких, как мескаль»), зеркальные отражения, двоение в глазах, галлюцинации, очевидные различия во вкусовых ощущениях, различия в тепловых ощущениях («в зависимости от того, является ли горячей или холодной ощупывающая рука»), различия в том, как ощущается размер предмета («монета кажется больше, когда лежит на языке, чем когда ее держишь на ладони») и часто упоминаемый факт о том, что «люди с ампутированными конечностями могут все еще продолжать ощущать в них боль».

Затем он отбирает из этого списка три примера для детального рассмотрения. Во-первых, случай преломления: палочка, которая в обычных условиях «производит впечатление прямой», кажется изломанной в воде. Он принимает следующие «допущения»: (а) *в действительности палочка не меняет своей формы, будучи помещенной в воду, и (б) она не может быть одновременно изломанной и прямой.*¹⁵ Затем он заключает («отсюда следует»), что, «по крайней мере, одно из зрительных восприятий (appearances) палочки обманчиво (delusive)». Тем не менее, даже когда «то, что мы видим, не является реальным качеством материальной вещи, предполагается, что мы все-таки что-то видим» — и это «что-то» следует назвать «чувственным данным». Чувственное данное — это, стало быть, «объект, который мы непосредственно осознаем при восприятии, хотя он и не является частью какой-либо материальной вещи» (здесь и в последующих двух параграфах курсив мой).

Далее, миражи. Человек, наблюдающий мираж, говорит Айер, «не воспринимает никакой материальной вещи, ибо оазис, который, как ему кажется, он

¹⁴ Ayer A. J. Op. cit., pp. 3–5.

¹⁵ Не только странно, но и важно, что Айер называет их «допущениями». В дальнейшем он отнесется всерьез к идее отказа, по крайней мере, от одного из них, что вряд ли было бы возможно, если бы он считал их очевидными и неоспоримыми фактами, каковыми они и являются.

воспринимает, *не существует*». Но «в этом своем опыте он не имеет дело с ничем», поэтому «считается, что он воспринимает чувственные данные, по своему характеру подобные тому, что он воспринимал бы, если бы видел реальный оазис, но обманчивые в том смысле, что *материальной вещи, которую, как ему кажется, они представляют, в действительности не существует*».

И, наконец, отражения. Когда я смотрю на себя в зеркало, «мое тело представляется мне находящимся на некотором расстоянии за зеркалом», но на самом деле оно не может быть в двух местах одновременно; стало быть, в этом случае мои восприятия «не могут быть все *достоверными*» (*veridical*). Но я действительно *что-то* вижу, и если в том месте, где, как мне представляется, находится мое тело, нет такой материальной вещи, то что же тогда я вижу?» Ответ — чувственное данное. Айер добавляет, что «точно такой же вывод можно получить по любому другому из моих примеров».

Прежде всего мне хотелось бы обратить ваше внимание на название этого аргумента — «аргумент от иллюзии» — и на то обстоятельство, что он формулируется для обоснования того вывода, что, по крайней мере, некоторые наши «восприятия» являются обманчивыми. Ибо отсюда вытекают два очевидных следствия: (а) все перечисленные в этом аргументе случаи представляют собой иллюзии; и (b) *illusion* (иллюзия) и *delusion* (галлюцинация, мания, заблуждение)¹⁶ — это одно и то же. Однако оба этих следствия, безусловно, совершенно ложны, и это обязательно стоит отметить, ибо, как мы увидим дальше, рассматриваемый аргумент спекулирует на путанице в этом вопросе.

Что же в таком случае было бы подлинным примером иллюзии? (Дело в том, что вряд ли любой из приведенных Айером случаев вообще можно считать — во всяком случае без некоторой натяжки — примером иллюзии.) Во-первых, есть несколько совершенно очевидных случаев оптических иллюзий,

¹⁶ В русском языке нет слова или устойчивого словосочетания, которое бы точно передавало смысл английского «*delusion*» и охватывало бы случаи галлюцинаций, маний и заблуждений. Мы сочли нецелесообразным предложить в качестве перевода этого английского слова какой-нибудь новый термин (например, *делюзии*), так как следует учитывать, что «*delusion*» — это слово из английского обихода и Остин рассматривает случаи его употребления в обычных, повседневных контекстах. Термин «*делюзии*» не позволил бы передать эту повседневность английского «*delusion*», что крайне нежелательно, учитывая характер анализа Остина. Поэтому мы сочли более уместным переводить «*delusions*» либо как «галлюцинации», либо как «мании», либо как «заблуждения» — в зависимости от того, какое из этих значений лучше подходит в том или ином контексте. В тех же случаях, когда такая конкретизация значения «*delusions*» была невозможна, мы оставляли в тексте само это английское слово. — *Прим. перев.*

например, уже упоминавшийся ранее случай, когда два отрезка равной длины расположены так, что один выглядит длиннее другого. Затем сюда относятся иллюзии, создаваемые профессионалами—иллюзионистами, фокусниками, например, Обезглавленная женщина на сцене, когда все устроено так, чтобы она выглядела обезглавленной, или манекен чревоушателя, когда все устроено так, чтобы казалось, будто он говорит. Несколько иным — обычно не создаваемым с умыслом — является случай, когда быстро вращающиеся колеса кажутся медленно вращающимися в обратном направлении. С другой стороны, *delusions* (заблуждения, галлюцинации, мании) — это нечто совершенно иное. К типичным случаям *delusions* относятся мания величия и мания преследования. Они прежде всего являются причиной крайне рассогласованных верований (и, вероятно, крайне рассогласованного поведения) и могут не иметь никакого прямого отношения к восприятию.¹⁷ Думаю, мы могли бы также сказать, что пациент, которому мерещатся чертики, имеет галлюцинации (*has delusions*) или страдает галлюцинациями (*suffer from delusions*), особенно в том случае, если он — что, вероятно, могло бы иметь место — ясно не осознает, что его чертики не являются настоящими (*real*).¹⁸

Наиболее важные различия здесь связаны с тем, что слово «иллюзия» (в контексте восприятия) не предполагает, что в воображении *вызывается* нечто совершенно нереальное (*unreal*); наоборот, мы имеем здесь дело с определенным расположением отрезков и стрелок на странице, черным мешком на голове женщины, вращающимися колесами; тогда как слово «*delusion*» *действительно* предполагает нечто совершенно нереальное, то, чего вообще нет. (Убеждения человека, подверженного мании преследования, могут быть *абсолютно* безосновательными.) По этой причине *delusions* (заблуждения, галлюцинации, мании) представляют собой намного более серьезный случай, свидетельствующий о том, что что-то действительно не в порядке, более того, не в порядке с человеком, который им подвержен. Но в случае возникшей у меня оптической иллюзии, как бы хорошо она ни удалась, со мной лично все в порядке; иллюзия — это не моя собственная маленькая (или большая) странность или идиосинкразия; она носит довольно общий (*public*) характер и может возникнуть у любого человека, а во многих случаях можно установить

¹⁷ Последнее, безусловно, верно и в *некоторых* случаях употребления слова «иллюзии»; некоторые иллюзии люди, как говорится, утрачивают, становясь старше или мудрее.

¹⁸ Ср. с белым кроликом в пьесе под названием «Харви».

стандартные процедуры для ее создания. Более того, чтобы не быть обманутыми, нам нужно быть начеку; однако бестолку призывать того, кто страдает галлюцинациями и маниями, быть начеку. Он нуждается в лечении.

Почему же мы склонны — если склонны — смешивать иллюзии (illusions) с галлюцинациями и маниями (delusions)? Отчасти потому, что эти слова, несомненно, порой употребляются очень широко. Но дело также и в том, что люди могут придерживаться, не выражая это явным образом, разных взглядов или теорий относительно того, что имеет место в некоторых случаях. Возьмем, к примеру, случай, когда кто-то видит привидение. Не всем известно или не все разделяют общее мнение о том, что *значит* видеть привидения. Для одних людей видеть привидения — это случай, когда что-то вызывается в сознании жертвы, возможно, вызывается расстроенной нервной системой, то есть, по их мнению, это случай галлюцинации (delusion). С точки зрения других людей, видеть привидения — это случай, когда нас вводят в заблуждение тени, или, возможно, отражения, или световые эффекты, то есть эти люди уподобляют происходящее в их сознании иллюзии. Таким образом, случаи, когда кто-то видит привидения, иногда могут называться «галлюцинациями» (delusions), а иногда — «иллюзиями» (illusions), и люди могут не замечать, что есть разница в том, какое название (ярлык) используется. Аналогичным образом существуют разные теории и в вопросе о том, что такое мираж. Для одних мираж — это видение, вызванное помутившимся рассудком измученного жаждой и изнуренного жарой путешественника (delusion — галлюцинация), тогда как другие объясняют мираж атмосферным преломлением, в результате которого то, что находится ниже линии горизонта, кажется находящимся выше линии горизонта (illusion — иллюзия). (Айер, как вы, возможно, помните, придерживается первой точки зрения (delusions), хотя и упоминает миражи наряду с другими примерами как случай иллюзии. Он не говорит, что оазис видится там, где его нет; он напрямик заявляет, что «его (оазиса) не существует».)

«Аргумент от иллюзии», безусловно, спекулирует на том, что не учитывается различие между иллюзиями и галлюцинациями (delusions), и, думаю, происходит это следующим способом. Поскольку предполагается, что предлагаемые нашему вниманию примеры являются случаями *иллюзии*, это означает (если взять обычное употребление этого слова), что действительно имеется нечто такое, что мы воспринимаем. Но когда затем эти случаи спокойно начинают называть «обманчивыми» (delusive), вступает в силу совершенно иное предположение — предположение о чем-то вызываемом в воображении, о чем-

то нереальном или, по крайней мере, «нематериальном». Вместе взятые эти два предположения позволяют затем незаметно внушить ту мысль, что в перечисленных случаях действительно есть нечто такое, что мы воспринимаем, но что является чем-то нематериальным, и эта мысль, хотя сама по себе и не убедительная, безусловно, рассчитана на то, чтобы еще немного приблизить нас к той позиции, которую уготовил для нас сторонник теории чувственных данных.

Вот что можно сказать — хотя, безусловно, можно сказать и значительно больше — о различиях между *illusions* (иллюзиями) и *delusions* (галлюцинациями, маниями, заблуждениями) и о том, почему их не следует смешивать. Теперь давайте кратко рассмотрим некоторые другие случаи из списка Айера. Например, отражения. Несомненно, вы *можете* создавать иллюзии с помощью зеркал, соответствующим образом расположенных. Но разве любой случай, когда вы видите что-то в зеркале, является иллюзией, как предполагает Айер? Совершенно очевидно, что нет. Ибо видеть предметы в зеркале — это совершенно *обычное* явление, очень хорошо известное и, как правило, не способное ввести кого-либо в заблуждение. Конечно, если вы ребенок или туземец и никогда прежде не имели дела с зеркалами, вы, возможно, будете абсолютно сбиты с толку и даже заметно взволнованы, когда впервые увидите их. Но разве это повод для того, чтобы все остальные говорили об этом как об иллюзии? То же самое верно и в отношении эффектов (явлений) перспективы — и здесь *можно* разыгрывать трюки с перспективой, но в обычных случаях ни о какой иллюзии речь не идет. То, что круглая монета должна «выглядеть имеющей форму эллипса» (*look elliptical*) (в одном смысле) при некоторых углах зрения, — именно это мы ожидаем и, как правило, обнаруживаем; по сути, мы были бы страшно обеспокоены, если бы когда-нибудь обнаружилось, что это не так. И преломление — когда палочка выглядит изломанной в воде — слишком привычный случай, чтобы считать его иллюзией. Возможно, мы с готовностью согласимся, что палочка выглядит изломанной, но потом мы можем заметить, что она наполовину опущена в воду, — стало быть, нам и следовало ожидать, что она будет выглядеть именно так.

Здесь важно понять, как привычность уменьшает, так сказать, силу иллюзии. Относить ли кинематограф к случаям иллюзии? Возможно, вначале любой человек, впервые увидевший движущиеся картинки, был бы склонен отнести их к случаям иллюзии. Но на деле совершенно невероятно, чтобы он, пусть даже на мгновение, был действительно введен в заблуждение, а к настоящему времени все это стало столь привычной частью нашей жизни, что нам

никогда не приходит в голову задуматься над этим вопросом. Мы могли бы еще спросить: сделать фотографию — это тоже создать иллюзию? Но этот вопрос был бы совершенно нелеп.

Вместе с тем, говоря об *illusions* (иллюзиях) и *delusions* (галлюцинациях, маниях, заблуждениях), нам не следует упускать из виду, что имеется немало более или менее необычных случаев, которые мы пока не упоминали, но которые определенно не относятся ни к той, ни к другой группе. Представьте себе, что корректор допускает ошибку — он не замечает, что там, где должно быть слово «causal» (причинный), напечатано «casual» (случайный). Имеет ли он в данном случае галлюцинацию (*delusion*)? Или у него возникает иллюзия? Конечно, ни то, ни другое; он просто *неправильно прочитывает* (*misreads*). Остаточные образы хотя и не часто возникают и не входят в число обычных зрительных восприятий, однако также не относятся ни к иллюзиям, ни к галлюцинациям (*delusions*). А сновидения? Человек, видящий сны, имеет дело с иллюзиями? Или у него галлюцинации (*delusions*)? Не то, не другое — сновидения есть *сновидения*.

Обратимся на минуту к тому, что говорит об иллюзиях Прайс. Рассуждая о том, «что означает термин “иллюзия”», он формулирует¹⁹ следующее «предварительное определение»: «иллюзорное зрительное или осязательное чувственное данное — это чувственное данное, которое мы склонны считать частью поверхности (*part of surface*) материального объекта, но, считая так, мы ошибаемся». Совершенно не ясно, что означает это изречение, однако представляется очевидным, что как определение оно не подходит для всех случаев иллюзий. Рассмотрим вновь пример с двумя отрезками. Есть ли в этом случае нечто такое, что мы склонны считать, пусть ошибочно, частью поверхности материального объекта? Похоже, что нет. Мы просто видим два отрезка, мы не думаем, даже не склонны думать, что мы видим что-то еще, мы не задаемся вопросом о том, является ли это что-то «частью поверхности» — чего в таком случае? Отрезков? Страницы? Проблема лишь в том, что один отрезок выглядит длиннее другого, хотя и не является длиннее. Разумеется, и в случае с Обезглавленной женщиной не возникает вопроса о том, является ли что-то или не является частью ее внешности; проблема лишь в том, что она выглядит так, будто у нее нет головы.

Примечательно, что, даже не начав рассматривать «аргумент от иллюзии», Прайс уже включил в это свое определение идею о том, что в подобных случа-

¹⁹ *Perception*, p. 27.

ях *помимо* обычных вещей мы видим что-то еще, но именно эта идея и составляет часть того, что призван доказать аргумент от иллюзии и что он, как не так уж редко считается, *доказывает*. Несомненно, этой идее нет места, когда пытаешься определить, что *означает* «иллюзия». Эта идея появляется вновь, думаю, столь же неуместно, при разъяснении Прайсом эффектов перспективы (которые он также относит к случаям иллюзии) — «далекий бугристый склон отлого поднимающегося холма будет казаться ровным и отвесным... Это означает, что чувственное данное — цветовое пространство, которое мы воспринимаем, — действительно *является* ровным и отвесным». Но почему мы должны принять это разъяснение? Почему мы должны говорить, что видим *нечто* такое, что является ровным и отвесным, хотя и не является «частью поверхности» какого-либо материального объекта? Говорить так значит уподоблять все подобные случаи галлюцинациям (*delusions*), в которых есть нечто такое, что не является «частью материальной вещи». Но мы уже обсудили нежелательность такого уподобления.

Теперь рассмотрим, как сам Айер объясняет некоторые из приведенных им случаев. (Справедливости ради мы должны здесь напомнить, что у Айера есть ряд довольно существенных оговорок относительно достоинств и эффективности аргумента от иллюзии, поэтому не совсем понятно, насколько серьезно, по его мнению, нужно относиться к предложенному им объяснению этого аргумента, но к этому вопросу мы еще вернемся.)

Во-первых, известный случай с палочкой, опущенной в воду. Об этом случае Айер говорит, что: (а) поскольку палочка выглядит изломанной, будучи прямой, «по крайней мере, одно из зрительных восприятий палочки *обманчиво* (*delusive*), и что (б) «то, что мы видим [во всяком случае непосредственно], — это не реальное качество [несколькими строками ниже — не часть] материальной вещи». Для начала спросим: палочка «выглядит изломанной»? Думаю, мы можем согласиться с тем, что выглядит, что у нас нет лучшего описания для нее. Но она, безусловно, не выглядит *точно* так же, как выглядит изломанная палочка, не опущенная в воду, — самое большее, что мы можем сказать, это то, что она выглядит как изломанная палочка, наполовину опущенная в воду. В конце концов мы не можем не видеть воду, в которую опущена палочка. Так что же именно в этом случае считается *обманчивым* (*delusive*)? Что здесь не так, что вообще может удивлять в той идее, что прямая палочка иногда выглядит изломанной? Неужели кто-то полагает, что если что-то является прямым, то оно непременно должно *выглядеть* прямым в любой мо-

мент времени и при любых обстоятельствах? Очевидно, что никто всерьез так не считает. Так в какое же затруднение мы здесь попадаем, в чем проблема? Ибо, безусловно, предполагается, что здесь есть проблема и что, более того, эта проблема требует довольно радикального решения — введения чувственных данных. Что же это за проблема, которую нам предлагают решить таким образом?

Нам говорят: в этом случае вы *что-то* видите. Если оно не является частью какой-либо «материальной вещи», то что же это такое? В действительности этот вопрос абсолютно нелепый. Прямая часть палочки, та ее часть, что не находится под водой, вероятно, является частью материальной вещи — разве мы не видим ее? А та ее часть, что находится под водой? Ее мы также можем видеть. Мы можем видеть, если на то пошло, саму воду. Фактически же мы видим *палочку, наполовину опущенную в воду*. Особенно удивительно то, что, видимо, именно в этом нам и следует усомниться, а стало быть, и поставить вопрос о том, *что* же мы видим, — удивительно, поскольку, в конце концов, это как раз и есть то описание ситуации, с которого мы начали. С самого начала было, так сказать, обговорено, что мы смотрим на палочку, «материальную вещь», часть которой находится под водой. Возьмем другой пример: если бы церковь была удачно замаскирована под сарай, разве можно было бы всерьез спрашивать, что мы видим, когда смотрим на нее? Разумеется, мы видим *церковь*, которая сейчас *выглядит как сарай*. Мы *не* видим нематериальный сарай, нематериальную церковь или что-то еще нематериальное. И что же в этом случае могло бы склонить нас всерьез считать, что мы видим что-то нематериальное?

Кстати, заметьте, что, хотя предполагается, что описанный Айером случай с палочкой предваряет выведение каких-либо философских следствий, в это описание уже незаметно вкрадывается одно неожиданное, но важное выражение «зрительные впечатления» (*visual appearances*) — и, конечно, в итоге это должно наводить на мысль, что всякий раз, когда мы что-то видим, все, что мы получаем при этом, — это зрительные впечатления (чем бы они ни были).

Теперь рассмотрим случай, когда я вижу свое отражение в зеркале. Мое тело, говорит Айер, «видится мне на некотором расстоянии за зеркалом», но, поскольку оно находится перед зеркалом, оно никак не может находиться за ним. Так что же я вижу? Чувственное данное. Как быть с этим? Хотя мы вполне можем сказать, что мое тело «видится мне на некотором расстоянии за зеркалом», однако, говоря это, мы должны помнить, с какого рода ситуацией мы

имеем дело. Оно не «видится» мне в том смысле, что это могло бы побудить меня (хотя, возможно, это побудило бы ребенка или дикаря) обойти зеркало и поискать там свое тело и очень удивиться, не обнаружив его. (Выражение «*A is in B*» (*A в B*) не всегда означает, что если вы откроете *B*, то найдете *A*, равно как выражение «*A is on B*» (*A на B*) не всегда означает, что мы могли бы снять *A*, — например, *I saw my face in the mirror* 'Я увидел свое лицо в зеркале', *There's a pain in my toe* 'Я ощущаю боль в пальце', *I heard him on the radio* 'Я услышал его по радио', *I saw the image on the screen* 'Я увидел изображение на экране' и т. д. Видеть что-то в зеркале — это не то же самое, что видеть булочку в витрине магазина.) Не следует ли отсюда, что раз мое тело не находится за зеркалом, то я не вижу материальной вещи? Естественно, нет. Во-первых, я могу видеть зеркало (во всяком случае, почти всегда). Я могу видеть свое собственное тело «опосредованно» (*indirectly*), т. е. в зеркале. Также я могу видеть отражение своего собственного тела, или, как сказали бы некоторые люди, его зеркальный образ. Однако зеркальный образ (если выбрать этот вариант) — это не «чувственное данное»; его можно сфотографировать, его могут видеть сколь угодно других людей и т. д. (Разумеется, здесь не может быть и речи об иллюзии или галлюцинации (*delusion*).) Если же вопрос, что же действительно *находится* на некотором расстоянии (скажем, на расстоянии пяти футов) за зеркалом, настоятельно требует ответа, то ответом будет не чувственное данное, а некоторая область смежного пространства.

Случай миража — по крайней мере, если мы вместе с Айером встанем на ту точку зрения, что «не существует» оазиса, который, как кажется путнику, он видит, — значительно легче поддается истолкованию, которое ему дают. Поскольку здесь предполагается, что человек по-настоящему введен в заблуждение, это означает, что он не «видит материальной вещи».²⁰ Однако даже в этом случае нас ничто не вынуждает говорить, будто он «воспринимает чувственные данные», ибо хотя перед этим Айер заявляет, что «уместно дать название» воспринимаемому путником, на деле оно уже имеет название — *мираж*. И вновь нам должно хватить ума не принимать слишком поспешно утверждение, что воспринимаемое путником «*по своему характеру сходно*» (*similar in character*) с тем, что он воспринимал бы, если бы видел реальный оазис.

²⁰ Даже «опосредованно» никакая такая вещь здесь не «представлена». Разве по этой причине данный случай, хотя и более податливый, не становится гораздо менее полезным для философа? Трудно представить, как об обычных случаях можно было бы сказать, что они *очень сходны* с этим.

Неужели действительно они могут быть очень сходными? Забегая вперед, отметим, что, если бы мы уступили в этом вопросе, мы бы увидели, как эта уступка будет использована против нас позже — когда нам предложат согласиться с тем, что мы всегда видим чувственные данные — и в обычных случаях тоже.

IV

В свое время мы должны будем рассмотреть, как сам Айер «оценивает» аргумент от иллюзии, что, по его мнению, этот аргумент доказывает и почему. Однако сейчас я хотел бы привлечь внимание читателя к другой особенности этого аргумента — особенности, которая фактически является общей для формулировок этого аргумента многими философами. Описывая случаи, на которые опирается этот аргумент, Айер весьма вольно обращается со словами «look» (выглядеть), «appear» (представляться, производить впечатление), «seem» (казаться); видимо, подобно многим другим философам, он не придает большого значения тому, какое из этих слов следует употреблять и где, и предполагает — если судить по стремительному полету его философской мысли, — что их можно использовать как взаимозаменяемые и что не существенно, какое слово будет выбрано. Но это не так. В действительности указанные выражения имеют *довольно* разное употребление, и часто имеет *большое* значение, какое из них вы употребите. Не всегда, правда, ибо, конечно, есть случаи, когда, как мы увидим, эти выражения почти совпадают по смыслу, и есть контексты, в которых они действительно в большей или меньшей степени могут быть взаимозаменяемы. Но было бы ошибочно делать отсюда вывод, что раз такие случаи имеют место, то нет *никакого* особого различия в употреблении этих слов, ибо довольно много контекстов и конструкций свидетельствуют о таком различии.²¹ Единственное, что нужно делать, чтобы избежать неоправданных уподоблений, это рассматривать разнообразные случаи употребления этих слов, пока в итоге не станет понятной разница.

Начнем со слова «looks» (выглядит). Здесь мы имеем, по крайней мере, следующие виды употреблений и конструкций.

²¹ Сравните со словами «right» (право), «ought» (обязанность), «duty» (долг), «obligation» (обязательство) — и в этом случае также есть контексты, в которых можно употребить *любое* из этих слов, но тем не менее имеются значительные и важные различия в употреблении каждого из них. И эти различия философы также, как правило, игнорируют.

1. (a) It looks blue (round, angular, &c) 'Это выглядит голубым (круглым, угловатым и т. д.)';
 (б) He looks a gentleman (a tramp, a sport, a typical Englishman) 'Он выглядит джентльменом (бродягой, щеголем, типичным англичанином)';
 (в) She looks *chic* 'Она выглядит элегантной'.

Здесь сразу за глаголом следует прилагательное или адъективное выражение.

2. (a) It [a colour] looks like blue [the colour] 'Это [какой-то цвет] смотрится как голубое [определенный цвет]';
 It looks like a recorder. Букв.: 'Это выглядит как блокфлейта'. — 'Это похоже на блокфлейту';
 (б) He looks like a gentleman (a sailor, a horse). Букв.: 'Он выглядит как джентльмен (морьяк, лошадь)'. — 'Он похож на джентльмена (морьяка, лошадь)'.

Здесь за выражением looks like (ср. sounds like 'звучит как') следует существительное.

3. (a) It looks as if { ^{it is} it were } raining (empty, hollow) 'Такое впечатление, { ^{что} будто } идет дождь (это пусто, поло)';
 (б) He looks as if { ^{he is} he were } 60 (going to faint) 'Он выглядит (,) { ^{на} будто ему } 60 лет (у него такой вид, { ^{что} будто } он сейчас упадет в обморок)';
 4. (a) It looks as though we shan't be able to get in 'Похоже, что мы не сможем попасть';
 (б) He looks as though he is worried about something 'Он выглядит чем-то обеспокоенным'.

Теперь рассмотрим слово «appears» (представляться, производить впечатление).

1. (a) It appears blue (upside down, elongated, &c) 'Это производит впечатление голубого (перевернутого вверх дном, удлинненного и т. д.)';
 (б) He appears a gentleman 'Он производит впечатление джентльмена'.
 2. (a) It appears like blue. Букв.: 'Это производит впечатление как голубое';
 (б) He appears like a gentleman. Букв.: 'Он производит впечатление как джентльмен'.
 (Впрочем, очень сомнительно, чтобы данная конструкция с «appears» была оправданной, мне она, безусловно, режет слух.)
 3, 4. (a) It appears as if (as though)... 'Это производит такое впечатление, будто...';
 (б) He appears as if (as though)... 'Он производит такое впечатление, будто...'.

5. (a) It appears to expand 'Похоже, что это расширяется';
It appears to be a forgery 'Это представляется подделкой';
(б) He appears to like her (to have recovered his temper) 'Похоже, что он любит ее (взял себя в руки)';
He appears to be an Egyptian 'Похоже, что он египтянин'.
6. (a) It appears as a dark speck on the horizon 'Это появляется как темная точка на горизонте';
(б) He appears as a man of good character 'Оказывается, он человек доброго нрава' (например, как явствует из этого повествования; мы можем также сказать об актере: He appeared as Napoleon 'Он исполнял роль Наполеона').
7. It appears that they've all been eaten. 'Оказывается, все они были съедены'.

Особо отметим, что конструкции 5–7 не встречаются со словом «looks» (выглядит).²² На них следует обратить внимание как на наиболее важные — в некоторых аспектах — случаи.

В отношении слова «seems» (кажется) кратко отметим, что оно употребляется в тех же конструкциях, что и слово «appears» (представляется, производит впечатление), хотя в этом случае возникает меньше сомнений в уместности конструкции (2). (It seems like old times 'Кажется, это как старые времена', It all seems like a nightmare 'Кажется, все это как ночной кошмар') — за тем исключением, что «seems» не встречается в конструкциях, аналогичных (б), а это важное отличие.

Итак, как же мы определим различия между этими разными словами в этих разных конструкциях? Одно различие сразу же бросается в глаза: употребление слова «looks», если говорить примерно, ограничивается областью зрительного восприятия, тогда как употребление «appears» или «seems» не предполагает, что речь идет о каком-то одном конкретном чувстве.²³ Поэтому есть несколько других слов, аналогичных «looks», например, «sounds» (звучит), «smells» (пахнет), «tastes» (имеет вкус) и «feels» (ощущается), каждое из ко-

²² Возможно, в разговорной речи такие конструкции встречаются. Ну, раз встречаются, значит, встречаются. Однако разговорная речь часто бывает немного *вольной* (loose), и мы замечаем это — или кто-то из нас замечает. Конечно, мы не замечаем этого, если не очень хорошо знаем язык или если вообще не восприимчивы к такому рода вещам.

²³ Несомненно, мы довольно часто употребляем слово «looks» (выглядит) не в прямом или буквальном значении — «looks to the eye» (букв.: видится глазу). Впрочем, это вполне естественно, поскольку точно в таком же широком значении мы употребляем и слово «see» (видеть).

торых выполняет такую же (вполне достаточную) функцию в отношении соответствующего чувства, какую слово «looks» выполняет в отношении зрения.

Однако нам, безусловно, следует попытаться найти и более мелкие различия, обратившись, опять же, к некоторым другим примерам и стараясь ответить на вопрос: что и при каких именно обстоятельствах мы бы сказали и почему?

Итак, рассмотрим:

- (1) He looks guilty 'Он выглядит виновным'.
- (2) He appears guilty 'Он производит впечатление виновного'.
- (3) He seems guilty 'Он кажется виновным'.

Первое из этих предложений мы употребили бы в качестве замечания о его *внешнем виде* (looks): у него вид виновного человека.²⁴ Полагаю, что второе обычно употребляется со ссылкой на некоторые *особые обстоятельства* — «Я вполне согласен с тем, что, когда у него допытываются, что он сделал с деньгами, а он увиливает от ответа, он производит впечатление (appears) виновного, но во всем остальном своем поведении [и не только по внешнему виду (looks)] он сама невинность». Совершенно очевидно, что третье предложение неявным образом отсылает к определенному *свидетельству* (evidence) — свидетельству, которое, безусловно, имеет отношение к вопросу о том, *является ли он виновным*, но которое не позволяет решить этот вопрос окончательно, — «По полученным нами свидетельствам, он определенно кажется (seems) виновным».

Другой пример: (1) The hill looks steep 'Холм выглядит крутым' — у него вид крутого холма. (2) The hill appears steep 'Холм производит впечатление крутого' — когда вы смотрите на него с этого места. (3) The hill seems steep 'Холм, кажется, крутой' — если судить по тому, что нам пришлось дважды переключать скорость. Далее:

- (1) She looks *chic* 'Она выглядит элегантной' — непосредственное впечатление.
- (2) She seems (to be) *chic* 'Кажется, она элегантна' — если судить по фотографиям, по тому, что мне говорили о ней, и т. д.
- (3) She appears (to be) *chic* 'Она представляется элегантной' — в этом обороте речи, по сути, есть элемент сомнения, но, *возможно*, она представляется элегантной в нерафинированных провинциальных кругах.

²⁴ Обратите внимание на различие между «not liking his looks» (не нравится, как он выглядит) и «not liking his appearance» (не нравится его внешность) и обратите внимание на то, что мы можем «делать вид, что ничего не произошло» (keep up appearances) по многим причинам, одна из которых — просто чтобы «не выглядеть плохо» (for the look of the thing).

Поэтому, даже не вдаваясь в подробности, мы довольно ясно видим, что в основе употребления слов «looks» (выглядит), «appears» (производит впечатление, представляется) и «seems» (кажется) лежат не одни и те же идеи и что очень часто там, где можно употребить одно из этих слов, нельзя употребить другое. Человек, который кажется (seems) виновным, может вовсе и не выглядеть (looks) виновным. Однако нетрудно заметить, что в соответствующих контекстах эти слова могут быть очень близкими по значению: например, тот факт, что кто-то выглядит (looks) больным, может быть для нас свидетельством, опираясь на которое мы могли бы заметить, что он, кажется (seems), болен, или же наши слова о том, как что-то выглядит, могут быть и замечанием о том, какое оно производит впечатление (appears) при определенных обстоятельствах. Но, естественно, этого совпадения не будет ни тогда, когда внешний вид является совершенно неподходящим свидетельством (было бы опрометчиво говорить, что ее драгоценности, кажется (seems), являются настоящими, только потому, что они выглядят настоящими), ни тогда, когда внешний вид служит полным и окончательным свидетельством (что еще ей требуется, чтобы быть *элегантной*, как не *выглядеть элегантно*?), ни, собственно говоря, тогда, когда вообще не возникает сомнений, что что-то действительно является тем-то и тем-то (He looks like his father 'Он выглядит, как его отец') — никому не придет в голову сказать, что он, кажется (seems), является своим отцом). Кроме того, в некоторых случаях в силу их особого характера мы вообще можем знать только, как что-то выглядит, или же только это может представлять для нас интерес; обычно мы не делаем никакого различия между The sun feels hot 'Солнце по ощущению горячее' и The sun is hot 'Солнце горячее', между The sky is blue 'Небо голубое' и The sky looks blue 'Небо выглядит голубым'.

Тот факт, что мы обычно употребляем слово «seems», когда имеем в своем распоряжении некоторое неокончательное свидетельство, влечет за собой то, что «seems» совместимо с выражениями «may be» (может быть) и «may not be» (может не быть). He may be guilty; he certainly seems guilty 'Он может быть виновным; он определенно кажется виновным'. He certainly seems to be guilty, but he may not be 'Он определенно кажется виновным, но он может и не быть виновным'. «Seems» может также встречаться в сочетании с «is» (есть, является) или «is not» (не есть, не является), но в этом случае обычно происходит некоторое смещение в свидетельствах, на которые неявно ссылаются. Если бы я сказал: He certainly seems guilty, but he isn't 'Он определенно кажется виновным, но не является таковым', я, как правило, не имел бы в виду, что мы

опираемся на одно и то же свидетельство и когда говорим, что он кажется виновным, и когда говорим, что он не является виновным; скорее, я подразумевал бы, что хотя по имевшемуся *до сих пор* (или известному всем) свидетельству он кажется виновным, однако имеется (или у меня есть) *дополнительное* свидетельство в пользу того, что он невиновен. Безусловно, я *мог бы* утверждать или отрицать его виновность вопреки любому имеющемуся свидетельству, но это не является и не могло бы быть стандартным случаем.

Конструкция «seems like» (кажется как то-то) требует, однако, особой трактовки. Видимо, ее функция состоит в том, чтобы передавать *общее впечатление* от чего-либо, и хотя иногда по своему значению она близка к выражению «seems to be» (кажется тем-то) (It seemed { ^{like} to be } a serious inquiry. 'Казалось, это { ^{было как} было } серьезный(м) допрос(ом)'), чаще всего это не так, то есть общее впечатление *может* считаться свидетельством, но часто оно таковым не является. The next three days seemed like one long nightmare 'Три последующих дня, казалось, были как один томительный ночной кошмар' не означает, что эти дни, видимо, действительно *были* настоящим ночным кошмаром или что я склонен был думать, будто они таковым *являются*. Это предложение может означать лишь, что именно на это они *были* похожи (were like) — в подобном контексте неважно, что выбрать — «is like» или «seems like».

Нет, разумеется, одного общего ответа и на вопрос, как соотносятся выражения «looks» (выглядит) и «looks like» (выглядит как, похоже на) со словом «is» (есть, является); в каждом конкретном случае ответ будет зависеть от обстоятельств. Когда я говорю, что бензин выглядит, как (looks like) вода, я, со всей очевидностью, высказываюсь о внешнем виде бензина; я вовсе не склонен считать и действительно не предполагаю, что, возможно, бензин и *есть* вода. Сходным образом обстоит дело с A recorder sounds like a flute 'Блокфлейта звучит, как флейта'. Иной может быть ситуация в случае This looks like water 'Это выглядит как вода' и That sounds like a flute 'Это звучит как флейта'; если мне еще не известно, что есть «это», то я, *возможно*, сочту тот факт, что оно выглядит как вода, основанием для вывода, что оно *есть* вода. А, возможно, и нет. Когда я произношу: «Это звучит как флейта», я говорю лишь об определенном характере звука. Эта фраза может свидетельствовать о том, что это за инструмент, который воспроизводит такой звук, а может и нет, она может предлагаться или восприниматься как подобное свидетельство, а может не предлагаться и не восприниматься так. Будет она предлагаться или восприниматься как такое свидетельство, зависит от того, при каких обстоя-

тельстввах она произносится, — сами слова не предполагают ни того, ни другого.

Кроме того, есть и другого рода различия в значении и понимании выражения «looks like» (выглядит как, похож на). Нам предстоит наблюдать футбольный матч с высоких задних трибун стадиона, и в этом матче участвует японская команда. Вот одна из команд выходит на поле, и тут я мог бы произнести:

- (1) They look like ants 'Они выглядят как муравьи' или
- (2) They look like Europeans 'Они выглядят как европейцы'.

Совершенно очевидно, что, произнося фразу (1), я вовсе не хочу сказать, что склонен думать, будто на поле вышли муравьи или что игроки, как выяснилось, выглядят, совсем или примерно как муравьи. (Вполне возможно, что я прекрасно знаю или даже вижу, что у них, к примеру, вовсе нет поразительно тонкой талии.) Разумеется, я имею в виду, что с такого большого расстояния люди выглядят (почти) так же, как выглядят муравьи, когда мы смотрим на них с привычного расстояния — скажем, с расстояния шести футов. Тогда как, произнося фразу (2), я могу иметь в виду, что вышедшая на поле команда состоит из европейцев или что я, по крайней мере, так считаю на основании их внешнего вида; или же я могу иметь в виду, что (хотя я знаю, что это японская команда) игроки, как выяснилось, к моему (возможному) удивлению, выглядят как (look like) европейцы, на вид как (like) европейцы. Для сравнения: The moon looks no bigger than a sixpence 'Луна выглядит не больше шестипенсовика' — она не выглядит так, как если бы она была не больше шестипенсовика или как выглядел бы шестипенсовик, будь он от нас на расстоянии луны; она, конечно же, выглядит так, как выглядит шестипенсовик, когда вы смотрите на него с расстояния протянутой руки.

Некоторые из этих сложностей характерны не только для выражения «looks like» (выглядит как, похож на); их можно отнести на счет самого слова «like» (как) или, во всяком случае, обнаружить при его употреблении. Возьмем, к примеру, That cloud is like a horse 'Это облако как лошадь' и That animal is like a horse 'Это животное как лошадь'. Даже если бы мы в случае облака сказали, что оно *в точности* как лошадь, мы не имели бы в виду, что кто-то мог бы принять его за лошадь, мог бы поддаться искушению прокатиться на нем и т. д. Но если говорят о *животном*, что оно как лошадь, то, вероятно, при определенных обстоятельствах оно могло бы быть принято за лошадь, кому-то могло бы прий-

ти в голову прокатиться на нем и т. д.²⁵ Стало быть, и в этих случаях недостаточно принять во внимание только одни слова; что конкретно здесь имеется в виду и что отсюда следует (если следует) — этот вопрос можно решить, только рассмотрев, при каких обстоятельствах употребляются указанные слова. Как уже отмечалось, когда мы говорим о палочке, наполовину погруженной в воду, что она «выглядит изломанной» (*looks bent*), мы также должны помнить, с какой ситуацией имеем дело; естественно, употребляя это выражение в данной ситуации, мы не имеем в виду, будто наша палочка выглядит точно так же, как действительно изломанная палочка, или что ее можно принять за действительно изломанную палочку. К этому мы могли бы добавить, что при описании снов нашим словам нельзя придавать ту же силу и тот же смысл, что они имеют, когда используются для описания обычных наших впечатлений наяву. И именно потому что все мы знаем, что сновидения *совершенно не* похожи на наши впечатления наяву, мы можем, ничем не рискуя, употреблять обычные выражения, когда рассказываем о них. Специфика контекста сновидений столь хорошо известна, что никого нельзя ввести в заблуждение употреблением обычных выражений.

Два заключительных замечания. Во-первых, в свете того, что утверждают многие философы, необходимо подчеркнуть, что описания внешности не являются ни «не подверженными исправлению» (*incorrigible*), ни «субъективными». Конечно, в случае очень известных слов, таких, как «красный», ошибки крайне маловероятны (хотя как быть с промежуточными случаями?). Безусловно, кто-то мог бы сказать: *It looks heliotrope* 'Это выглядит светло-лиловым', а затем усомниться *или* в том, что «светло-лиловый» подходит для описания цвета этой вещи, *или* (после повторного осмотра) в том, что эта вещь действительно выглядит светло-лиловой. Определенно, нет ничего *в принципе* окончательного и неопровержимого в наших утверждениях о том, что что-то выглядит так-то и так-то. И даже если я говорю: '*... looks ... to me now*' ... выглядит '*... для меня сейчас*', я могу — если от меня потребовать или дать мне возможность более внимательно осмотреть вещь — взять свои слова обратно или, по крайней мере, изменить их. Исключить других людей и другие моменты времени — вовсе не значит устранить неопределенность и *всякую* возможность сомнения или ошибки. То, как вещи выглядят, как правило, в та-

²⁵ Заметьте, что в противоположность тому, что, видимо, подразумевается некоторыми философскими теориями, понятие «быть тем-то и тем-то» (*being a so-and-so*) должно быть, предшествует (*prior to*) понятию «быть как то-то и то-то» (*being like a so-and-so*). «Так пусть это животное называется свиньей, ибо оно, определенно, ест, как свинья» — сколько ошибок в этой фразе?

кой же мере является фактом о мире и в такой же мере открыто для подтверждения или опровержения, как и то, каковы вещи сами по себе. Когда я говорю, что бензин выглядит как вода, я констатирую некоторый факт не о самом себе, а о бензине.

И, наконец, замечание о «seems» (кажется). Немаловажен тот факт, что мы можем предварить высказываемое нами суждение или мнение такими выражениями *To judge from its looks...* (Судя по внешности...) или *Going by appearances...* (Судя по внешнему виду...); но мы не можем сказать: *To judge by the seemings...* (Букв.: Судя по кажимости...), ибо такого существительного (*seemings*) нет. Почему нет? Может быть, дело в том, что *looks* (наружность, внешность) и *appearances* (внешний вид) предоставляют нам факты, на которых может основываться суждение, тогда как, высказываясь о том, какими вещи кажутся (представляются), мы уже выражаем суждение? По сути, это свидетельствует об особой, специфической функции слова «seems» (кажется).

V

ТЕПЕРЬ я хотел бы вновь обратиться к философской аргументации, представленной в обсуждаемых нами текстах. Как отмечалось ранее, главная цель аргумента от иллюзии — убедить нас в том, что в некоторых исключительных, нестандартных ситуациях мы воспринимаем — во всяком случае, непосредственно — чувственное данное; однако затем наступает вторая стадия, когда нас подводят к выводу, что мы *всегда* — даже в обычных, не исключительных случаях (непосредственно) воспринимаем чувственное данное. К рассмотрению этой второй стадии аргументации мы сейчас и должны перейти.

Айер формулирует следующие доводы.²⁶ Не существует, говорит он, «ни какого внутреннего видового различия между теми нашими восприятиями, которые достоверно представляют материальные вещи, и теми, которые являются обманчивыми (*delusive*). Когда я смотрю на прямую палочку в воде, которая в силу преломления света выглядит изломанной, мое восприятие качественно ничем не отличается от того, какое я имел бы, если бы смотрел на действительно изломанную палочку». Однако, если бы «в случае обманчивых восприятий мы всегда воспринимали нечто отличное от того, что мы воспринимаем в случае достоверных восприятий, нам пришлось бы допустить каче-

²⁶ Ayer, *op. cit.*, pp. 5–9.

ственно разный опыт в этих двух случаях. Нам пришлось бы допустить, что мы можем по внутреннему характеру восприятия определить, является ли оно восприятием чувственного данного или же восприятием материальной вещи. Но это невозможно». В изложении Прайса,²⁷ к которому отсылает нас Айер, этот аспект подан несколько иначе, ибо Прайс так или иначе уже сделал тот вывод, что осознаваемое нами — это всегда чувственные данные, и поэтому он пытается лишь доказать, что мы не способны отличить нормальные чувственные данные, которые являются «частью поверхности материальных вещей», от ненормальных, которые не являются «частью поверхности материальных вещей». Однако в основном он прибегает к тем же самым доводам: «Ненормальное чувственное данное, представляющее стоящую в воде прямую палочку изломанной, качественно неотлично от нормального чувственного данного, представляющего изломанную палочку». Но «разве возможно, чтобы две сущности, сходные во всех этих качествах, в действительности были бы абсолютно разными: одна была бы реальной составной частью материальной вещи, абсолютно независимой от сознания и организма наблюдателя, а другая — лишь мимолетным продуктом процессов в его мозгу?»

Далее и Айер, и Прайс утверждают, что «даже в случае достоверных восприятий мы не воспринимаем непосредственно материальные вещи» — или, по Прайсу, наши чувственные данные не являются частью поверхности материальных вещей, — обосновывая это тем, что «достоверные и обманчивые восприятия могут составлять друг с другом непрерывные серии. Так, постепенно приближаясь с некоторого расстояния к объекту, я, возможно, вначале имею серию восприятий, которые вводят меня в заблуждение в том смысле, что объект представляется мне меньшим по размеру, нежели он есть на самом деле. Допустим, эта серия завершается достоверным восприятием.²⁸ Тогда качественное различие между этим восприятием и его непосредственным предшественником будет точно такого же порядка, что и различие между любыми двумя обманчивыми восприятиями, соседствующими в этой серии». Но это различие по степени, а не по виду. Однако именно этого нам и не следовало бы ожидать, если бы достоверное восприятие было восприятием объекта иного рода — материальной вещи, а не чувственного данного. Разве тем фактом, что достоверные и обманчивые восприятия плавно переходят друг в друга —

²⁷ Perception, p. 31.

²⁸ Но что, спросим мы, означает это допущение. С какого расстояния объект, скажем, мяч для игры в крикет, «выглядит так, как того требует его реальный размер»? С расстояния в шесть футов? В двадцать футов?

о чем свидетельствуют приведенные примеры, — не доказывается принадлежность объектов, воспринимаемых в обоих случаях, к одному и тому же виду? Если к тому же признать, что обманчивые восприятия — это восприятия чувственных данных, то отсюда вытекало бы, что мы всегда непосредственно воспринимаем чувственное данное, а не материальную вещь». Как пишет Прайс, «представляется невероятным, чтобы полное различие в природе вещей имело место там, где есть лишь бесконечно малое различие качеств».²⁹

Как нам следует отнестись к сформулированному таким образом доводу?

1. Начнем с того, что Айер в своей аргументации использует крайне тенденциозные термины. Прайс, как вы помните, формулирует свои доводы не как доказательство того, что осознаваемое нами — это всегда чувственные данные. По его мнению, эта проблема уже решена и перед нами стоит лишь вопрос о том, являются ли какие-либо чувственные данные «частями поверхности материальных вещей». Однако у Айера эти доводы служат основанием для вывода о том, что мы всегда при восприятии (непосредственно) осознаем чувственные данные. Если это так, то представляется серьезным недостатком этих доводов то, что в их формулировке с самого первого предложения уже практически предполагается указанный вывод. В том же предложении Айер употребляет — и отнюдь не в первый раз, — термин «восприятия» (который, между прочим, нигде им не определяется и не разъясняется), демонстрируя вновь свою ничем не обосновываемую веру в то, что есть, по крайней мере, один вид сущностей, которые мы осознаем абсолютно во всех случаях, а именно — «восприятия» достоверные или обманчивые. Разумеется, если кого-то уже склонили принять на веру ту идею, что каждый случай снабжает нас «восприятиями», то без особого труда ему можно внушить и то, что было бы мелочно не проявить такую же понятливость и не принять на веру чувственные данные. Но фактически нам даже не сказали, что *есть* «восприятия», а допущение об их вездесущности было сделано без какого-либо объяснения или обоснования. Если бы тех, кому якобы адресован рассматриваемый аргумент, с самого начала не заставили принять эту важную идею, разве формулировка аргумента шла бы как по маслу?

2. Мы, несомненно, заявляем протест и против скромного предположения о том, что все восприятия делятся на «достоверные» и «обманчивые». Как мы

²⁹ Я опускаю здесь дальнейшую аргументацию Прайса и Айера, когда они заостряют внимание на «причинной зависимости» наших «восприятий» от условий наблюдения и от нашего собственного «психологического и физиологического состояния».

уже видели, нет *никаких* оснований *ни* для того, чтобы смешивать в одну кучу все так называемые «обманчивые» восприятия, *ни* для того, чтобы смешивать в одну кучу все так называемые «достоверные» восприятия. И опять — могла бы аргументация идти как по маслу, не будь этого предположения? Несомненно, для формулировки аргумента потребовалось бы больше усилий и времени, что, впрочем, было бы только к лучшему.

3. ТЕПЕРЬ РАССМОТРИМ, что же действительно означает этот аргумент. Как вы помните, он начинается с того, что якобы констатируется тот факт, будто «не существует никакого внутреннего видового различия между теми нашими восприятиями, которые достоверно представляют материальные вещи, и теми, которые являются обманчивыми» (Айер), что «нет качественного различия между нормальными чувственными данными как таковыми и ненормальными чувственными данными как таковыми» (Прайс). Теперь, отмечая как можно дальше все многочисленные неясности и возражения, вызванные используемыми оборотами речи, спросим: действительно ли верны эти утверждения? Действительно ли «обманчивые и достоверные впечатления» не являются «качественно разными»? Такой огульный способ утверждения представляется, по крайней мере, очень странным. Рассмотрим несколько примеров. Допустим, во сне мне привиделось, что я представлен папе римскому (видимо, этот мой опыт называется «обманчивым»). Можно ли всерьез считать, что это сновидение «качественно неотлично» от *реального* факта представления папе римскому? Совершенно очевидно, что нет. В конце концов, у нас есть выражение «похожий на сон» (a dream-like quality); мы говорим о некоторых впечатлениях наяву, что это было похоже на сон. Некоторые художники и писатели время от времени пытаются выразить в своих произведениях эти впечатления, но, как правило, безуспешно. Если бы констатируемый Айером и Прайсом факт действительно *был* фактом, это выражение было бы совершенно бессмысленным, так как оно было бы применимо ко всему. Если бы сновидения «качественно» не отличались от впечатлений наяву, то *каждое* впечатление наяву было бы похоже на сон; качество «похожий на сон» было бы нетрудно уловить, но от него было бы невозможно избавиться.³⁰ Повторю: безусловно, о снах *рассказывают* в тех же самых выражениях, что и о впечатлениях наяву, — в конце концов, только эти выражения мы и имеем в своем распоряжении. Но было бы до нелепого неверно заключать отсюда, что в этих двух случа-

³⁰ Отчасти — безусловно, только отчасти — это показывает, насколько абсурдны заигрывания Декарта с той идеей, что весь наш опыт мог бы быть сном.

ях рассказывается о *совершенно одном и том же*. Получив удар по голове, мы иногда говорим, что у нас искры посыпались из глаз, однако наши восприятия, когда мы видим искры в результате удара по голове, *не являются «качественно» неотличимыми от восприятий, когда мы действительно видим искры.*

Далее, совершенно неверно утверждать, что иметь остаточный образ в виде яркого зеленого пятна на белой стене — это то же самое, что видеть действительное яркое зеленое пятно на белой стене, или что видеть белую стену через голубые очки — это то же самое, что видеть голубую стену, или что видеть чертиков в состоянии белой горячки — это то же самое, что видеть настоящих чертиков, или что (еще раз повторим) видеть преломляющуюся в воде палочку — это то же самое, что видеть изломанную палочку. Во всех этих случаях мы можем *говорить* одними и теми же словами («Она выглядит голубой», «Она выглядит изломанной» и т. д.), но это вовсе не повод для того, чтобы отрицать очевидный факт *различия «впечатлений».*

4. ДАЛЕЕ, мы могли бы потребовать представить нам «верительные грамоты» того любопытного общего принципа, на который, видимо, опираются и Айер, и Прайс³¹ и который гласит, что если две вещи не «принадлежат к одному роду», не имеют «одной природы», то они не могут быть одинаковыми (alike) или примерно одинаковыми. Если бы действительно было так, говорит Айер, что временами мы воспринимаем вещи двух разных видов, то нам «следовало бы допустить», что они качественно разные. Но почему, собственно, нам следовало бы это допустить, в особенности если, как он полагает, мы никогда не сочли бы, что дела так и обстоят? Совсем непросто обсуждать этот вопрос в разумной плоскости в силу изначальной абсурдности самой гипотезы о том, что мы воспринимаем *только* два вида вещей. Если бы, к примеру, я никогда не видел зеркал и мне бы сказали, что (а) люди видят в зеркалах отражения вещей и что (б) эти отражения вещей и сами вещи не «принадлежат к одному роду», то разве у меня были бы какие-либо основания тотчас *признать*, что имеется огромное «качественное» различие между зрительными восприятиями вещей и зрительными восприятиями отражений? Очевидно, что нет; будь я рассудительным человеком, я бы просто подождал, пока сам не увижу, что значит видеть отражения. Если мне скажут, что лимон и кусок мыла относятся к разным родам вещей, разве я стану думать, что ни один кусок мыла не мог бы выглядеть как лимон? Почему я должен так думать?

³¹ В дальнейшем Айер высказывает сомнения по этому поводу: см. р. 12.

(Следует отметить, что Прайс подкрепляет свои доводы в этом вопросе смелым риторическим приемом: как могли бы две сущности быть «качественно неотличимыми», спрашивает он, если одна из них — «реальная составная часть (constituent) материального объекта», а другая — *«мимолетный продукт процессов в... мозге»*. Но как можно полагать, что нас уже убедили в том, что чувственные данные — это *всегда* мимолетные продукты процессов в мозге? Разве отражение моего лица в зеркале, к примеру, подходит под это красочное описание?)

5. РАССМАТРИВАЕМЫЙ АРГУМЕНТ, видимо, опирается на еще один ошибочный принцип: «обманчивые и достоверные впечатления» не *должны* (как таковые) быть «качественно» или «внутренне» отличимыми друг от друга, ибо, будь они отличимыми, мы никогда бы не «обманывались» (be deluded). Но, естественно, это не так. Если я иногда обманываюсь, ошибаюсь, бываю введен в заблуждение, когда оказываюсь неспособным отличить *A* от *B*, отсюда вовсе не следует, что *A* и *B* должны быть *неотличимыми* друг от друга. Возможно, я заметил бы их различие, если бы был более внимательным; возможно, я просто плохо различаю такого рода вещи (например, вина); возможно, к тому же, я никогда не учился их различать или не имел большого опыта в этом. Как, вероятно, справедливо отмечает Айер, «ребенок, которого не научили тому, что из-за преломления света возникают искажения, естественно, думал бы, что палочка, которую он видит, действительно изломанна». Но как можно считать тот факт, что необученный ребенок, вероятно, не отличил бы *преломляющуюся* в воде палочку от *изломанной*, доказательством того, что между этими случаями *нет* «качественного» различия? Как на меня, скорее всего, отреагировал бы профессиональный дегустатор чая, если бы я заявил ему: «Эти два сорта чая совершенно не отличаются по вкусу, так как мне никак не удастся почувствовать разницу»? Далее, когда мы говорим, что «ловкость рук обманывает глаз» (the quickness of the hand deceives the eye), это не означает, что совершаемые рукой движения *в точности похожи* (exactly like) на те, за которые мы, будучи обманутыми, их принимаем; это означает лишь, что реальные движения руки *невозможно различить*. В данной ситуации, возможно, верно не только то, что мы их не различаем, но и то, что мы не можем их различить, но даже это не доказывает, что эти два случая в точности одинаковы.

Конечно, я не хочу отрицать, что возможны случаи, когда «обманчивые и достоверные впечатления» действительно «качественно неотличимы», но я определенно отрицаю тот факт, что (*a*) такие случаи столь *распространенны*

(common), как, видимо, полагают Айер и Прайс, и что (б) они должны иметь место, ибо иначе нельзя было бы согласовать тот несомненный факт, что «наши чувства иногда обманывают нас». В конце концов, мы не можем быть непогрешимыми существами, которые ошибаются только тогда, когда избежать ошибки совершенно невозможно. Но, если мы готовы признать, что возможны и даже *иногда* встречаются случаи, когда «обманчивые и достоверные впечатления» действительно неотличимы, разве это признание тянет за собой чувственные данные или открывает для них путь? Нет. Ибо, даже если бы мы приняли первоначальное допущение (хотя мы не нашли пока оснований для этого), согласно которому в «необычных» случаях мы воспринимаем чувственные данные, мы вовсе не обязаны были бы распространить это допущение и на «обычные» случаи тоже. Почему, собственно, не могло бы быть так, что в некоторых редких случаях восприятие вещей одного сорта в точности похоже на восприятие вещей другого сорта?

6. Оценивая убедительность этого аргумента, сталкиваешься еще с одним общим затруднением, которое мы (вместе с нашими авторами) пока что обходили молчанием. Вопрос, выносимый Айером на рассмотрение, касается того, являются ли два класса «восприятий» — достоверных и обманчивых — «качественно разными», «внутренне разными по виду». Однако как можно приступить к рассмотрению этого вопроса, не разъяснив, что *есть* «восприятие»? Сколько, в частности, разных подробностей ситуации, обычно отмечаемых людьми, предполагается включить в «восприятие»? Возьмем опять, к примеру, палочку в воде; эта ситуация характеризуется тем, что палочка наполовину опущена в воду, а вода, конечно же, не является невидимой; считать ли в таком случае воду частью «восприятия»? Трудно представить себе какие-либо основания отрицать это; но *раз* так, то совершенно очевидно, что в данном отношении это восприятие отличается, является отличимым от «восприятия», когда мы смотрим на изломанную палочку, *не* опущенную в воду. Возможно, в каком-то смысле наличие или отсутствие воды не является в данном случае *главным аспектом* — предполагается, что нас прежде всего интересуют вопросы, связанные с палочкой. Однако, как показали многочисленные психологические исследования, отличие одной вещи от другой на деле очень часто зависит именно от таких более или менее побочных или сопутствующих главному аспекту обстоятельств, даже когда на эти сопутствующие обстоятельства не обращают осознанного внимания. Как я уже сказал, нам совсем не разъясняют, что такое «восприятие». Но могло бы обоснованное разъяснение,

будь оно предложено, полностью обойтись без всех этих крайне важных сопутствующих обстоятельств? А если их исключить — тем или иным произвольным образом, — какой интерес могло бы представлять утверждение о неотличимости «обманчивых» и «достоверных» восприятий? Если исключить те аспекты, в которых *A* и *B* различны, то вы, надо думать, неизбежно останетесь с тем, в чем они одинаковы.

Таким образом, я делаю вывод, что рассмотренная философская аргументация включает следующие моменты (хотя им не придается одинаково важное значение): (а) принятие совершенно ложного разделения всех «восприятий» на две группы, «обманчивые» и «достоверные» восприятия, не говоря уже об использовании совершенно не разъясненного понятия «восприятия»; (б) неявное, но довольно нелепое преувеличение частоты «обманчивых восприятий»; (в) столь же нелепое преувеличение сходства между «обманчивыми» и «достоверными» восприятиями; (г) ошибочное предположение о том, что такое сходство или даже качественная тождественность должны иметь место; (д) принятие довольно необоснованной идеи, будто вещи, принадлежащие к «разным родам», не могут быть в качественном отношении похожими; и (е) — как следствие (с) и (а) — необоснованное пренебрежение более или менее второстепенными характеристиками, часто позволяющими различать ситуации, которые могут быть приблизительно одинаковыми в других, широких, аспектах. Думаю, это довольно серьезные недостатки.

VI

Сам Айер, конечно же, не принимает за чистую монету и без оговорок аргумент от иллюзии и подкрепляющие его доводы, которые мы только что рассмотрели. Сформулированные им аргументы нуждаются, говорит он, в «оценке», к которой он затем и приступает. Нам следует рассмотреть, что же он говорит по этому поводу.

Во-первых, мы должны с сожалением отметить, что Айер без колебаний принимает на веру многое из того, что является крайне сомнительным в этом аргументе; по сути, он принимает все действительно важные ошибочные допущения, на которые опирается этот аргумент. Например, его ничуть не смущает предлагаемая дихотомия «чувственные данные — материальные вещи» — он готов порассуждать над тем, какой вид имеет эта дихотомия, но у

него не возникает никаких сомнений в ее существовании; он, не колеблясь и не требуя разъяснений, соглашается на введение этих якобы вездесущих сущностей «восприятий» и на последующее подразделение их, с кажущейся строгостью, на две группы — «достоверные» и «обманчивые» восприятия; далее он, не выказывая недовольства, принимает предположение о том, что члены этих двух групп не являются «качественно отличимыми». Его позиция в отношении достоинств и недостатков нашей обычной, неисправленной, дофилософской манеры речи менее определена; на с. 15–16 он, похоже, утверждает, что мы фактически оказываемся ввергнутыми в противоречия, когда принимаем определенные допущения, которые мы все безусловно (из-за недооценки ситуации) принимаем, но на с. 31 он, видимо, берет свои слова назад, признавая отсутствие какого-либо противоречия в том, что мы обычно считаем одни наши «восприятия» «достоверными», а другие — нет. Как бы то ни было, в конечном счете он убежден, что «желательна» «некоторая специальная терминология».

Если Айер принимает столь многое из того, что пускается в ход при формулировке аргумента от иллюзии, какие же в таком случае оговорки он намерен сделать? Его главный тезис — к настоящему моменту хорошо известный — состоит в том, что обсуждаемый вопрос имеет не *фактический*, а *лингвистический* характер. По сути, Айер выражает сомнение в том, может ли вообще этот аргумент иметь какую-либо силу, если он истолковывается как имеющий отношение к вопросу о фактах. Во всяком случае, Айер сомневается в том, можно ли считать этот аргумент доказательством того, что фактически мы *всегда* воспринимаем чувственные данные, поскольку ему не понятно (вполне оправданно), почему «восприятия объектов разных типов» *не* должны быть «качественно неотличимыми» или почему они не могут «составлять непрерывную серию». ³² Но далее он задает вопрос: «Доказывает ли этот аргумент хотя бы то, что есть восприятия, в отношении которых такое мнение [т. е. что непосредственно воспринимаемыми объектами являются материальные вещи] было бы ошибочным?»

Представляется, безусловно, странным предположение о том, что вообще нужно доказывать ошибочность этого мнения, ибо как можно считать истинным то, что мы *всегда* воспринимаем «материальные вещи»? Думаю, однако, эти оплошности можно легко замазать. На мой взгляд, Айер просто попадает в одну из ловушек, которые создает собственной терминологией, ибо

³² Я вновь опускаю довод о «причинной зависимости».

для него само собой разумеется, что *единственной альтернативой* «восприятию чувственных данных» является «восприятие материальных вещей»; стало быть, вместо того, чтобы обвинять его в абсурдности его якобы серьезного отношения к той идее, что мы *всегда* воспринимаем материальные вещи, мы вправе упрекнуть его в более рациональном намерении поставить вопрос о том, воспринимаем ли мы *когда-либо* чувственные данные. «Мы никогда не воспринимаем чувственные данные» — это утверждение в действительности не является эквивалентным и взаимозаменяемым с утверждением «Мы всегда воспринимаем материальные вещи», однако совершенно ясно, что Айер *трактует* их как взаимозаменяемые, и поэтому вполне можно считать, что поставленный им вопрос звучит так: действительно ли аргумент от иллюзии доказывает, что в каких-то ситуациях мы воспринимаем чувственные данные?

Дальнейший ход его рассуждений в этом вопросе не так-то легко понять, но, видимо, он состоит в следующем. (1) Нам придется признать — Айер, по крайней мере, похоже, признает, — что иногда мы воспринимаем «чувственные данные, которые не являются частями каких-либо материальных вещей», — но *только* в том случае, если мы готовы допустить, что «некоторые восприятия обманчивы». (В действительности, все это ничего не дает, но мы можем на время опустить этот момент.) Однако (2) должны ли мы допускать, что некоторые восприятия обманчивы? Да, утверждает Айер, должны, поскольку иначе «мы вынуждены будем приписать материальным вещам такие взаимоисключающие свойства, как быть одновременно и зеленым, и желтым, иметь одновременно и овальную, и круглую форму». Но (3) приписывание подобных свойств, утверждает он, приводит к противоречиям только в том случае, если мы принимаем «определенные допущения» — например, мы считаем, что «реальная форма» (real shape) монеты остается одной и той же (the same) при изменении позиции, с которой я на нее смотрю; что вода в тазу имеет «в действительности одну и ту же» (really the same) температуру, когда я пробую ее сначала теплой рукой, а затем — холодной; или что оазиса «в действительности не существует» (does not really exist) в том месте, где его видит обезумевший в пустыне путник, если никто, кроме этого путника, не считает, что видит его там. Эти «допущения», как, вероятно, признал бы Айер, кажутся довольно правдоподобными; но почему бы, заявляет он теперь, нам все же не попытаться отказаться от них? Почему бы не предположить, что материальные вещи намного более изменчивы, нежели мы привыкли думать, что их реальная форма,

температура, размер и все остальное каждое мгновение претерпевают изменения? Почему бы не предположить также, что материальных вещей значительно больше, нежели мы привыкли считать, — например, когда я предлагаю вам сигарету (то, что обычно называется сигаретой), мы имеем здесь две материальные вещи (две *сигареты*?): одну, которую вижу я и предлагаю вам, и другую, которую видите вы и берете, если берете? «Я не сомневаюсь, — говорит Айер, — что, постулируя большее число материальных вещей и объявляя их более изменчивыми и недолговечными, нежели обычно считается, мы могли бы сходным образом разобраться и со всеми остальными случаями».

Здесь, видимо, Айер прав, хотя этим, по сути, обесценивается доказательство. Если мы позволим себе столь беззаботную широту взглядов, мы, безусловно, сможем — в каком-то смысле — разобраться с чем угодно. Но разве нет чего-то сомнительного в подобном решении? Здесь мне следует сослаться на слова самого Айера: «Как же в таком случае мы можем опровергнуть того, кто придерживается этой позиции? Ответ: его невозможно опровергнуть, пока мы упорно продолжаем считать, что в этом вопросе речь идет о фактах. Мы не сможем его опровергнуть, поскольку в отношении фактов между нами в действительности нет никакого разногласия... Мы говорим, что реальная форма монеты остается неизменной, тогда как он предпочитает говорить, что ее форма в действительности находится в некотором циклическом процессе изменения. Мы говорим, что два наблюдателя видят одну и ту же материальную вещь, тогда как он предпочитает говорить, что они видят разные вещи, которые, впрочем, обладают некоторыми общими структурными свойствами... Для того, чтобы вообще встал вопрос об истине или лжи, должно возникнуть разногласие относительно природы эмпирических фактов. Но в данном случае никакого такого разногласия нет». Следовательно, вопрос, ответ на который, как предполагается, должен дать аргумент от иллюзии, — это чисто *лингвистический*, а не фактический вопрос: он имеет отношение не к тому, что существует, а к тому, как нам об этом следует говорить. На этом Айер завершает свою «оценку» данного аргумента.

Мои замечания относительно этих довольно странных высказываний касаются главным образом той идеи, которую Айер здесь, видимо, выдвигает и которая состоит в том, что слова «*real*» (реальный, действительный, настоящий), «*really*» (реально, в действительности), «*real share*» (реальная форма), «*real colour*» (настоящий цвет) и т. д. можно спокойно употреблять в *каком угодно значении*, но вместе с тем я хочу рассмотреть, что эти слова, по его

мнению, действительно означают. Но прежде я хотел бы отметить тот крайне любопытный факт, что способ, каким Айер «доказывает» чисто словесный характер обсуждаемого вопроса, свидетельствует (в чем я абсолютно уверен) о том, что он вовсе не считает этот вопрос действительно словесным — на деле его позиция сводится к тому, что *в действительности* мы воспринимаем только чувственные данные. В этом нетрудно убедиться. На первый взгляд, кто-то мог бы заключить, что если бы Айер был прав, то все без исключения споры были бы спорами о словах. Ибо если в ответ на любые заявления одного человека другой просто «предпочитает говорить» нечто иное, они *всегда* будут спорить только о словах, о том, какая терминология предпочтительнее. Как вообще был бы возможен разговор об истине или лжи, если каждый из нас всегда может говорить все что хочет? Здесь Айер, безусловно, ответит, что, по крайней мере, иногда возникает реальное «разногласие относительно природы эмпирических фактов». Но какого рода это разногласие? Ведь, по мнению Айера (каким бы удивительным оно ни казалось), к числу фактических не относится вопрос о том, изменяет ли постоянно монета или любая другая материальная вещь свою форму, цвет, размер, местоположение или нет, — естественно, мы *можем* говорить все что угодно. Где же тогда должны быть найдены «эмпирические факты»? Ответ Айера совершенно очевиден — ими являются *факты о чувственных данных*, или, как он говорит, факты «о природе чувственных впечатлений» (*sensible appearances*) или о «явлениях» (*phenomena*); именно здесь мы действительно сталкиваемся с «эмпирическими свидетельствами» (*empirical evidence*). Его — реальная — точка зрения состоит в том, что никаких других «эмпирических фактов» вообще не существует. Наличие чувственных данных — это непреложный факт; эти сущности действительно существуют, и они есть то, что они есть; о каких еще сущностях мы захотим *говорить так, как если бы* они существовали, зависит лишь от того, какую терминологию мы сочтем более удобной, но «факты, для обозначения которых предназначены эти выражения», всегда одни и те же — это факты о чувственных данных.

Поэтому становится понятным и, возможно, не очень удивляет то обстоятельство, что свое кажущееся усовершенствование «лингвистического» учения Айер не скрывая основывает на старой берклианской или кантианской онтологии «чувственного многообразия». По всей видимости, Айера уже давно и окончательно убедили те самые доводы, которые он стремится «оце-

нить» со всей беспристрастностью. И вряд ли можно сомневаться в том, что в значительной мере это объясняется его полной приверженностью к традиционной, освященной временем и разрушительной манере истолкования этих доводов.³³

Любопытно и в каком-то смысле печально, что в этом вопросе Прайс и Айер занимают по отношению друг к другу такую же позицию, какую занимают по отношению друг к другу Локк и Беркли или Юм и Кант. По мнению Локка, существуют «идеи» и «внешние объекты»; по мнению Юма, существуют «впечатления» и «внешние объекты»; по мнению Прайса, существуют «чувственные данные» и «физические заполнители» (*physical occupants*). Согласно учению Беркли, существуют *только* идеи; согласно учению Канта, существуют *только* *Vorstellungen*³⁴ (вещи-в-себе не имеют к данному вопросу прямого отношения); согласно учению Айера, существуют *только* чувственные данные. Однако затем все — и Беркли, и Кант, и Айер — сходятся в том, что мы можем *говорить так, как если бы* существовали тела, объекты, материальные вещи. Разумеется, Беркли и Кант не столь либеральны, как Айер, и не считают, что мы можем говорить как угодно, только бы это согласовывалось с признанием чувственного многообразия; но в этом вопросе — если бы мне пришлось выбирать, — думаю, я выбрал бы их сторону.

VII

Побуждаемый главным образом частым и непроясненным использованием слов «*real*» (реальный, действительный, настоящий), «*really*» (реально, в действительности), «*real shape*» (реальная форма) и т. д. в только что рассмотренных нами аргументах, я хотел бы теперь более внимательно взглянуть на это маленькое слово «*real*». Я предлагаю, если угодно, обсудить Природу Реальности — по-настоящему важную тему, хотя в общем мне не очень-то по душе такая претенциозность.

Прежде всего здесь чрезвычайно важно понять две вещи.

³³ Или сомнения возможны? Например, можно было бы занять более снисходительную, в некотором смысле позицию в отношении его трактовки аргумента от иллюзии, отметив, что она дана мимоходом, так как он уже убедился *на других данных* в правильности того, что доказывает этот аргумент. Подозреваю, что в этом что-то есть; в дальнейшем мы возвратимся к этому вопросу.

³⁴ Представления. (нем.) — Прим. перев.

1. «REAL» — это совершенно *обычное* (normal) слово, в нем нет ничего нового, специального или узкоспециализированного. Оно, так сказать, уже прочно вошло в обиход и очень часто употребляется в обыденном языке, которым все мы пользуемся каждый день. Стало быть, *в этом смысле* оно есть слово с устоявшимся значением, и поэтому с ним нельзя — в большей мере, чем с любым другим прочно вошедшим в обиход словом, — «заигрывать *ad lib*». ³⁵ По всей видимости, философы часто полагают, что они могут просто «приписать» любому слову какое угодно значение; несомненно, в некотором абсолютно тривиальном смысле они действительно могут это делать (подобно Шалтаю-Болтаю). Есть, конечно, выражения, как например, «материальная вещь», употребляемые только философами, которые в этом случае могут, в разумных пределах, доставить себе удовольствие и приписать этим выражениям любое значение, однако большинство слов *фактически* уже имеют конкретное употребление, и с этим нельзя не считаться. (Например, из-за некоторых значений, которые были приписаны словам «know» (знать) и «certain» (достоверный, определенный, уверенный), стало казаться возмутительным, что нам следует употреблять их по-прежнему, но это доказывает лишь, что значения, приписанные этим словам некоторыми философами, *неверны* (wrong).) Конечно, установив, как действительно употребляется слово, мы можем не ставить на этом точку; как правило, нет оснований оставлять все в том виде, в каком мы это нашли; возможно, нам захочется внести немного больше порядка, исправить в некоторых местах карту, немного по-другому провести границы и различия. Но все же целесообразно всегда помнить, (а) что различия, закрепленные в нашем огромном и, по большей части, относительно древнем словарном запасе, отнюдь не малочисленны, они не всегда бывают очень заметными и почти никогда не бывают совершенно произвольными; (б) что, прежде чем мы на свой страх и риск позволим себе некоторое экспериментирование (tampering) со словами, нам нужно в любом случае выяснить, с чем же мы имеем дело; и (в) что экспериментирование со словами, которое, на наш взгляд, затрагивает лишь небольшой участок поля, всегда *может* обернуться непредвиденными последствиями для прилегающей территории. На деле экспериментировать со словами вовсе не так легко, как это порой представляется, и не так часто это экспериментирование бывает оправданным или необходимым — нередко его считают необходимым из-за искаженных представлений о том, чем мы уже располагаем. Кроме того, мы должны всегда осоз-

³⁵ Без ограничения (лат.) — Прим. перев.

бенно настроенно относиться к философской привычке отметить некоторые (если не все) обычные способы употребления слова как «незначительные» — привычке, из-за которой искажения становятся практически неизбежными. Например, если мы собираемся говорить о «real» (реальном, действительном, настоящем), мы не должны отмечать как смехотворные такие простенькие, но хорошо известные выражения, как «not real cream» (ненастоящие сливки). Это может уберечь нас от заявлений, что ненастоящие сливки — это, должно быть, мимолетный продукт процессов в нашем мозге.

2. Чрезвычайно важно осознать также и то, что «real» вовсе не является обычным словом, а представляет серьезное исключение — в том отношении, что в отличие от слов «yellow» (желтый), «horse» (лошадь) или «walk» (прогулка) оно не имеет одного-единственного, точно определенного и всегда постоянного значения. (Это понимал уже Аристотель.) Но оно не имеет и большого числа разных значений — оно не *многозначно* (ambiguous), даже «систематическим» образом. Слова такого рода стали сейчас причиной многих недоразумений. Рассмотрим словосочетания «футбольный мяч», «футбольное поле», «футбольные ворота», «футбольная погода». Если бы кто-нибудь ничего не знал о футболе и был заиклен на употреблении таких обычных слов, как «желтый», он мог бы с пристальным вниманием рассматривать мяч, поле, ворота, погоду, стараясь обнаружить то «общее качество», которое (как он полагает) приписывается этим вещам благодаря слову «футбольный». Однако никакое такое качество не попадает к нему на глаза, и поэтому он, возможно, придет к выводу, что слово «футбольный», должно быть, обозначает *неприродное* (unnatural) качество, то есть качество, распознаваемое не каким-то обычным путем, а с помощью *интуиции*. Если этот рассказ поражает вас своей абсурдностью, вспомните, что философы говорили о слове «хороший» (good), и поразмыслите над тем, что многие философы, не обнаружив обычного общего качества у настоящих уток (real ducks), настоящих сливок (real cream) и реального прогресса (real progress), решили, что, должно быть, Реальность (Reality) — это *априорное* понятие, постигаемое исключительно разумом.

Итак, начнем наш предварительный и, бесспорно, наудачу проведенный обзор некоторых сложных моментов в употреблении слова «real». Рассмотрим, к примеру, случай, который на первый взгляд может показаться довольно простым, — выражение «real colour» (настоящий цвет). Что имеется в виду под «настоящим» цветом вещи? Кто-то с уверенностью может сказать: что ж,

это довольно просто; *настоящий* (real) цвет вещи — это тот ее цвет, который видит нормальный наблюдатель при нормальном или обычном освещении. Для установления настоящего цвета вещи нам нужно быть нормальными людьми и рассматривать вещь в указанных условиях.

Однако предположим, **(а)** что в разговоре с вами я замечаю о какой-то женщине: «Это *ненастоящий* (real) цвет ее волос». Разве я имею в виду, что, рассматривая вы ее волосы при обычном освещении, вы бы обнаружили, что их цвет выглядит иначе? Разумеется, нет — возможно, освещение и так уже является обычным. Конечно же, я имею в виду, что у нее *крашеные* волосы, а освещение здесь совсем ни при чем. Или допустим, что, находясь в магазине, вы смотрите на моток шерсти, а я говорю вам: «Это *ненастоящий* ее цвет». Говоря это, я *могу* иметь в виду, что при нормальном дневном свете цвет шерсти будет выглядеть иначе; но я *могу* иметь в виду и то, что шерсть имеет иной цвет до крашения. Как это часто бывает, из одних только употребленных мною слов вы не сможете понять, что же я имею в виду, — например, имеет значение, относится ли обсуждаемая вещь к разряду тех, которые *принято* красить.

Предположим, **(б)** что какая-то разновидность рыб на глубине тысячи футов выглядит яркой, пестрой и, возможно, блестящей по окраске. Я спрашиваю вас, какой у нее *настоящий* цвет. Вы вылавливаете одну из этих рыб и вытаскиваете ее на палубу, где освещение близко к обычному. Тут обнаруживается, что рыба выглядит серо-белой с грязноватым оттенком. И *это* — ее *настоящий* цвет? Вполне понятно, что мы не обязаны это утверждать. Есть ли вообще правильный ответ в данном случае?

Для сравнения: «Каков *настоящий* вкус (real taste) сахараина?» Мы растворяем кусочек сахараина в чашке чая и обнаруживаем, что чай становится сладким; затем мы пробуем кусочек сахараина на язык и обнаруживаем, что он горький на вкус. Так сахараин *в действительности* (really) горький или сладкий?

(в) Каков *настоящий* (real) цвет неба? Солнца? Луны? Хамелеона? Мы говорим, что иногда по вечерам солнце выглядит красным. Так какого же цвета оно *в действительности* (really)? (Каковы «условия обычного освещения» для солнца?)

(г) Возьмем, к примеру, изображение луга в *пуантилистском* стиле; хотя, по общему впечатлению, изображение является зеленым, оно может быть составлено преимущественно из голубых и желтых пятен. Каков же *настоящий* цвет изображения?

(d) Каков настоящий цвет остаточного образа? Трудность состоит в том, что нельзя даже представить себе, что могло бы быть альтернативой его «настоящему цвету». Его кажущийся цвет (*its apparent colour*), его видимый цвет (*the colour it looks*), цвет, который, как нам представляется, он имеет (*the colour that it appears to be*)? Ни одно из этих выражений здесь не применимо. (Вы могли бы спросить меня: «Какого он действительно (*really*) цвета?» — если бы заподозрили, что, говоря о его цвете, я вам солгал. Но «Какого он действительно цвета?» и «Каков его настоящий цвет?» — это не один и тот же вопрос.)

Или рассмотрим кратко выражение «*real shape*» (реальная форма). Как вы помните, это понятие неожиданно всплыло как якобы совершенно беспроблемное, когда мы рассматривали случай с монетой, о которой было сказано, что с некоторых позиций она «выглядит имеющей форму эллипса», но, настаивали мы, ее реальная форма остается неизменной. Однако монеты — это особый случай. С одной стороны, их контуры точно определены и в высшей степени постоянны; с другой стороны, у монет *известная* и *хорошо запоминающаяся* форма. Однако о многих вещах этого сказать нельзя. Какова реальная форма облака? Если мне возразят — а я смею предположить, что могут возразить, — будто облако не является «материальной вещью» и потому не относится к тому виду вещей, которые должны иметь реальную форму, я предложу другой пример: какова реальная форма кошки? Изменяется ли эта реальная форма, когда кошка двигается? Если нет, то в какой позе кошки эта форма обнаруживает себя? Далее, имеет ли эта реальная форма довольно плавные очертания или же ее очертания должны иметь тончайшие зазубринки, по одной для каждой шерстинки? Совершенно очевидно, что на эти вопросы *нет* ответа — нет правил или процедур, с помощью которых можно было бы найти ответ на эти вопросы. Безусловно, есть множество форм, которые кошка определенно не имеет, — например, она не имеет цилиндрической формы. Но только отчаявшемуся человеку могло бы прийти в голову определять реальную форму кошки «путем элиминации».

Сопоставьте это со случаями, когда нам *известны* соответствующие процедуры: «Это настоящие (*real*) алмазы?», «Это настоящая (*real*) утка?». Ювелирные камни, в большей или меньшей степени похожие на алмазы, могут не быть настоящими алмазами; они могут быть стразами или стеклом. Что-то может не быть настоящей уткой, будучи приманкой, игрушкой, разновидностью гуся, очень похожего на утку, или моей галлюцинацией. Конечно, это все разные случаи. Особо отметим, (a) что в большинстве этих случаев совершенно

не нужно, чтобы осмотр проводился «нормальным наблюдателем в обычных условиях»; (б) что ненастоящая утка не является *несуществующей* (non-existent) уткой или вообще чем-то несуществующим; и (с) что нечто существующее, например, игрушка, может не быть чем-то настоящим, например, настоящей уткой.³⁶

Возможно, сказанного уже достаточно, чтобы показать, насколько богаче употребление слова «real», чем может заметить беглый взгляд: это слово имеет много разных употреблений в разнообразных контекстах. Поэтому сейчас нам следует попытаться все это немного упорядочить. Ниже я перечислю, сгруппировав под четырьмя рубриками, то, что можно было бы назвать характерными особенностями употребления слова «real», хотя не *все* эти особенности в равной мере обращают на себя внимание в каждом конкретном случае употребления.

1. Во-первых, «real» можно назвать словом, *требующим существительного* (substantive-hungry). Возьмем, к примеру:

These diamonds are real 'Эти алмазы настоящие';

These are real diamonds 'Это настоящие алмазы'.

Эти два предложения имеют явное грамматическое сходство со следующими двумя предложениями:

These diamonds are pink 'Эти алмазы розовые';

These are pink diamonds 'Это розовые алмазы'.

Однако если мы можем о чем-то *просто* сказать This is pink 'Это розовое', то *просто* сказать This is real 'Это настоящее' нельзя. И нетрудно понять почему. Мы спокойно можем говорить о чем-то, что оно розовое, не зная или не называя, что это такое. Но с «real» это не проходит. Ибо один и тот же объект может быть одновременно настоящим (real) x и ненастоящим (not real) y; предмет, очень похожий на утку, может быть настоящей приманкой (а не просто

³⁶ Слово «exist» (существовать) само, безусловно, чрезвычайно коварно. Будучи глаголом, оно описывает не что-то такое, что вещи совершают постоянно, не что-то вроде дыхания, только более незаметного, или вроде работы вхолостую — в метафизическом смысле. Здесь незамедлительно возникает вопрос: так что же в таком случае *есть* существование (existing)? Греки в этой области дискурса были оснащены хуже нас — если у нас есть разные выражения «to be» (быть), «to exist» (существовать) и «real» (реальный, действительный, настоящий), то они обходились одним-единственным словом εἶναι (быть, существовать). В отличие от греков нам непростительно приходиться в замешательство от этой общепризнанно запутанной темы.

игрушкой), но ненастоящей уткой. Когда же речь идет не о настоящей утке, а о галлюцинации, опять же она может быть настоящей галлюцинацией — в отличие, скажем, от случайной причуды богатого воображения. Стало быть, у нас должен быть ответ на вопрос *A real what? 'Что настоящее?',* чтобы вопрос *Real or not? 'Настоящее или нет?'* имел какой-либо определенный смысл, имел основание. Возможно, нам следует упомянуть здесь еще один момент — вопрос *Real or not? 'Настоящее или нет?'* не всегда возникает и не всегда может быть задан. Мы задаем этот вопрос только тогда, когда нас, скажем так, одолевает подозрение, что в чем-то вещи могут быть не такими, какими кажутся. И можем мы задать этот вопрос только в том случае, если *есть* то, в чем вещи могут не быть такими, какими кажутся. Но что является альтернативой «настоящему» (*real*) остаточному образу?

Разумеется, «*real*» — не единственное слово, требующее существительного. Другими примерами, возможно, более известными, являются слова «*the same*» (тот же самый) и «*one*» (один). Та же самая (*the same*) команда может не быть той же самой совокупностью игроков; воинский отряд может быть одной ротой и одновременно тремя взводами. А что сказать о слове «*good*» (хороший)? Мы имеем здесь множество лакун, требующих существительного, — *A good what? 'Хорошее что?', Good at what? 'Хорош в чем?':* возможно, хорошая книга, но не хороший роман; хорош в разведении роз, но не хорош в починке автомобилей.³⁷

2. ДАЛЕЕ, «*real*» — это слово, которое можно назвать «верховодящим» (*trouserword*). Обычно считается — и, осмелюсь утверждать, правильно считается, — что основным является, так сказать, утвердительное употребление (*affirmative use*) слова — чтобы понимать слово «*x*», нам нужно знать, что значит быть *x*, а уже это знание подсказывает нам, что значит не быть *x*. Однако в случае «*real*» (как мы ранее кратко отмечали) верховодящим является его отрицательное употребление (*negative use*). Когда я утверждаю, что что-то является настоящим (*real*), это мое утверждение приобретает определенный смысл только в свете того конкретного аспекта, в каком это что-то может или могло бы не быть настоящим (*real*). Выражение «настоящая утка» (*a real duck*) отличается от просто «утка» (*a duck*) только тем, что оно употребляется, чтобы исклю-

³⁷ В греческом определенный интерес представляет слово σοφός (мудрый); Аристотель, похоже, сталкивается с определенными трудностями, когда пытается употреблять σοφία (мудрость), так сказать, «в абсолютном смысле», не уточняя область, в которой σοφία проявляется. Сравните также с δειξιότης (способность, красноречие).

чить те разнообразные аспекты, в которых что-то не является настоящей уткой, а является, скажем, чучелом, игрушкой, картинкой, приманкой и т. д. Более того, я *лишь* тогда знаю, как понимать утверждение, что это настоящая (real) утка, когда мне известно, что в данном конкретном случае говорящий намерен исключить. Именно поэтому любая попытка найти характеристику, общую для всех вещей, которые называются или могут быть названы настоящими (real), обречена на провал. Функция слова «real» состоит не в том, чтобы внести свою лепту в описание (указание характеристик) чего-либо, а в том, чтобы исключить те возможные аспекты, в каких что-то не является настоящим. Эти аспекты очень многочисленны у каждого конкретного вида вещей, и одновременно они могут быть очень разными у разных видов вещей. Именно это сочетание одной и той же общей функции и великого разнообразия конкретных применений и придает слову «real» ту, на первый взгляд, озадачивающую особенность, что оно не имеет одного-единственного «значения» и в то же время не является многозначным.

3. В-третьих, слово «real» (как и слово «good») является *многомерным* (dimension-word). Этим я хочу сказать, что оно представляет собой наиболее общий и всеохватывающий термин в целой группе терминов одного и того же вида, выполняющих одну и ту же функцию. В число других «утвердительных» членов этой группы входят, например, «proper» (настоящий, суший), «genuine» (подлинный), «live» (живой, всамделишный), «true» (истинный), «authentic» (аутентичный), «natural» (естественный, натуральный), а в число «отрицательных» членов входят «artificial» (искусственный), «fake» (поддельный, фальшивый), «false» (ложный), «bogus» (фиктивный), «makeshift» (выступающий как замена чего-то), «dummy» (поддельный, подставной), «synthetic» (синтетический), «toy» (игрушечный). Сюда относятся также существительные «dream» (сон), «illusion» (иллюзия), «mirage» (мираж), «hallucination» (галлюцинация).³⁸ Следует отметить, что *менее* общие термины «утвердительного» ряда, естественно, обладают тем преимуществом, что во многих случаях с большей или меньшей определенностью подсказывают, что же именно исключается; они имеют тенденцию образовывать пары с терминами из «отрицательного» ряда и тем самым сужать спектр возможностей. Если я говорю, что хотел бы, чтобы университет имел настоящий (proper) театр, это наводит на

³⁸ Разумеется, не все случаи употребления перечисленных слов относятся к рассматриваемому здесь виду, кроме того, было бы разумно не предполагать, что все эти случаи употребления *совершенно* разные и *абсолютно* не связаны друг с другом.

мысль, что на данный момент имеется *что-то вроде* театра (a makeshift theatre); картины являются подлинниками (genuine) в противоположность *подделкам* (fake); шелк является *натуральным* (natural) в противоположность искусственному (artificial); снаряды являются боевыми (live) в противоположность учебным (dummy) и т. д. Конечно, на практике мы часто получаем подсказку от сопутствующего существительного, поскольку мы уже имеем вполне надежное представление о том, в каких отношениях упомянутый вид вещей мог (или не мог) бы быть «ненастоящим» (not real). Если, к примеру, вы спрашиваете меня: «Это настоящий (real) шелк?», я, скорее всего, пойму «настоящий» как «противоположный искусственному» (artificial), поскольку я уже знаю, что шелк — это то, что можно очень точно воспроизвести в виде искусственного продукта. Мне, скажем, не придет в голову, что он является *игрушечным* (toy) шелком.³⁹

Здесь возникает множество проблем — которых я не буду касаться — как в отношении состава этих семейств «слов о реальном» (reality-words) и «слов о нереальном» (unreality-words), так и в отношении различий между отдельными их членами. Почему, к примеру, быть *сущим* (proper) мошенником означает быть настоящим (real) мошенником, тогда как быть чистыми (pure) сливками не означает быть настоящими (real) сливками?⁴⁰ Или, говоря иначе: как различие между натуральными (real) и синтетическими (synthetic) сливками отличается от различия между чистыми (pure) и разбавленными (adulterated) сливками? Не тем ли, что разбавленные сливки — это все же, в конце концов, сливки? И почему, скажем, мы говорим «false teeth» (вставные, букв.: ложные, зубы), а не «artificial teeth» (букв.: искусственные зубы)? Почему мы *предпочитаем* говорить «artificial limbs» (ручные и ножные протезы, букв.: искусственные конечности), нежели «false limbs» (букв.: ложные конечности)? Не из-за того ли, что false teeth, выполняя ту же функцию, что и real teeth (свои,

³⁹ Почему? Потому что шелк не может быть «игрушечным». Но почему же не может? Из-за того ли, что игрушка — это, строго говоря, что-то небольшое по размеру, специально изготовленное и предназначенное для игры? Вода же в игрушечных пивных бутылках является не игрушечным пивом, а пивом *понарошку*. Могли бы игрушечные часы действительно содержать часовой механизм и правильно показывать время? Или тогда они были бы просто *миниатюрными* часами?

⁴⁰ В английском языке слово «real» в применении, главным образом, к пищевым продуктам означает «настоящий, изготовленный надлежащим старинным способом»; в русском языке этот смысл передает фраза: «Теперь сливки уже не те, не настоящие». Поэтому чистые сливки, полученные современным фабричным способом, — это «не те, не настоящие сливки». — *Прим. перев.*

настоящие зубы), вместе с тем выглядят и должны выглядеть *обманывающе* похожими на настоящие зубы? Тогда как artificial limbs, хотя и предназначены выполнять, возможно, ту же функцию, что и real limbs (свои, настоящие конечности), но их не *выдают* и не предполагают выдавать за настоящие ноги или руки.

Другим многомерным словом с дурной философской репутацией является слово «good» (хороший), уже упоминавшееся в другой связи для сопоставления с «real». «Good» (хороший) — это наиболее общее слово для большого и разнообразного списка более конкретных слов, которые, как и «good», используются для выражения одобрения (общая функция), но различаются между собой по степени уместности и по смысловым оттенкам в том или ином конкретном контексте. Любопытно, что само слово «real» (реальный, действительный, настоящий) может — этот аспект когда-то усиленно эксплуатировали идеалисты — в определенных случаях употребляться как принадлежащее к этому семейству. «Вот это *настоящий* (real) нож для разделки мяса!» выражает ту мысль, что это хороший нож для разделки мяса.⁴¹ А о плохом стихотворении, к примеру, иногда говорят, что в действительности оно (really) вовсе и не стихотворение — необходимо отвечать определенным стандартам, чтобы *быть отнесенным* к чему-либо.

4. И, наконец, «real» принадлежит к большому и важному семейству слов, которые можно назвать *словами-согласователями* (adjuster-words) — благодаря их использованию мы приспособливаем другие слова к бесчисленным и непредвиденным требованиям, которые мир предъявляет к языку. Считается — если, несомненно, сильно упростить ситуацию, — что в каждый период времени наш язык содержит слова, благодаря которым мы можем (в большей или меньшей степени) сказать все что считаем нужным в большинстве случаев. Однако наш словарный запас конечен, тогда как ситуации, с которыми мы можем столкнуться, бесконечно разнообразны и совершенно непредсказуемы. Поэтому практически неизбежно возникают ситуации, к которым наш словарный запас не приспособлен и которые нельзя разрешить напрямую. Например, у нас есть слово «свинья» (pig), и мы довольно ясно представляем себе, каких животных — среди тех, с которыми мы довольно часто имеем дело, — следует так называть. Но однажды мы обнаруживаем животное нового вида, которое во многом выглядит и ведет себя, как свинья, хотя и не *во всем*; какое-

⁴¹ Можно обнаружить и обратное, по крайней мере, в разговорном языке: «Я задал ему хорошую (good) порку» — «настоящую (real) порку» — «основательную (proper) порку».

то различие между ними есть. Что ж, мы можем хранить недоуменное молчание, не зная что сказать и не решаясь категорически заявить, что это свинья или что это не свинья. Или, предвидя необходимость довольно частого упоминания этих новых созданий в будущем, мы могли бы, к примеру, придумать для них новое слово. Но мы определенно могли бы сказать и, вероятней всего, сказали бы: «Оно *похоже на свинью*» (It is like a pig). («Like» (похожий на) — это великое слово-согласователь или, иначе говоря, «главный инструмент гибкости» (flexibility-device), с помощью которого мы всегда можем, несмотря на ограниченный словарный запас, избежать ситуаций, погружающих нас в полную немоту.) Сказав об этом животном, что оно *похоже на свинью*, мы можем затем заметить: «Но это *ненастоящая* (real) свинья» или, употребив любимое выражение натуралистов, пояснить: «Это не свинья *в собственном смысле слова*» (It is not a true pig). Если уподобить слова стрелам, выпускаемым в мир, то назначение слов-согласователей состоит в том, чтобы снять ограничения, вынуждающие нас стрелять только по прямой; их употребление при соответствующих обстоятельствах позволяет нам, так сказать, навести такие слова, как «свинья», на мишени, лежащие чуть в стороне от той траектории, по которой обычно летят эти слова-стрелы. Таким образом, помимо гибкости достигается и точность, ибо если я говорю: «Не настоящая свинья, но *похоже на свинью*» (Not a real pig, but like a pig), я вовсе не искажаю значения самого слова «свинья».

Но, могли бы нас спросить, так ли нужно нам слово «похожий» (like) для этих целей? В конце концов, у нас есть и другие способы обеспечить гибкость. Например, я мог бы сказать, что животные этого нового вида «свиноподобны» (piggish); вероятно, я мог бы назвать их «квазисвиньями» (quasi-pigs) или охарактеризовать их (в манере поставщиков необычных вин) как существа «свинного типа» (pig-type creatures). Однако эти приемы, несомненно, по-своему превосходные, нельзя считать заменой для слова «похожий» по той причине, что они просто снабжают нас новыми выражениями такого же уровня и такого же способа функционирования, как и само слово «свинья», поэтому хотя они, возможно, и помогают нам выбраться из данного конкретного затруднения, однако могут сами в любое время свергнуть нас в затруднение точно такого же *вида*. Допустим, у нас есть вино, не настоящий портвейн, но вполне сносное и приблизительное его подобие, и мы говорим о нем, что «оно портвейнового типа» (port type). Но затем кто-то начинает производить новый вид вина, не совсем портвейн, но очень похожий на тот, что мы уже называем

«портвейнового типа». Как мы должны его называть? Типа портвейнового типа (port-type type)? Это было бы очень занудной манерой речи и к тому же не имеющей никакого будущего. Но мы вполне можем сказать, что оно *похоже на* (like) вино портвейнового типа (и поэтому, вероятно, похоже на портвейн тоже). Такой способ выражения не обременяет нас никаким *новым словом*, применение которого, возможно, окажется проблематичным, если виноделы преподнесут нам очередной сюрприз. Слово «похожий» (like) вооружает нас *общим* приемом обращения с непредвиденными ситуациями, который не обещивают и не могут обеспечить новые слова, изобретенные *ad hoc*.⁴²

(Почему же в таком случае нам нужно не только слово-согласователь «like», но и «real»? По какой именно причине мы иногда предпочитаем говорить «Это похоже на свинью» (It is like a pig), а иногда — «Это ненастоящая свинья» (It is not a real pig)? Чтобы надлежащим образом ответить на эти вопросы, нам пришлось бы потратить немало усилий на прояснение употребления, или «значения», слова «real».)⁴³

Стало быть, совершенно очевидно, что нельзя сформулировать *в общем виде* критерий отличия настоящего (реального) от ненастоящего (нереального). Как их следует различать, зависит от того, в отношении *чего* возникает проблема в каждом конкретном случае. Более того, даже для какого-то одного вида вещей это различие может быть проведено во многих разных аспектах («не быть настоящей (real) свиньей» можно не только в каком-то *одном* отношении) — все зависит от того, сколько разнообразных сюрпризов и дилемм природа и наши собратья могут преподнести нам и со сколькими сюрпризами и дилеммами мы уже имели дело. Если же в каком-то конкретном случае никогда не возникает никаких дилемм и сюрпризов, то и вопрос о различии не встает; если бы нам никогда не приходилось различать животное, которое в каком-то отношении «похоже на» (like) свинью, но не является *настоящей* (real) свиньей, то и само выражение «настоящая свинья» (real pig) не имело бы применения — как, видимо, не имеет применения выражение «настоящий остаточный образ» (real after-image).

⁴² На данный случай (лат.) — Прим. перев.

⁴³ Кстати сказать, мы ничего не выиграем, если назовем слово «real» *нормативным* словом и на этом остановимся, ибо «нормативное» (normative) само слишком общее и неопределенное слово. Как, в каком отношении «real» нормативно? По-видимому, не в том же отношении, в каком нормативно слово «good» (хороший). Но именно различия здесь и важны.

Вместе с тем критерии, применяемые нами в каждый данный момент времени, нельзя считать *окончательными* и не подверженными изменениям. Предположим, когда-нибудь одно из тех животных, которые мы сейчас называем кошками, обретет способность говорить. Думаю, вначале мы будем высказываться об этом так: «Эта кошка умеет говорить». Если затем и некоторые другие кошки начнут говорить, то нам придется, признав этот факт, начать различать говорящих и неговорящих кошек. Если же в дальнейшем говорящих кошек станет больше, чем неговорящих, а различие между ними покажется нам действительно важным, мы, возможно, начнем настаивать на том, что *настоящая* (real) кошка — это животное, умеющее говорить. И это даст нам новый случай, когда животное не является «настоящей кошкой», а именно: когда оно точно как (like) кошка, только не говорит.

Это может показаться едва ли достойным упоминания, но, видимо, в философии нужно напомнить, что мы, естественно, только в том случае проводим различие между «настоящим *x*» (a real *x*) и «ненастоящим *x*» (not a real *x*), если есть возможность установить различие между тем, что является настоящим (real) *x*, и тем, что не является. Если же мы не способны провести различие, то его — выражаясь вежливо — и не стоит проводить

VIII

Теперь вернемся к Айеру. Мы уже высказывали свой протест против его явного убеждения в том, что слово «real» (реальный, действительный, настоящий) можно употреблять как кому вздумается — например, одним нравится говорить, что реальная форма здания остается неизменной при осмотре его под разными углами зрения, тогда как другие вполне могут «предпочесть говорить», что реальная форма здания постоянно изменяется. Теперь я хотел бы обратиться к заключительному разделу книги Айера, озаглавленному «Видимость и реальность» (Appearance and Reality),⁴⁴ в котором он предпринимает попытку разъяснить, как мы обычно проводим указанное различие. Думаю, для Айера это разъяснение состоит в описании наших «предпочтений».

Для начала Айер проводит различие между «качественно обманчивыми» (qualitatively delusive) и «экзистенциально обманчивыми» (existentially

⁴⁴ Ayer, op. cit. pp. 263–274.

delusive) «восприятиями». По его словам, в первом случае мы обнаруживаем, что «чувственные данные наделяют материальные вещи качествами, которыми те в реальности не обладают», а во втором случае — что «материальные вещи, якобы представленные чувственными данными, вообще не существуют». Однако это различие по меньшей мере неясно. Выражение «экзистенциально обманчивый», вполне естественно, вызывает в уме случаи, когда кто-то действительно *введен в заблуждение* — например, кто-то считает, что видит оазис, но этого оазиса «вообще не существует». Очевидно, Айер имеет в виду именно такого рода случаи. С другой стороны, выражение «качественно обманчивый», очевидно, следует применять в тех случаях, когда некоторый объект определенно находится перед нами, в том нет никаких сомнений, но одно из его качеств вызывает подозрение — он выглядит, к примеру, синим, — однако *действительно ли* (really) он синий? Видимо, здесь предполагается, что эти два типа случаев исчерпывающе представляют собой всю область рассмотрения. Но так ли это? Предположим, я вижу утку–приманку и принимаю ее за настоящую (real) утку; в каком из предложенных Айером смыслов о моем «восприятии» следует сказать, что оно «обманчиво»? Не вполне ясно. Мы могли бы счесть это восприятие «качественно» обманчивым, так как оно наделяет материальную вещь «качествами, которыми та в реальности не обладает»; например, я ошибочно полагаю, что объект, который я вижу, умеет квакать. Вместе с тем оно может быть названо и «экзистенциально обманчивым», поскольку материальная вещь, которую, как мне кажется, оно представляет, не существует; я думаю, что передо мной настоящая (real) утка, но на самом деле ее нет. Стало быть, исходное различие Айера создает ложные альтернативы; оно предполагает, что у нас есть только два случая для рассмотрения — в одном случае встает лишь вопрос о том, действительно ли воспринимаемая нами вещь имеет то «качество», которое, как нам кажется, она имеет, а во втором случае встает лишь вопрос о том, действительно ли существует вещь, которую, как нам кажется, мы воспринимаем. В случае с уткой–приманкой это предположение сразу же рушится, так как есть множество других вариантов. По всей видимости, проводя свое исходное различие, Айер «вцепился» в поистине «обманчивую» разновидность случаев, когда кто-то думает, что он что-то видит там, где в реальности *ничего* нет, и упустил из виду более общий случай, когда кто-то думает, что видит что-то одно там, где в действительности имеется нечто *иное*. В результате большая, вероятно, самая большая часть области, внутри которой проводится различие между «видимостью и реальнос-

тью», выпадает из его рассмотрения. Он обсуждает (на деле очень кратко) случай, когда нечто принимают или могли бы принять за существующее, хотя в действительности оно не существует; он уделяет значительно больше внимания случаю, когда нечто считают или могли бы считать имеющим характеристику, которой оно в действительности не обладает; но он даже не упоминает те очень многочисленные и очень разнообразные случаи, когда нечто принимают или могли бы принять за то, чем оно в действительности не является, — так, например, стразы могут принять за настоящие (*real*) алмазы. Строго говоря, к этим случаям не применимо различие между «качественно» и «экзистенциально» обманчивыми восприятиями, но тогда именно это и свидетельствует об ошибочности данного различия. Оно делит предмет рассмотрения таким образом, что многое остается вне рассмотрения.⁴⁵

Однако свою главную задачу Айер видит в том, чтобы «дать объяснение употреблению слова “*real*”, когда оно применяется к характеристикам материальных вещей». Здесь различие между «обманчивым» и «достоверным», говорит он, «не зависит от разных внутренних качеств чувственных данных», поскольку эллиптическое чувственное данное могло бы, в конце концов, «представлять» и то, что действительно имеет форму эллипса, и то, что в действительности является круглым; стало быть, различие «должно обуславливаться ... разными отношениями» чувственных данных к другим чувственным данным.

Можно было бы попытаться, говорит Айер, определить чувственное данное как «то, что выражает реальный (*real*) характер соответствующей материальной вещи», указав на то, что именно такое чувственное данное имеет место в тех условиях, которые обычно считаются предпочтительными». Однако он возражает против такого определения по двум причинам: во-первых, «эти предпочтительные условия не одни и те же для разных видов материальных вещей»,⁴⁶ и, во-вторых, необходимо объяснить, почему определенные условия должны быть отобраны как «предпочтительные». Это объяснение Айер теперь и предлагает. «К привилегированным чувственным данным, — говорит он, имея в виду те чувственные данные, которые представляют «реальные качества» (*real qualities*) материальных вещей, — относятся те члены образуемых

⁴⁵ К этому можно было бы добавить, что многое оказывается исключенным из рассмотрения из-за того, что Айера интересуют только вопросы о «материальных вещах», — если только он не относит, в чем я сомневаюсь, к материальным *вещам* такие материалы (*stuffs*), как шелк, стекло, золото, сливки и т. д. А разве нельзя спросить: «Это настоящая (*real*) радуга?»

⁴⁶ Занятно, что Айер считает это *возражением*.

ими групп, которые оказываются наиболее надежными в том смысле, что обладают наибольшей ценностью в качестве источников предсказания». Позже он добавит к числу их достоинств измеримость и то, что он называет «чувственным постоянством» (*sensible constancy*). Но и тогда он будет считать, что только *предсказательная ценность* (*predictive value*) определяет, чему приписать реальное существование. Например, если я нахожусь *очень* близко или *очень* далеко от объекта, мое положение весьма неудачно для предсказания, «как он [объект] будет выглядеть» с других позиций, тогда как, рассматривая его со среднего расстояния, я вполне смогу сказать, «как он будет выглядеть» с более близкой или дальней позиции. (Не совсем понятно, какая характеристика объекта имеется здесь в виду, но, видимо, речь идет о его форме.) Поэтому, утверждается далее, мы говорим, что «реальная форма» — это та форма объекта, которую мы видим, находясь от него на среднем расстоянии. Если же я смотрю на объект через темные очки, я едва ли смогу сказать, каким я увижу его цвет, сними я очки; поэтому, говорим мы, через темные очки мы видим не «настоящий цвет» (*real colour*) объекта.

Однако это не годится как *общее* объяснение даже для того ограниченного числа случаев употребления слова «real», которые отобраны Айером для рассмотрения. (На деле важно именно то, что общего объяснения не существует, и Айер, пытаясь найти его, стремится к недостижимой цели.) Остановимся на некоторых вопросах о «настоящем цвете» (*real colour*). Здесь найдется немало случаев, которые Айер, склонный к генерализациям на основе одного примера, просто не принимает во внимание. Некоторые из них мы уже упоминали. Например, «Это ненастоящий (*real*) цвет ее волос». Почему ненастоящий? По той ли причине, что то, каким я вижу сейчас цвет ее волос, не является надежным основанием для предсказания? Потому ли, что то, каким я вижу сейчас цвет ее волос, «не дифференцируемо наиболее заметным образом» от других составляющих моего чувственного поля? Нет. Это ненастоящий цвет ее волос, потому что она *покрасила* их. Или предположим, что я вырастил цветок, который обычно бывает белым, но, поскольку я поливал его специальной зеленой жидкостью, его лепестки окрасились в бледно-зеленый цвет. Я говорю: «Это ненастоящий его цвет». Почему я так говорю? В конце концов я могу сделать все стандартные предсказания о том, как мой цветок будет выглядеть при различных обстоятельствах. Но причина, почему я говорю, что бледно-зеленый не является настоящим его цветом, вообще не имеет к этому никакого отношения; просто дело в том, что его *естественный* (*natural*) цвет — белый. Прямо

противоречат учению Айера и некоторые случаи, не предполагающие искусственного вмешательства. Если я с близкого расстояния смотрю на кусок ткани, я могу видеть, что она в черно-белый крестик, и могу предсказать, что с других расстояний она будет выглядеть серой. Если я смотрю на нее с расстояния в несколько ярдов, она, возможно, выглядит серой и я, вероятно, не смогу предсказать, что с более близкого расстояния она будет выглядеть черно-белой; но мы все равно говорим, что ее цвет — серый. А что можно сказать о *вкусе* (taste)? Если у кого-то нет привычки пить сухое вино и о вине, которым я его угостил, он говорит, что оно кислое, я мог бы в ответ запротестовать: «На самом деле оно не кислое» (It isn't really sour), подразумевая под этим не то, что представление о нем как о кислом вине будет ненадежным основанием для предсказания, а то, что, если этот человек посмакует его без предубеждения, он поймет, что оно вовсе не такое, какими бывают кислые вещи, что его первая, вполне понятная, реакция была неадекватной.

Как я уже отмечал, принципиальная ошибочность предложенного Айером объяснения употребления слова «real» (реальный, действительный, настоящий) состоит в том, что он пытается дать *одно* объяснение — или два, если считать объяснением и его беглые замечания об «экзистенциально» обманчивом. В общем, его объяснение не верно даже в отношении настоящего цвета (real colour), и оно определенно никак не подойдет в случае настоящего жемчуга (real pearls), настоящих уток (real ducks), настоящих сливок (real cream), настоящих часов (real watch), настоящих романов (real novels) и всех остальных случаев употребления слова «real», которые Айер полностью упускает из виду. Надеюсь, уже совершенно ясно, почему ошибочен поиск единственного и достаточно общего объяснения употребления слова «real», и я не буду больше к этому возвращаться. Однако я хотел бы подчеркнуть, сколь пагубно пускаться в объяснения употребления слова, не удосужившись рассмотреть ничего, кроме небольшого числа контекстов, в которых это слово употребляется. Видимо, здесь (как и в других случаях) Айера поддерживает в его пагубном стремлении изначальная уверенность в том, что исследуемую область можно четко и исчерпывающе поделить пополам.

IX

Все это долгое обсуждение Природы Реальности было вызвано, как вы, возможно, помните, отрывком, в котором Айер «оценивает» аргумент от иллюзии и приходит к выводу, что поднимаемый этим аргументом вопрос носит не фактический, а лингвистический характер. Ранее я показал, что способ получения им этого вывода свидетельствует о том, что он не верит в него, ибо этот вывод основывается на том учении, что *в действительности* (in fact) настоящими «эмпирическими фактами» всегда являются факты о «чувственных впечатлениях» (sensible appearances), что им следует *противопоставить* — просто как иную манеру речи — высказывания, говорящие якобы о «материальных вещах», ибо «факты, для обозначения которых предназначены эти выражения», — это факты о «явлениях» (phenomena), единственные реально существующие факты. Но, как бы то ни было, формальный расклад тут таков, что, с одной стороны, перед нами стоит лингвистический вопрос, обязаны ли мы *говорить*, что объектами, которые мы непосредственно воспринимаем, являются чувственные данные, а, с другой стороны, аргумент от иллюзии не предоставляет нам для этого никаких убедительных оснований. Поэтому затем Айер сам пытается привести основания, почему нам следует так говорить; и именно этот раздел, озаглавленный «Введение чувственных данных»,⁴⁷ нам сейчас и предстоит рассмотреть.

Не вызывает сомнений, говорит Айер, что, «накладывая на употребление слов такое ограничение, что если об объекте говорится, что его видят, осязают или как-то иначе воспринимают, то это означает, что он действительно существует и что-то действительно обладает тем признаком, который, как нам представляется, имеет этот объект, — вводя такое ограничение, мы или вынуждены будем отрицать, что некоторые восприятия обманчивы (delusive), или же мы должны будем признать, что ошибочно говорить так, как если бы объектами, которые мы воспринимаем, всегда были материальные вещи». Однако мы не обязаны употреблять слова таким образом. «Если я говорю, что вижу палочку, которая выглядит изломанной, я не имею в виду, что что-то действительно является изломанным... или, если у меня двоится в глазах и я говорю, что воспринимаю два листа бумаги, вовсе не обязательно, что я хочу сказать, будто действительно имеются два листа. Тут, несомненно, можно возразить, что если два листа бумаги действительно воспринимаются, то они оба

⁴⁷ Ayer, op. cit., pp. 19-28.

в каком-то смысле должны существовать, пусть даже не как материальные вещи. В ответ на это возражение укажу, что в его основе лежит неправильное истолкование моего употребления слова «воспринимать» (*perceive*). Я употребляю его в том значении, когда сказать об объекте, что он воспринимается, не означает, что он существует в каком бы то ни было смысле. И это совершенно правильный и привычный способ употребления этого слова.

Однако, продолжает Айер, «есть и такой правильный и привычный способ употребления слова «воспринимать», когда сказать об объекте, что он воспринимается, значит действительно иметь в виду, что он существует». И если я употребляю данное слово «в этом смысле», то в случае, когда у меня двоится в глазах, я должен сказать: «Я думал, что воспринимаю два листа бумаги, но на самом деле воспринимал только один». «Если данное слово употребляется в первом привычном смысле, то можно сказать, что я действительно воспринимал два листа бумаги. Если оно употребляется во втором смысле, также закреплённом обычаем, то следует сказать, что я воспринимал только один». «Никакой проблемы не возникает, пока мы не смешиваем эти два способа употребления». ⁴⁸

Аналогичным образом человек может сказать, «что видит далекую звезду, которая по размеру значительно больше Земли»; но также он может сказать, что «в действительности он видит... серебристое пятнышко не больше шестипенсовика». И эти высказывания, говорит Айер, не противоречат друг другу. Ибо для *одного* смысла слова «видеть» (*see*) «необходимо, чтобы то, что мы видим, действительно существовало, но необязательно, чтобы оно имело качества, которые, как нам представляется, оно имеет», — в *этом* смысле человек видит огромную звезду; но в *другом* смысле «невозможно, чтобы что-то казалось имеющим качества, которых оно в действительности не имеет, но вместе с тем и необязательно, чтобы то, что мы видим, действительно существовало», — в *этом* смысле человек «вправе сказать, что то, что он видит, не больше шестипенсовика».

А что же чувственные данные? Их выносят на рассмотрение следующим образом. Возможно, некоторые философы, говорит Айер, захотят «использовать слово “видеть” (*see*) и все другие слова, обозначающие способы восприятия, применительно и к обманчивым, и к достоверным впечатлениям» и *при*

⁴⁸ Прайс также полагает, что слово «воспринимать» (*perceive*) *неоднозначно* (*ambiguous*) и имеет *два* смысла. Ср. *Perception*, p. 23. «Можно воспринимать то, что не существует.... Но в другом смысле слова «воспринимать», более близком к обыденной речи, невозможно воспринимать то, что не существует».

этом употреблять эти слова (внося, как сочет кто-то, путаницу) в том значении, что то, что мы видим или как-то иначе воспринимаем, действительно должно существовать и действительно должно иметь свойства, которые, как нам представляется, оно имеет». Однако затем они естественно обнаруживают, что нельзя утверждать, будто в опыте всегда «воспринимается» материальная вещь, ибо в ситуациях с «обманчивыми» (delusive) восприятиями не верно, что воспринимаемая вещь «действительно существует» или что она «действительно имеет свойства, которые, как нам представляется, она имеет». И тогда — чтобы не пересматривать свой способ употребления слова «видеть» (see) — эти философы решат, что в ситуациях с «обманчивыми» восприятиями мы «воспринимаем в опыте» *чувственное данное*. Затем они сочтут «удобным», говорит Айер, «распространить этот способ употребления на все случаи», руководствуясь тем старым и известным соображением, что «обманчивые и достоверные восприятия» не различаются «по качеству». Это, по мнению Айера, «вполне может быть принято как языковое правило. И, таким образом, мы приходим к выводу, что во всех случаях непосредственно воспринимаемыми объектами являются чувственные данные, а не материальные вещи». Эта процедура, говорит Айер, не заключает в себе «никакого открытия факта»; она равносильна рекомендации ввести «новый способ словоупотребления», и он, Айер, готов, со своей стороны, принять эту рекомендацию. «Сама по себе она не добавляет ничего к нашему знанию эмпирических фактов и даже не расширяет выразительные возможности нашего языка. В лучшем случае она позволяет нам ссылаться на известные факты *более ясным и удобным способом*». (Курсив мой.)

Итак, важным или, во всяком случае, заметным шагом в аргументации, подводящей к указанному выводу, служит утверждение о том, что якобы есть *разные смыслы* глаголов восприятия⁴⁹ и все (или только *некоторые?*) эти смыслы являются «правильными и привычными». В свое время мы рассмотрим, какое именно отношение имеет это утверждение к аргументу от иллюзии, но вначале я хотел бы установить, на каких основаниях оно сделано и достаточны ли эти основания.

⁴⁹ Думаю, справедливости ради следует повторить, что много воды утекло с тех пор, как Айер написал эту свою книгу. Теории о разных смыслах глаголов восприятия были особенно в ходу в те десять или двадцать лет, что предшествовали написанию книги, и неудивительно, что Айер должен был относиться к ним как к подручному средству. Несомненно, сегодня он избрал бы иную стратегию аргументации.

Поэтому обратимся к примерам, в которых, как утверждается, представлены эти разные смыслы. Прежде всего известный уже случай с палочкой, опущенной в воду. Айер отмечает: «Если я говорю, что вижу палочку, которая выглядит изломанной, я не имею в виду, что что-то действительно является изломанным». Совершенно верно, но что это доказывает? Очевидно, здесь *предполагается*, будто это доказывает, что есть такой смысл слова «видеть» (see), когда сказать, что мы что-то видим, не означает, что «оно» существует и что-то действительно обладает признаком, который, как нам представляется, имеет этот объект». Но этот пример вовсе этого не доказывает. Он *доказывает* лишь то, что в целом высказывание «Я вижу палочку, которая выглядит изломанной» не влечет за собой, что что-то действительно является изломанным. Полагать, что отсутствие здесь следования обусловлено тем смыслом, в котором употреблено слово «видеть» (see), — значит делать дополнительный шаг, который ничем не оправдан. А если хорошенько поразмыслить над этим шагом, то станет ясно, что он не только не оправдан, но и совершенно ошибочен. Ибо если бы нам нужно было определить ту *часть* высказывания, которая не позволяет нам заключить, что что-то действительно является изломанным, то, безусловно, наиболее вероятным кандидатом на эту роль было бы выражение «которая выглядит изломанной». Каких бы взглядов мы ни придерживались относительно смысла слова «видеть» (see), все мы прекрасно знаем, что то, что выглядит изломанным, в действительности может и не *быть* изломанным.

Второй пример столь же неэффективен и так же бьет мимо цели. По словам Айера, «если я говорю, что кто-то чувствует, что его ногу сжимают, я необязательно исключаю ту возможность, что его нога ампутирована». Зачем для объяснения этого случая обращаться к смыслу слова «чувствовать» (feel)? Почему бы не признать, к примеру, что выражение «сжимают его ногу» может иногда употребляться для описания того, что человек чувствует, даже когда его нога ампутирована? На мой взгляд, очень сомнительно, что нам следует говорить об особом *смысле* даже применительно к выражению «сжимают его ногу»; доводы в пользу этого были бы, по меньшей мере, столь же убедительны, как и доводы в пользу особого смысла слова «чувствовать» (feel), а на деле значительно убедительней.

С третьим примером — случаем, когда у кого-то двоится в глазах, — разобраться сложнее. Здесь Айер отмечает: «Если я говорю, что воспринимаю (perceive) два листа бумаги, я необязательно подразумеваю, что передо мной действительно два листа». Думаю, это верно только с некоторой оговоркой.

На мой взгляд, если я знаю, что у меня двойится в глазах, то я могу сказать: «Я воспринимаю два листа бумаги», *не имея при этом в виду*, что передо мной действительно два листа; но именно поэтому мое высказывание и не предполагает наличия передо мной этих листов, если понимать это в том смысле, что любой человек, не посвященный в особые обстоятельства данного случая, услышав это мое высказывание, вполне естественно и справедливо предположил бы, что я думаю, что передо мной два листа бумаги. Однако вполне возможно, что произнося: «Я воспринимаю два листа бумаги», я *не имею в виду*, что передо мной действительно находятся два листа бумаги, так как знаю, что это не так. Пока все верно. Но в следующем предложении Айер изменяет словесную форму (*form of words*); он говорит: «Если два листа бумаги *действительно воспринимаются* (*really are perceived*)», то необязательно так и есть, что передо мной находятся два листа бумаги. А это уже абсолютно неверно. На деле в случае, когда у кого-то двойится в глазах, нам как раз и *не следует* говорить, что «два листа бумаги *действительно воспринимаются*», — именно по той причине, что если «действительно воспринимаются два листа», то их и должно *быть* два.

Но разве сделанная нами уступка недостаточна, чтобы принять главный тезис Айера? Ибо, как бы ни обстояло дело с «действительно воспринимаемым», мы ведь уже согласились с тем, что я вполне могу сказать: «Я воспринимаю два листа бумаги», прекрасно зная, что в действительности передо мной нет двух листов. И поскольку нельзя отрицать, что это предложение можно употребить *и* в том значении, что передо мной действительно находятся два листа бумаги, разве мы не должны согласиться с тем, что имеется два разных смысла слова «воспринимать» (*perceive*)?

Нет, не должны. Приведенных здесь лингвистических фактов отнюдь не достаточно для доказательства этого тезиса. Во-первых, если бы действительно имелось два смысла слова «воспринимать» (*perceive*), было бы естественно предположить, что во всех грамматических конструкциях «воспринимать» (*perceive*) встречается или в первом, или во втором смысле. Но если высказывание «Я воспринимаю два листа» необязательно означает, что *имеется* два листа, то высказывание «Два листа действительно воспринимаются», видимо, не совместимо с наличием в реальности только одного листа. Поэтому, вполне возможно, было бы лучше сказать, что смысловые оттенки (*implications*) «воспринимать» (*perceive*) могут быть разными в различных *грамматических конструкциях*, чем утверждать, что имеется два смысла «воспринимать».

Однако более важно то, что случай, когда у кого-то двоится в глазах, является довольно *необычным*, и поэтому нам, возможно, приходится расширять обычное употребление слова «воспринимать», чтобы охватить и его. Поскольку в этой исключительной ситуации, когда при наличии только одного листа бумаги мне кажется, что я воспринимаю два, я, возможно, захочу *faute de mieux*⁵⁰ сказать: «Я воспринимаю два листа бумаги», хотя и буду прекрасно осознавать, что в этой ситуации эти слова не вполне уместны. Если исключительность ситуации толкает нас употребить слова, изначально предназначенные для другой — обычной — ситуации, то этого факта еще недостаточно для доказательства, что, как правило, имеется два разных («правильных и привычных») *смысла* у употребляемых нами слов — у всех или у некоторых из них. Наличие несколько обескураживающей аномалии вроде двоения в глазах в лучшем случае доказывает лишь то, что обычное употребление слов иногда приходится расширять, чтобы охватить необычные ситуации. И дело не в том, что, как говорит Айер, «не возникает никаких проблем, пока мы не смешиваем эти два способа употребления»; нет никаких оснований считать, что имеется два способа употребления; «никаких проблем» не возникает, если мы осознаем *особый характер обстоятельств*.

При посещении зоопарка я мог бы, указывая на одного из животных, сказать: «Это лев». Я мог бы сказать: «Это лев» и указывая на одну из фотографий в альбоме. Разве это доказывает, что слово «лев» имеет *два смысла* — один, когда оно означает животное, и другой, когда оно означает изображение животного? Естественно, нет. Чтобы (в этом случае) не прибегать к многословию, я могу употреблять в одной ситуации выражения, изначально предназначенные для другой; и никаких проблем не возникнет при условии, что обстоятельства известны.

На деле это не означает, что в случае, когда у меня двоится в глазах, я полагаю только одной возможностью — расширить в предусмотренной манере обычное употребление предложения «Я воспринимаю два листа бумаги». Конечно, я мог бы воспользоваться этой возможностью, но есть выражение, которое Айеру стоило бы для пользы дела упомянуть и которое специально предназначено для этого особого случая: «Лист бумаги двоится у меня в глазах» (I see the piece of paper double). Кроме того, я мог бы сказать, что «вижу его двоящимся» (I see it as two).

⁵⁰ За неимением лучшего (франц.) — Прим. перев.

Теперь рассмотрим случай, которому Айер дает особенно запутанное объяснение, — случай, когда человек видит звезду. Как вы помните, человек может сказать две вещи: (а) «Я вижу далекую звезду, которая значительно больше Земли» и, (б) если его попросят описать, что же он действительно видит, — «Я вижу серебристое пятнышко не больше шестипенсовика». Как сразу же замечает Айер, «так и хочется сделать вывод, что, по крайней мере, одно из этих утверждений ложно». Но так ли это? И почему это должно быть так? Конечно, человека мог бы прельщать подобный вывод, если бы он был полным невеждой в астрономии — например, он считал бы, что серебристые пятнышки на небе не могут быть звездами, превосходящими по размеру Землю, или же, напротив, он думал бы, что даже на большом расстоянии объекты, превосходящими по размеру Землю, не могут смотреться как серебристые пятнышки. Однако большинство из нас знают, что звезды очень-очень велики и находятся очень-очень далеко от нас; мы знаем, как они *выглядят*, когда смотришь на них невооруженным глазом с Земли, и мы знаем, пусть немного, *на* что они *похожи* (What they are like). Поэтому я не вижу никаких оснований, почему нас должна прельщать мысль, будто выражения «видеть огромную звезду» и «видеть серебристое пятнышко» не совместимы друг с другом. Разве мы не готовы признать — совершенно правильно, — что серебристое пятнышко и *есть* звезда.

Впрочем, это, наверное, не столь важно. Хотя Айер, к нашему удивлению, полагает, что нас должна прельщать эта мысль, вместе с тем, по его мнению, нам следует ей воспротивиться; он согласен с тем, что указанные два предложения в действительности не противоречат друг другу. И объясняет он это тем, «что слово “видеть” (see), как и “воспринимать” (perceive), обычно употребляется в разных смыслах». В одном смысле верно, что человек видит звезду, а в другом смысле верно, что он видит серебристое пятнышко. И что же это за смыслы?

«В одном смысле, — говорит Айер, — а именно в том смысле, когда человек вправе сказать, что видит звезду, необходимо, чтобы то, что мы видим, действительно существовало, но необязательно, чтобы оно имело те качества, которые, как нам представляется, оно имеет». Вероятно, это все так, хотя контекст немного неясный. Мы можем согласиться с тем, что «необязательно, чтобы то, что мы видим, действительно существовало»; труднее обстоит дело с другим условием — «необязательно, чтобы оно имело те качества, которые, как нам представляется, оно имеет», ибо не разъясняется, что считать в этом при-

мере «качествами, которые, как нам представляется, оно имеет». Общая тенденция рассмотрения подсказывает, что имеется в виду *размер*. Если так, то сразу возникает проблема — на вопрос: «Каков, по производимому впечатлению, ее размер?» (*what size does it appear to be?*), заданный применительно к звезде, ни один разумный человек не стал бы даже пытаться ответить. Конечно, он мог бы сказать, что «она выглядит крошечной» (*it looks tiny*), но было бы абсурдно понимать это в том смысле, что она выглядит так, как если бы была крошечной, что она представляется нам крошечной. Для столь удаленного объекта, как звезда, не существует «размера, который, как нам представляется, он имеет» (*the size that it appears to be*), поскольку у того, кто смотрит на звезду, нет никакой возможности оценить ее размер. В здравом уме нельзя сказать: «Судя по тому, что мы можем видеть, она больше (или меньше) Земли» (*To judge from appearances, it's smaller (or bigger) than the earth*), поскольку то, что мы можем видеть, не дает оснований даже для такой приблизительной оценки. Однако, возможно, мы поправим положение, если изменим пример. Общеизвестно, что звезды мерцают; поэтому, я думаю, кто-то вполне мог бы сказать, что они *производят впечатление* светящихся мигающим, неровным или прерывистым светом (*they appear to be intermittently, irregularly, or discontinuously luminous*). Стало быть, если мы считаем, что в действительности звезды не светят прерывистым светом, и вместе с тем готовы признать, что мы видим звезды, тогда отсюда можно заключить, что, очевидно, не требуется, чтобы то, что мы видим, имело «качества, которые, как нам представляется, оно имеет».

Теперь обратимся к другому «смыслу», сформулированному Айером. «В другом смысле, — говорит он, — а именно в том смысле, когда человек вправе сказать, что то, что он видит, не больше шестипенсовика, невозможно, чтобы что-то казалось имеющим качества, которых оно в действительности не имеет, но вместе с тем и необязательно, чтобы то, что мы видим, действительно существовало». Вероятно, это *было бы* «другим смыслом» слова «видеть» (*see*), если бы такой смысл вообще существовал, но в действительности *никакого* такого «смысла» нет. Когда человек говорит: «Я вижу серебристое пятнышко», он, *конечно же*, «подразумевает», что пятнышко существует, что оно есть; если же в той части звездного неба, куда он смотрит, нет никакого пятнышка, если эта часть неба совершенно пуста, то он, конечно же, *не* видит там серебристого пятнышка. С его стороны, было бы бессмысленно говорить: «Та часть неба совершенно пуста, но все же я вижу серебристое пятнышко, ибо я упот-

ребляю слово “видеть” (see) в том смысле, что то, что мы видим, необязательно существует». Быть может, кто-то решит, что я не совсем справедлив здесь. Возможно, когда Айер говорит, что пятнышко, которое видит человек, необязательно «действительно существует», он не имеет в виду, что просто может не быть никакого видимого пятнышка, — он подразумевает лишь, что оно необязательно «действительно существует» как то, что занимает некоторую определенную область физического пространства, как звезда. Но нет — Айер определенно имеет в виду именно то, что я ему приписываю, ибо, как вы, возможно, помните, ранее он самым недвусмысленным образом заявлял, что есть «правильный и привычный» способ употребления слова «воспринимать» (perceive), когда «сказать об объекте, что он воспринимается, не означает, что он существует в каком бы то ни было смысле». Это можно понимать только как то, что его не существует.⁵¹

Этот предполагаемый смысл слова «видеть» (see) имеет еще одну, едва ли менее странную, особенность. Утверждается, что в том «смысле» слова «видеть», в каком человек видит серебристое пятнышко, «невозможно, чтобы что-то казалось имеющим качества, которых оно в действительности не имеет». Здесь не вполне понятно, какие подразумеваются качества; но, по всей видимости, Айер имеет в виду «качество» *быть не больше шестипенсовика*. Но, несомненно, в этом есть что-то очень нелепое. Напомню, что мы говорим здесь о *пятнышке*, а не о *звезде*. Разве можно всерьез задавать вопрос: действительно ли пятнышко не больше шестипенсовика или, возможно, нам только *кажется*, что оно не больше шестипенсовика? Какое различие могло бы быть между предлагаемыми альтернативами? Говоря: «Оно не больше шестипенсовика», мы, в конце концов, всего лишь характеризуем на скорую руку, как оно выглядит. Если же мы возьмем что-то такое, что можно было бы *всерьез* считать «качеством» пятнышка — например, его розоватый цвет, — то и в этом случае мы придем к выводу, что нет такого смысла слова «видеть», о котором говорит Айер. Ибо, когда кто-то видит пятнышко на ночном небе, оно, безус-

⁵¹ А случай, когда кто-то видит привидения? Если я, к примеру, говорю, что моя кухня Жозефина однажды видела привидение, и при этом замечаю, что «не верю» в привидения (что бы это ни означало), даже в этом случае я не могу утверждать, что привидения не существуют *ни в каком вообще смысле*. Ибо в *каком-то* смысле увиденное Жозефиной привидение существовало. Если же я настаиваю на том, что привидения не существуют *ни в каком вообще смысле*, если я никак не могу согласиться с тем, что люди их видят, то я должен в таком случае говорить, что люди думают, что видят их, что им кажется, что они видят, или что-то в этом роде.

ловно, может показаться ему сероватым, например, из-за каких-то нарушений его зрения, хотя на самом деле оно розоватое. Создать впечатление, будто невозможно, чтобы то, что мы видим, казалось нам имеющим качество, которого оно в действительности не имеет, можно только одним способом — выбрав качество вроде «быть не больше шестипенсовика», однако в этом случае невозможность обусловлена не смыслом, в каком употреблено слово «видеть», а абсурдностью истолкования «быть не больше шестипенсовика» как такого качества, в отношении которого (в этом контексте) имело бы смысл различать то, что реально им обладает, и то, что только кажется его имеющим. Дело в том, что как нет такого смысла «видеть», когда то, что мы видим, необязательно «существует в каком бы то ни было смысле», так нет и такого смысла — другого ли или того же самого,⁵² — когда невозможно, чтобы то, что мы видим, казалось нам имеющим качества, которых оно в действительности не имеет». Разумеется, я не отрицаю, что мы могли бы просто изобрести подобные смыслы, хотя и не понимаю, зачем это могло бы нам понадобиться, ведь следует помнить, что цель Айера — описать «правильные» и даже «привычные» «смыслы» слова «видеть» (see).

На этом примеры, предложенные Айером, исчерпаны, и, как явствует из сказанного, ни один из них не подтверждает ту идею, что существуют различные смыслы слов «воспринимать» (perceive), «видеть» (see) и т. д. Один из примеров — когда у человека двоится в глазах — наводит на мысль, что в исключительных ситуациях обычные словесные формы могут употребляться в не совсем обычном их значении, но во всяком случае этого следовало ожидать. Еще одной иллюстрацией этому служит пример, когда мы говорим о больном белой горячкой, что ему «мерещатся чертики» (he sees pink rats), поскольку здесь мы не имеем в виду (как это подразумевалось бы в обычной ситуации), что он видит настоящих живых чертиков, однако подобное распространение обычных слов на исключительные ситуации, определенно, не создает особых «смыслов» этих слов, а тем более их «правильных и привычных» смыслов. Все другие примеры или не имеют никакого отношения к вопросу о разных смыслах рассматриваемых слов, или же в них, как в описанном Айером случае со звездами, речь идет о таких «смыслах», которые, определенно, не существуют.

⁵² На деле очень трудно понять, как вообще Айеру могло прийти в голову, что с помощью этой конъюнкции условий он описывает один смысл слова «видеть» (see). Ибо как можно было бы на одном дыхании говорить: «Оно действительно должно иметь качества, которые, как нам кажется, оно имеет» и «Оно может не существовать»? Что же тогда должно иметь качества, которые, как нам кажется, оно имеет?

В чем же тогда состоит ошибка? Думаю, отчасти ошибка в следующем: отметить совершенно правильно, что на вопрос: «Что воспринимает X?» — можно дать по крайней мере, в обычных ситуациях много разных ответов и что все эти разные ответы могут оказаться правильными и, следовательно, совместимыми. Айер затем перескакивает к выводу, что слово «воспринимать» (*perceive*) должно иметь разные «смыслы» — ибо: если нет, то как могли бы *разные* ответы на данный вопрос все быть *правильными*? Но правильное объяснение лингвистических фактов состоит вовсе не в этом; все дело в том, что то, что мы «воспринимаем» (*perceive*), можно описать, идентифицировать, классифицировать, охарактеризовать или назвать многими разными способами. Если меня спросят: «По чему вы ударили ногой?» — я мог бы ответить: «Я ударил ногой по окрашенной деревянной плите», или же я мог бы сказать: «Я ударил ногой по входной двери Джонса». Оба эти ответа вполне могли бы быть правильными, но должны ли мы по этой причине заключить, что выражение «ударить ногой» (*kick*) употреблено здесь в разных смыслах? Разумеется, нет. То, по чему я ударил ногой — в единственном, обычном «смысле» этого выражения, — можно было бы описать как окрашенную деревянную плиту или идентифицировать как входную дверь Джонса; указанная деревянная плита и *есть* входная дверь Джонса. Аналогичным образом я могу сказать: «Я вижу серебристое пятнышко» или «Я вижу огромную звезду»; то, что я вижу — в единственном, обычном «смысле» этого слова, — можно описать как серебристое пятнышко или идентифицировать как очень большую звезду, ибо указанное пятнышко и *есть* очень большая звезда.⁵³

Предположим, вы спрашиваете меня: «Кого вы видели сегодня утром?» Я мог бы ответить: «Я видел человека, который побрился в Оксфорде». Или же я мог бы сказать — столь же корректно и со ссылкой на того же самого индивида — «Я видел человека, родившегося в Иерусалиме». Вытекает ли отсюда, что я употребляю здесь слово «видеть» (*see*) в разных смыслах? Конечно, нет. Дело лишь в том, что в отношении человека, которого я видел, верно и то, (а) что он побрился в Оксфорде, и то, (б) что какое-то время назад он родился в Иерусалиме. И, конечно же, я могу сослаться на любой из этих фактов, когда говорю — отнюдь не двусмысленно, — что видел его. Если здесь и *есть* двусмысленность, то она связана не со словом «видел» (*saw*).

⁵³ Разумеется, отсюда не следует, что мы вправе говорить: «Эта очень большая звезда является пятнышком». Я мог бы сказать: «Та белая точка на горизонте — мой дом», но это не дает оснований сделать вывод, что я живу в белой точке.

Предположим, я смотрю в телескоп, а вы спрашиваете меня: «Что вы видите?» Я могу ответить: (1) «Яркое пятнышко»; (2) «Звезду»; (3) «Сириус»; (4) «Отражение в четырнадцатом зеркале телескопа». Все эти ответы могут быть совершенно правильными. Стало быть, мы имеем здесь разные смыслы «видеть» (*see*)? *Четыре* разных смысла? Конечно, нет. Отражение в четырнадцатом зеркале телескопа и *есть* яркое пятнышко, это яркое пятнышко и *есть* звезда, а эта звезда и *есть* Сириус. Я могу сказать совершенно правильно и без всякой двусмысленности, что я вижу все это. Какими словами я решу сказать о том, что вижу, будет зависеть от конкретных обстоятельств — например, от того, в каком ответе, на мой взгляд, заинтересованы вы, насколько я сведущ в этой области или в какой мере я готов подвергать себя риску сказать не то (*to stick my neck out*). (И рискую я здесь не только в каком-то одном отношении; возможно, это планета, а не звезда, или это звезда Бетельгейзе, а не Сириус, или же, возможно, в телескопе только двенадцать зеркал.)

«Я видел незначительного на вид человека в черных штанах». «Я видел Гитлера». Два разных смысла слова «видел» (*saw*)? Безусловно, нет.

В силу того, что мы, как правило, можем описывать, идентифицировать или классифицировать то, что мы видим, многими разными способами, порой отличающимися по степени риска, поиск различных смыслов слова «видеть» (*see*) становится не только излишним и вводящим в заблуждение, но и свидетельствующим, кстати, о заблуждении тех философов, которые полагают, что вопрос «Что вы видите?» имеет только *один* правильный ответ, например, «часть поверхности» чего бы ни было. Если я, к примеру, могу видеть такую часть поверхности стола, как его крышка, я, естественно, могу также видеть и сказать (если я в состоянии говорить), что вижу сам стол (обеденный стол, стол из красного дерева, стол директора моего банка и т. д.). Предложенный философами вариант ответа имеет еще тот недостаток, что он означал бы уничтожение совершенно нормального слова «поверхность» (*surface*), ибо не только абсолютно неверно утверждать, что мы всегда видим *поверхность* вещи, но и неверно предполагать, что все *имеет* поверхность. Где находится поверхность кошки и что именно считать ее поверхностью? Кроме того, почему «часть» (*part*) поверхности? Если в поле моего зрения находится целый лист бумаги, то я совершенно неправильно употребил бы слово, если бы сказал, что вижу только его «часть» (*part*) — на том основании, что я (конечно же) вижу только одну его сторону.

Кроме того, следует упомянуть, по крайней мере кратко, и такой момент. Хотя нет серьезных оснований утверждать, что слово «воспринимать» («видеть» и т. д.) имеет разные *смыслы*, вопрос, естественно, не исчерпывается тем, что мы можем по-разному описывать то, что мы воспринимаем. Когда мы что-то видим, мы можем не только по-разному *назвать* то, что мы видим; мы можем к тому же видеть это в *разных аспектах*, видеть *по-разному*. К этой возможности видеть по-разному, которую позволяет выразить важная грамматическая конструкция «видеть... как...» (see... as...), всерьез относились психологи и Витгенштейн, однако большинство философов, пишущих о восприятии, почти не упоминают о ней. К числу наиболее очевидных случаев относятся те, в которых (как, скажем, в примере Витгенштейна об утке–кролике) картинка или диаграмма специально нарисована так, чтобы изображенное на ней смотрелось по-разному — то как утка, то как кролик, то как выпуклая, то как вогнутая фигура и т. д. Но этот феномен может возникать и, так сказать, естественным путем. Солдат иначе видит сложные передвижения людей на плацу, нежели человек, ничего не знающий о строевой подготовке; художник или, по крайней мере, художник определенной школы может иначе видеть пейзаж, нежели человек, не сведущий в технике художественного изображения. Стало быть, употребление разных выражений для описания того, что мы видим, часто обусловлено не только разным уровнем знания, разной проникательностью, разной готовностью рисковать или интересом к разным аспектам ситуации; оно может быть обусловлено и тем, что то, что мы видим, мы видим по-разному, видим в разных аспектах, видим *как* это, а не *как* то. Иногда же отсутствие *одного–единственного правильного* выражения для описания того, что мы видим, обусловлено той дополнительной причиной, что может не быть *одного–единственного правильного* способа его видения.⁵⁴ Стоит отметить, что повод употребить грамматическую конструкцию «видеть... как...» (see... as...) дают некоторые примеры, которые мы рассматривали в другом контексте. Вместо того чтобы говорить, что для невооруженного глаза

⁵⁴ Разве *обычно* мы видим вещи, *как они есть на самом деле* (as they really are)? Разве это тот счастливый факт, с которого психолог мог бы начать объяснение? Я склонен воспротивиться соблазну согласиться с таким оборотом речи, ибо конструкция «видеть... как...» (seeing as) предназначена для особых случаев. Иногда мы говорим, что *видим человека как он есть на самом деле* (as he really is) — «в истинном свете» (in his true colours); но это (а) расширенное, если не метафорическое употребление слова «видеть» (see); (б) применимое *только* в тех случаях, когда речь идет о людях, но (в) даже в рамках этой ограниченной области это особый случай. Разве можно было бы сказать, что мы видим, к примеру, коробки спичек в их истинном свете?

далекая звезда выглядит как (looks like) серебристое пятнышко или производит впечатление (appears) серебристого пятнышка, мы могли бы сказать, что она *видится как* (is seen as) серебристое пятнышко; вместо того чтобы говорить, что на зрительный зал женщина с черным мешком на голове производит впечатление (appears) обезглавленной или что она выглядит как (looks like) обезглавленная женщина, мы могли бы сказать, что она *видится как* (is seen as) обезглавленная женщина.

Бросим теперь взгляд назад — на весь ход философской аргументации. В разделе, посвященном «введению чувственных данных», главным образом представлены, как вы помните, попытки Айера обосновать тезис, что глаголы восприятия («воспринимать» и др.) имеют несколько разных «смыслов» — два или, возможно, более. Я постарался доказать, что нет никаких оснований предполагать существование этих разных смыслов. Можно было бы ожидать, что это серьезный довод против аргументации Айера, но, что любопытно, я так не думаю. Хотя его аргументация, безусловно, подана так, *как если бы* она зависела от теории разных «смыслов» глаголов восприятия, на самом деле она вовсе не зависит от этой теории.

Как вы помните, чувственные данные вводятся в итоге следующим образом. Философы принимают решение употреблять слово «воспринимать» («видеть» и т. д.) в том значении, «что то, что мы видим или как-то иначе воспринимаем, действительно должно существовать и действительно должно иметь качества, которые, как нам представляется, оно имеет». Конечно, в обыденной речи слово «воспринимать» («видеть» и т. д.) употребляется не в этом смысле; не является это, кстати сказать, и одним из тех способов употребления, которым сам Айер навешивает ярлык «правильных и привычных»; этот особый способ употребления указанных слов изобретен философами. Итак, решив употреблять эти слова таким образом, философы, естественно, затем обнаруживают, что «материальные вещи» не проходят в качестве претендентов на роль воспринимаемого, ибо материальные вещи не всегда действительно имеют те качества, которые, как нам представляется, они имеют, и, кроме того, нам даже может казаться, что они существуют, хотя в действительности это не так. Хотя найдется немного философов — если вообще найдутся, — которые будут без тени смущения отрицать какое бы то ни было восприятие материальных вещей в каком бы то ни было «смысле», все же в любом случае что-то еще должно быть назначено в качестве воспринимаемого в этом особом фило-

софском смысле. Что же проходит в качестве претендента? Ответ — чувственные данные.

Учение о том, что разные «смыслы» слова «воспринимать» (*perceive*) уже находятся в нефилософском обращении, пока что вовсе не принимало участия в этих маневрах, которые, по сути, состояли в изобретении совершенно нового «смысла». Так какова же роль этого учения? Согласно Айеру (и Прайсу), его роль состоит в том, чтобы дать философам повод изобрести свой собственный смысл.⁵⁵ Создается, согласно Айеру, такой особый собственный смысл «во избежание этих двусмысленностей». Тот факт, что в действительности этих двусмысленностей нет, не имеет никакого значения, так как на деле реальным мотивом этих философов служит вовсе не стремление избежать двусмысленностей. Их реальный мотив — и именно это образует сердцевину всей проблемы — состоит в том, что они стремятся сформулировать такой вид высказывания, который будет *не подвержен исправлению* (*incorrigible*). Реальное преимущество изобретенного смысла «воспринимать» (*perceive*) как раз и связано с тем, что воспринимаемое в этом смысле *должно* существовать и *должно* быть таким, каким оно нам представляется, а стало быть, говоря о воспринимаемом в этом смысле, *я не могу ошибаться*. Во всем этом следует разобраться.

X

Поиск не подверженного исправлению (*incorrigible*) — один из наиболее древних источников беспокойства в истории философии. Безудержный и неистовый во всей античной философии и особенно у Платона, этот поиск был с новой силой возобновлен Декартом и завещан им долгой череде последователей. Несомненно, к нему толкает много разных причин, и он принимает много разных форм, но у нас нет возможности вникать во все это. В некоторых случаях мотив сравнительно простой — это жажда чего-то *абсолютно достоверного*, жажда, которую довольно трудно удовлетворить, если заранее настроиться так, будто достоверность абсолютно недостижима; в других случаях, к которым, видимо, следует отнести Платона, налицо стремление к чему-то такому, что *всегда* будет *истинным*. Случай же, который мы рассматриваем, имеет своим непосредственным источником Декарта, однако здесь

⁵⁵ Если быть точнее, то для Прайса существование этих разных «смыслов» служит поводом для изобретения специальной терминологии. См. *Perception*, p. 24: «В этой ситуации единственно надежная стратегия — это вообще избегать употребления слова “воспринимать” (*perceive*)».

добавляется некоторое усложнение в виде общей теории знания. Именно знание, а вовсе не восприятие по-настоящему интересует этих философов. В случае Айера об этом говорит и само название его книги, и ее текст *passim*.⁵⁶ Прайс проявляет более глубокий интерес, нежели Айер, к реальным фактам восприятия и уделяет им больше внимания, но все же следует отметить, что, сформулировав свой исходный вопрос: «Что это такое — *видеть* что-либо?» — он уже в следующем предложении пишет: «Когда я вижу помидор, есть многое, что *можно поставить под сомнение*». Это наводит на мысль, что реально его интересует не столько то, что значит *видеть*, сколько то, в чем *нельзя сомневаться*.

Если говорить кратко, то теория знания, «эмпирического» знания, состоит в том, что знание имеет *основания* (foundations). Оно представляет собой структуру, верхние ярусы которой надстраиваются как следствия выводов, а основания — это *данные*, на которые опираются эти выводы. (Поэтому-то — как оказывается — и должны быть, естественно, чувственные данные.) В отношении выводов возникает та проблема, что они могут быть ошибочными; совершая очередной шаг, мы можем оступиться. Поэтому — согласно этой теории — для того, чтобы определить верхние ярусы структуры знания, нужно выяснить, не могли ли мы совершить ошибку, нет ли здесь чего-нибудь такого, в чем *можно сомневаться*; если ответ «да», то мы не в основании структуры. И, наоборот, *данные* отличает то, что в их случае никакое сомнение невозможно, никакой ошибки нельзя сделать. Стало быть, чтобы найти данные, основания, ищите *не подверженное исправлению* (incorrigible).

Безусловно, истолкование Айером этого очень старого предания является (или, во всяком случае, было, когда он писал свою книгу) очень современным, очень лингвистическим. Он постоянно укоряет Прайса и других своих предшественников в том, что они трактуют как фактические вопросы, которые в реальности являются лингвистическими. Однако, как мы видели, это относительное усложнение теории не мешает Айеру безоговорочно принять почти все связанные с ней древние мифы и не заметить ошибок в традиционной аргументации. Кроме того, как мы показали, сам он в действительности не верит в то, что поставленные вопросы — это вопросы языка, хотя в этом состоит его официальная позиция. И, наконец, как мы вскоре увидим, в ходе изложения учения о том, что указанные вопросы — это вопросы языка, он допускает довольно серьезные ошибки в трактовке языка.

⁵⁶ Повсюду, здесь и там (лат.) — Прим. перев.

Однако, прежде чем заняться этим, я хотел бы сказать еще несколько слов о разрыве между официальными воззрениями Айера и его действительными воззрениями. Мы выявили этот разрыв ранее, во втором разделе его книги, а точнее — о нем свидетельствует ошеломляющее убеждение Айера в том, что не существует реальных фактов о «материальных вещах», о них мы можем говорить все что угодно; единственно реальные факты — это факты о «явлениях» (phenomena), «чувственных впечатлениях» (sensible appearances). Однако вновь убеждение в том, что *существуют* только чувственные данные, всплывает — с еще большей очевидностью и частотой — в заключительной главе со знаменательным названием «Строение материальных вещей». («Из чего состоят материальные вещи?») Например: «Что касается веры в «единство» и «субстанциальность» материальных вещей, то, как я покажу, она при корректном ее описании предполагает лишь приписывание зрительным и осязательным чувственным данным определенных отношений, которые *действительно* встречаются в нашем опыте. Я покажу, что только благодаря случайному факту существования этих отношений между чувственными данными становится *выгодно описывать* наш опыт в терминах существования и поведения материальных вещей». (Курсив мой.) В другом месте: «Я могу сформулировать стоящую передо мной задачу так: показать, на каких общих принципах мы «строим» *из имеющихся в нашем распоряжении чувственных данных* мир материальных вещей». Разумеется, согласно официальной интерпретации этих и многих других подобных высказываний, в них, строго говоря, идет речь о логических отношениях между двумя разными языками — «языком чувственных данных» и «языком материальных объектов» — и их не следует понимать в буквальном смысле как утверждения о *существовании* чего-либо. Но Айер не просто иногда говорит так, *как если бы* реально существовали только чувственные данные, а «материальные вещи» были бы просто конструкциями, составленными — подобно картинкам-загадкам — из чувственных данных. Ясно, что он действительно так считает. Ибо он не сомневается в том, что эмпирические свидетельства (evidence) предоставляются нам *только* появляющимися чувственными данными и *по этой причине* «любое высказывание со ссылкой на материальную вещь, чтобы быть эмпирически осмысленным, должно допускать *какое-либо* выражение в терминах чувственных данных». (Курсив мой.) Стало быть, официальный вопрос о том, как могут быть связаны между собой эти два предполагаемых «языка», вовсе не считается подлинным вопросом; язык материальных объектов должен быть *каким-то образом* «реду-

цирован» к языку чувственных данных. Почему? Потому что фактически чувственные данные — это все, «что мы имеем в нашем распоряжении».

Необходимо немного глубже вникнуть в это учение о «двух языках». По данной теме Айер оказывается втянутым в скандал (*fracas*) с Карнапом, и было бы поучительно проследить, как развивался между ними этот спор.⁵⁷

Позиция Карнапа по этому вопросу, с которой отчасти, как считает Айер, он (Айер) отчасти не согласен, состоит в том, что все (правильные — *legitimate*) предложения в изъявительном наклонении, не принадлежащие к числу аналитических, можно поделить на две группы: одна группа содержит «эмпирически проверяемые» предложения, а другая — «предложения наблюдения», или «протоколы». Предложение из первой группы эмпирически проверяемо, если и только если, как формулирует Айер, «из него выводимо в соответствии с принятыми правилами языка» некоторое предложение наблюдения. Относительно самих этих предложений наблюдения Карнап отмечает два момента. По его словам, (а) вопрос о том, какие предложения наблюдения считать *истинными*, — это, по существу, вопрос соглашения; нас должно беспокоить лишь то, чтобы общая совокупность высказываемых нами предложений была внутренне не противоречива; (б) не имеет большого значения, какой вид предложений мы отнесем к категории предложений наблюдения, ибо «любое конкретное предложение, принадлежащее к физикалистской системе языка, может при соответствующих обстоятельствах выполнять функции предложения наблюдения».

Айер не согласен с Карнапом ни по одному из этих пунктов. По первому пункту он утверждает — в резком тоне, но совершенно правильно, — что для того, чтобы наши высказывания о мире, в котором мы живем, вообще могли всерьез претендовать на истинность (или даже ложность), некоторые из них должны быть такими, чтобы их истинность (или ложность) определялась невербальной реальностью; невозможно, чтобы все высказываемое нами оценивалось только с точки зрения внутренней непротиворечивости.

По второму пункту позиция Айера *отнюдь* не так ясна. Он полагает — и, видимо, вполне справедливо, — что «предложениями наблюдения» надлежит называть только те предложения, которые являются записью «наблюдаемых положений дел». Но что это за вид предложений? Или, как формулирует Айер, можно ли «выделить класс высказываний, которые допускают непосредствен-

⁵⁷ Ayer, *op. cit.*, pp. 84–92, 113–114.

ную верификацию»? Вся проблема в том, что не совсем ясен его ответ на этот вопрос. Вначале он говорит, что «это зависит от языка, на котором сформулировано высказывание». Очевидно, что не вызывает серьезных сомнений непосредственная верифицируемость высказываний о чувственных данных. «С другой стороны, когда мы учим английскому языку ребенка, мы предполагаем, что и высказывания о материальных вещах могут быть непосредственно верифицированы». Да, возможно, мы предполагаем это, но правы ли мы? Иногда, кажется, Айер высказывается в том духе, что это во всяком случае может сойти нам с рук, хотя трудно представить, что он действительно мог бы так считать. Ибо (помимо того, что он, как мы уже отмечали, склонен проявлять уверенность в том, что единственно реальные факты — это факты о чувственных данных) для него, как и для Карнапа, «предложения наблюдения» составляют конечную цель процесса верификации. Айер неоднократно повторяет ту мысль, что высказывания о «материальных вещах» не только нуждаются в верификации, но и не допускают «окончательной» верификации. Стало быть, если только Айер не собирается утверждать, что высказывания, которые *нельзя «окончательно» верифицировать, можно верифицировать «непосредственно»* и, более того, что они могут фигурировать как *конечная цель* процесса верификации, он, безусловно, должен отрицать возможность для высказываний о материальных вещах быть «предложениями наблюдения». И из общей направленности его аргументации, и из ее внутреннего строения, по сути, явствует, что он действительно отрицает это. Если воспользоваться терминологией Карнапа, то реальная позиция Айера, видимо, формулируется так: высказывания о «материальных вещах» эмпирически проверяемы, а высказывания о чувственных данных являются «предложениями наблюдения»; если члены первой группы окончательно не верифицируемы, то члены второй группы действительно *не подвержены исправлению*.

Теперь нам следует рассмотреть, каково же истинное положение вещей. Как мы уже отмечали, в вопросе связи с вневербальной реальностью прав Айер, а Карнап не прав; совершенно нелепа та идея, что мы не учитываем ничего, кроме совместимости предложений друг с другом. Однако во втором вопросе Карнап, по крайней мере, ближе к истине, нежели Айер; действительно, нет никакого особого подкласса предложений, функцией которых считалось бы предоставление свидетельств в пользу других предложений, или верификация других предложений, а тем более — особенностью которых была бы неподверженность исправлению. Но Карнап не *вполне* прав даже в этом. Если

же мы рассмотрим, почему он только приблизительно прав, мы увидим, что наиболее важное значение здесь имеет то, в чем и он, и Айер в равной мере ошибаются.

Если говорить кратко, этот важный момент состоит в следующем. В наши дни, видимо, все признают, что если взять совокупность (пучок) предложений (или высказываний,⁵⁸ как предпочитает говорить Айер), без каких-либо погрешностей сформулированных в том или ином языке, то мы никак не сможем рассортировать их на те, которые являются истинными, и на те, которые являются ложными, ибо (если оставить в стороне так называемые «аналитические» предложения) вопрос об истинности и ложности связан не только с тем, что *есть* предложение, и не только с тем, что оно *означает*, но и с тем, при каких обстоятельствах, вообще-то говоря, оно произносится. Предложения истинны или ложны не *как таковые* (as such). Если задуматься над этим, то станет столь же очевидной и невозможность — во многом по тем же самым причинам — отобрать среди некоторой совокупности предложений те из них, которые служат свидетельством для других, или являются «проверяемыми», или «не подвержены исправлению». Какой вид предложения произносится в качестве свидетельства — зависит от обстоятельств в каждом конкретном случае; нет такого вида предложений, которые *как таковые* предоставляли бы свидетельства, равно как нет такого вида предложений, которые *как таковые* вызвали бы удивление, сомнение, были бы достоверными, не подверженными исправлению или истинными. Поэтому, хотя Карнап совершенно прав, когда говорит, что нет такого особого вида предложений, которые *должны* быть отобраны в качестве предоставляющих свидетельства для всех остальных, он ошибается, полагая, что таким образом мог бы быть отобран *любой* вид предложения. Дело не в том, что не имеет большого значения, как мы их отбираем, а в том, что мы вообще не способны это сделать. Стало быть, неправ и Айер, когда считает — а он действительно считает, — что предоставляющие свидетельства предложения являются всегда предложениями о чувственных данных, а потому их и следует выделить как особый вид.

⁵⁸ В том месте, где Айер разъясняет свое употребление этого термина (р. 102), он оставляет непроясненным именно этот существенный момент. По словам Айера, (а) в его употреблении слово «высказывание» (proposition) обозначает класс предложений, которые имеют *одно и то же значение*, и (б), «следовательно», именно о высказываниях, а не о предложениях он говорит как об истинных или ложных. Однако знание значения предложения, конечно же, не позволяет нам судить о его истинности или ложности. А то, о чем мы можем сказать, что оно истинно или ложно, не является «высказыванием» в айеровском смысле.

Идея о том, что есть определенный вид или форма предложения, которое как таковое не подвержено исправлению или как таковое предоставляет свидетельства, является довольно распространенной и, видимо, поэтому заслуживает более детального опровержения. Прежде всего рассмотрим неподверженность исправлению. Видимо, начинается аргументация с замечания о том, что некоторые предложения можно охарактеризовать как значительно более рискованные, нежели другие, ибо, произнося их, мы в большей степени подвергаем себя риску ошибиться. Например, я говорю: «Это Сириус»; если это окажется хотя и звездой, но не Сириусом, я буду неправ; тогда как, скажи я просто: «Это звезда», тот факт, что это не Сириус, никак бы меня не коснулся. Или, скажи я просто: «Это выглядит как звезда», я бы мог сравнительно невозмутимо отнестись к тому, что это окажется не звездой. И так далее. В результате такого рода рассуждений, очевидно, и рождается та идея, что имеется или мог бы быть такой вид предложений, произнося которые я *совсем* не рискую, мое допущение (commitment) является абсолютно минимальным; поэтому *ничто*, в принципе, не могло бы свидетельствовать о допущенной мною ошибке, и мое высказывание было бы не подверженным исправлению (incorrigible).

Однако на практике эта идеальная цель совершенно недостижима. Нет и не может быть такого вида предложений, которые, будучи однажды произнесены, как таковые не могли бы быть в дальнейшем исправлены или отброшены. Сам Айер, хотя и готов признать предложения о чувственных данных не подверженными исправлению, отмечает, что в одном отношении они не могли бы быть таковыми. В принципе, всегда возможно, указывает он, что человек, как бы уклончиво он ни говорил, произнесет *не то слово* (wrong word) и в последующем будет вынужден признать это. Однако Айер старается отшутиться от этого как от совершенно тривиальной оговорки; очевидно, он полагает, что своей уступкой допускает лишь возможные обмолвки, чисто «словесные» промахи (и, конечно же, обман). Но это не так. Есть много других ситуаций, когда произносится не то слово. Я могу по ошибке сказать: «Пурпурный» (magenta). Это может быть простой обмолвкой, так как я намеревался сказать: «Пунцовый» (vermilion); или это может произойти из-за того, что я не знаю значения слова «пурпурный», не знаю, какой оттенок красного цвета называется пурпурным; или, возможно, я не смог различить или просто неправильно определил цвет находящегося передо мной предмета. Стало быть, я не только буду вынужден признать «пурпурный» неправильным словом для цвета, ко-

торый я вижу, но всегда есть возможность, что мне также придется понять или, быть может, вспомнить, что цвет передо мной вовсе не *пурпурный*. Это верно как для случая, когда я говорю: «Это пурпурное», так и для случая, когда я говорю: «Лично мне здесь и сейчас кажется, что я вижу нечто пурпурное». Вторая конструкция (*formula*), возможно, более осторожная, но и она не является *не подверженной исправлению*.⁵⁹

Это так, но даже если *по своей сути* такие осторожные конструкции не являются не подверженными исправлению, есть немало случаев, когда, произнося их, мы высказываем нечто такое, что *фактически* будет не подверженным исправлению, — это случаи, когда, так сказать, вообще ничего нельзя предъявить в качестве убедительного основания для отказа от сказанного. Да, без всяких сомнений, это так. Но тогда то же самое верно и в отношении высказываний (*utterances*), в которых используются совершенно иные словесные формы (*forms of words*). Если в отношении высказанного мною утверждения верно, что фактически ничего нельзя предъявить в качестве убедительного основания для отказа от него, это возможно только потому, что я занимаю (поставил себя в) наилучшую возможную позицию для высказывания этого утверждения — произнося его, я *полностью* уверен, и вправе быть уверенным, в нем. Имеет это место или нет — зависит не от того, какой *вид предложения* я использую для своего утверждения; это зависит от *обстоятельств*, при которых я его высказываю. Если я очень внимательно рассмотрел цветное пятно в поле моего зрения, хорошо знаю свой родной язык, тщательно подбираю слова и говорю: «Мне сейчас кажется, будто я вижу что-то розовое» (*It seems to me now as if I were seeing something pink*), то нельзя предъявить ничего такого, что могло бы сви-

⁵⁹ Айер не совсем *упускает из виду*, что ошибочное описание возможно из-за невнимательности, неспособности что-то заметить или различить; в отношении чувственных данных он пытается *исключить эту возможность*. Отчасти его попытка не удается, отчасти она непонятна. Для этих целей недостаточно просто постулировать, что чувственное данное имеет все те качества, которые, как нам представляется, оно имеет, поскольку возможность ошибки не исключается, даже тогда, когда говоришь только о том, какие качества, как тебе представляется, что-то имеет, — можно, к примеру, недостаточно внимательно рассмотреть его внешний облик. Вместе с тем постулировать, что чувственное данное является именно тем, за что его принимает говорящий — и, стало быть, если он *говорит* нечто другое, это должно быть другим чувственным данным, — это значит превращать неложные утверждения о чувственных данных в истинные *декларативно* (*by fiat*). Если это так, то как могли бы чувственные данные быть — а предполагается, что они являются, — *нелингвистическими* сущностями, которые мы осознаем (*are aware of*), на которые ссылаемся (*refer to*), опираясь на которые окончательно проверяем фактическую истинность всех эмпирических высказываний?

детельствовать о моей ошибке. Равным образом, если я рассматриваю животное в нескольких футах от себя, рассматриваю в течение какого-то времени и при хорошем освещении, если я, к тому же, тыкаю его палкой, улавливаю носом его запах, слышу производимые им звуки и говорю: «Это свинья» (*That's a pig*), то мое утверждение тоже будет не подверженным исправлению, так как нельзя предъявить ничего такого, что свидетельствовало бы о моей ошибке. Раз уж отказываешься от той идеи, что есть особый *вид предложений*, которые как *таковые* не подвержены исправлению, то можно было бы и признать (а это в любом случае верно), что *многие* виды предложений, которые мы произносим, высказывая свои утверждения, *фактически* могут быть не подверженными исправлению, то есть, когда они произносятся, обстоятельства таковы, что эти утверждения надежно, несомненно и бесповоротно *истинны*.

Рассмотрим теперь тезис о свидетельствах, то есть идею о том, что имеется некий особый вид предложений и их функция состоит в том, чтобы формулировать свидетельства, на которых основываются другие виды предложений. Это неверно по крайней мере в двух отношениях.

Во-первых, неверно предположение, что всякий раз, когда человек высказывает утверждение о «материальном объекте», он должен иметь или мог бы представить свидетельства в пользу этого утверждения. Возможно, это звучит вполне правдоподобно, однако здесь имеет место злоупотребление понятием «свидетельство» (*evidence*). Мы вправе сказать, что у меня есть *свидетельство* в пользу утверждения, что какое-то животное является свиньей, если я, к примеру, нахожусь в ситуации, когда при отсутствии в поле зрения самого животного я вижу на земле вокруг его жилища множество следов, похожих на следы свиньи. Если я обнаруживаю корыто со свиным кормом, то это еще одно свидетельство, но еще лучшим свидетельством могут оказаться хрюканье и вонь. Если же затем появляется само животное и оно очень хорошо видно, то необходимость в сборе свидетельств отпадает; его появление в поле зрения не предоставляет мне еще одно свидетельство в пользу того, что это свинья — теперь я просто *вижу* это, и вопрос решен. Несомненно, при других обстоятельствах я мог бы сразу увидеть его и вообще не беспокоиться о сборе свидетельств.⁶⁰ Если я действительно видел, как один человек застрелил другого, я могу *давать* показания (*evidence*) как очевидец тем людям, которые при этом не присутствова-

⁶⁰ Я имею, так сказать, «свидетельство своих собственных глаз» (*evidence of my own eyes*). Однако смысл этого тропа состоит именно в том, что он не иллюстрирует обычное употребление слова «свидетельство» (*evidence*) — я не имею здесь свидетельства в обычном понимании.

ли, но у меня *нет* свидетельства в пользу моего собственного утверждения, что выстрел имел место, что я действительно *видел* это. Итак, мы еще раз убеждаемся в том, что нужно принимать во внимание не только произносимые слова, но и ситуацию, в которой они произносятся. Иногда, когда человек говорит: «Это свинья», у него есть в пользу этого свидетельства, иногда — нет; нельзя утверждать, что *предложение* «Это свинья» относится к тому виду, который как таковой нуждается в свидетельствах.

Во-вторых, как показывает рассмотренный нами пример, формулировка свидетельств не является функцией какого-то особого вида предложений. Свидетельства — если таковые имеются — в пользу утверждений о «материальных объектах» обычно формулируются в виде утверждений того же вида; но в общем и целом любой *вид* утверждения мог бы стать формулировкой свидетельства для *любого* другого вида при соответствующих обстоятельствах. Например, как правило, неверно, что общие утверждения «основываются» на единичных, но не наоборот. Я могу считать, что *это* животное будет есть турнепс, основываясь на том, что большинство свиней, по моему мнению, едят турнепс; но при других обстоятельствах я, конечно же, мог бы в подтверждение того, что большинство свиней едят турнепс, сказать, что, по крайней мере, эта свинья ест. Если взять аспект, более близкий к теме восприятия, то, как правило, неверно считать, что утверждения о том, что вещи есть такие-то и такие-то, «основываются» на утверждениях о том, что они так-то выглядят, такими-то представляются или кажутся нам, но не наоборот. Например, я могу сказать: «Эта колонна утолщенная» — на том основании, что она выглядит утолщенной; но при других обстоятельствах я равным образом мог бы сказать: «Эта колонна выглядит утолщенной» — на том основании, что я только что возвел ее и *возвел* утолщенной.

Теперь мы уже в состоянии кратко рассмотреть идею о том, что утверждения о «материальных объектах» как таковые не могут быть окончательно верифицированы. Эта идея столь же ошибочна, как и идея о том, что утверждения о чувственных данных как таковые не подвержены исправлениям (именно ошибочна, а не просто может «вводить в заблуждения», как готов признать Айер). Позиция Айера состоит в том, что «понятие достоверности (*certainty*) не применимо к высказываниям *этого вида*». ⁶¹ Утверждает он это на том основании,

⁶¹ Кстати сказать, он, подобно многим философам до него, ошибается и в том, что «понятие достоверности» применяется к «априорным высказываниям логики и математики» как таковым. Многие высказывания в логике и математике вовсе не достоверны; а если многие и являются достоверными, то не потому, что они высказывания логики и математики, а потому, скажем, что они были особенно убедительно доказаны.

что для окончательной верификации высказывания этого вида мы должны были бы совершить невозможный (в силу его внутренней противоречивости) подвиг — выполнить «бесконечный ряд верификаций»; как бы много проверок с положительным результатом мы ни выполнили, мы никогда не сможем выполнить все возможные проверки, ибо их число бесконечно; если же выполнить не все возможные проверки, а *меньше*, то этого *недостаточно*.

Почему же Айер (и не только он один) выдвигает эту очень странную теорию? В общем в отношении утверждений о «материальных объектах», конечно же, неверно, что они как таковые *нуждаются* в «верификации». Если, к примеру, кто-то в случайном разговоре роняет фразу: «В действительности я живу в Оксфорде», его собеседник может, если сочтет нужным, проверить это утверждение, но тому, кто это сказал, нет нужды это делать — он и так знает, что это истинно (или ложно, если он солгал). Строго говоря, дело не просто в том, что ему не *нужно* проверять свое утверждение, а скорее, в том, что, раз ему уже известно, что оно истинно, ничто из того, что он мог бы сделать, не могло бы считаться «верификацией» этого утверждения. Необязательно верно и то, что он оказался в этой позиции благодаря тому, что раньше уже верифицировал свое утверждение; ибо о скольких людях, прекрасно знающих, где они живут, действительно можно было бы сказать, что они когда-то *верифицировали* свое проживание там? Когда предположительно они могли это сделать? Каким образом? И зачем? Фактически, мы имеем здесь ошибочную теорию, которая является зеркальным отражением только что рассмотренной нами теории свидетельства. Идея о том, что утверждения о «материальных объектах» как *таковые* нуждаются в верификации, ошибочна в той же степени и в том же отношении, что и идея, согласно которой утверждения о «материальных объектах» как *таковые* должны основываться на свидетельствах. Обе идеи, по сути, вводят в заблуждение из-за распространенной ошибки — игнорировать *обстоятельства, при которых* что-либо говорится, и предполагать, что, как правило, можно учитывать *одни слова*.

Впрочем, даже если мы согласимся рассматривать только те ситуации, когда утверждения можно и нужно верифицировать, представленные доводы все равно выглядят безнадежными. С какой стати мы должны считать, что подобная верификация не может быть окончательной? Если, к примеру, вы говорите, что в соседней комнате есть телефон, а я (подозрительно настроенный) решаю это проверить, то как можно было бы считать *невозможной* окончательную верификацию этого утверждения? Я иду в соседнюю комнату и, конечно же, нахожу

там нечто такое, что выглядит точно как телефон. Но, может быть, это картина, создающая *оптический обман* (*trompe l'œil*)? Я могу очень быстро это выяснить. Возможно, это предмет бутафории, не подключенный в сеть и не работающий как телефон? Я могу выяснить и это, разобрав этот предмет на части, могу попробовать позвонить кому-нибудь и даже попросить его перезвонить мне, чтобы я мог еще раз удостовериться. Выполнив все эти действия, я, безусловно, *удостоверюсь* в том, что это телефон; что еще могло бы потребоваться? Этот объект выдержал достаточное количество проверок, позволяющих установить, что это действительно телефон, а не просто то, что, *в сущности*, достаточно в качестве телефона для повседневных, практических или обычных целей; то, что выдержало все эти проверки, действительно, без всяких сомнений, *есть* телефон.

Впрочем, как и следовало ожидать, у Айера есть основания придерживаться такой странной точки зрения. Согласно его общей теории, хотя утверждения о «материальных вещах» никогда, строго говоря, не эквивалентны утверждениям о чувственных данным, однако «сказать что-либо о материальной вещи — это сказать что-то, пусть и не то же самое, о классах чувственных данных», или, как он иногда формулирует, утверждение о «материальной вещи» *влечет* за собой «то или иное множество утверждений о чувственных данных». Но — и в этом состоит для него затруднение, — какое бы утверждение о «материальной вещи» мы ни взяли, для него нельзя указать *определенное* и *конечное* множество утверждений о чувственных данных, которые вытекали бы из него. Поэтому, как бы тщательно я ни проверял утверждения о чувственных данных, вытекающие из некоторого утверждения о «материальной вещи», никогда нельзя исключать ту возможность, что есть и другие вытекающие из него утверждения о чувственных данных, которые при проверке окажутся ложными. Если же возможно, что некоторое утверждение *влечет* за собой ложное утверждение, то, естественно, возможно, что оно само по этой причине является ложным. Согласно рассматриваемой теории, эту-то возможность как раз и не удастся окончательно устранить. А поскольку, согласно этой же теории, верификация заключается именно в проверке утверждений о чувственных данных, отсюда следует, что верификация *никогда* не может быть окончательной.⁶²

⁶² Материальные вещи составляют как картинки-загадки (*jig-saw puzzles*); но поскольку число кусочков в этой картинке-загадке не конечно, мы никогда не можем знать, что картинка уже сложена, всегда какие-то кусочки могут оказаться пропущенными или поставленными не на место.

Из всего, что вызывает возражение в этой теории, в каком-то смысле самым удивительным является то, как используется понятие «влечет за собой» (to entail). Что влечет за собой предложение «Это свинья»? Возможно, где-то записаны каким-то авторитетом в зоологии необходимые и достаточные условия принадлежности к биологическому виду *свинья*. Возможно, если мы употребляем слово «свинья» именно в этом смысле, утверждение о том, что какое-то животное является свиньей, будет влечет за собой то, что это животное удовлетворяет указанным условиям, какими бы они ни были. Однако совершенно очевидно, что Айер имеет в виду совсем не этот смысл «влечет за собой»; не имеет никакого отношения этот смысл, в частности, и к тому, как употребляют слово «свинья» неэксперты.⁶³ Но какой другой вид «следования» (entailment) мы имеем здесь? Мы имеем довольно приблизительное представление о том, как выглядят свиньи, как они пахнут, какие звуки производят и как они обычно ведут себя. Несомненно, если какое-то животное не выглядит, как свинья, не ведет себя, как свинья, не производит характерных для свиньи звуков и не имеет соответствующего запаха, то мы скажем, что оно не свинья. Но есть ли — и должны ли быть — такие виды *утверждений* «Это выглядит...», «Это производит звуки...», «Это пахнет...», о которых мы могли бы напрямую сказать, что предложение «Это свинья» влечет их? Естественно, нет. Мы узнаем слово «свинья», как и огромное большинство слов, обозначающих обычные предметы, остенсивно — когда нам говорят в присутствии соответствующего животного: «*Это свинья*». Стало быть, хотя мы тем самым, конечно, узнаем, к какого рода вещам можно или нельзя применять слово «свинья», нет никакой промежуточной стадии, во время которой мы бы связали слово «свинья» со множеством *утверждений* о том, как она выглядит, какие звуки производит и как пахнет. Не таким образом это слово вводится в наш словарь. Поэтому, хотя у нас, конечно, есть определенные ожидания относительно того, что будет иметь место, а что не будет, когда рядом с нами окажется свинья, однако совершенно неестественно представлять эти ожидания в виде *утверждений*, влекомых предложением «Это свинья». Именно по этой причине совершенно неестественно говорить, будто *верификация* того, что какое-то животное является свиньей, состоит в проверке утверждений, влекомых предложением «Это свинья». Представляя верификацию таким образом, мы сталки-

⁶³ Это формальное определение, во всяком случае, не охватывает собою *всё* — уродцев, к примеру. Если мне на выставке демонстрируют свинью с пятью ногами, я не могу потребовать назад свои деньги на том основании, что «быть свиньей» влечет за собой «иметь только четыре ноги».

ваемся со множеством затруднений: мы совсем не знаем, где ее начать, как продолжить и где закончить. Но это доказывает не то, что утверждение «Это свинья» очень трудно верифицировать или невозможно окончательно верифицировать; это доказывает лишь, что мы имеем тут нереализуемую пародию на верификацию. Если бы это было правильным описанием процедуры верификации, то мы действительно не могли бы сказать, в чем состояла бы окончательная верификация того, что какое-то животное является свиньей. Это не доказывает, что мы действительно обычно сталкиваемся с какими-то трудностями, когда нам представляется случай верифицировать, является ли какое-то животное свиньей; это доказывает лишь, что верификация была представлена в совершенно неверном свете.⁶⁴

К этому можно добавить совсем другое, хотя и связанное с ним, замечание. Оно состоит в том, что, хотя у нас, конечно, есть более или менее определенные представления о том, как ведут или не ведут себя объекты конкретного вида в той или иной ситуации, было бы крайне неестественно выдавать эти представления за определенные выводимые нами следствия (*entailments*). Для меня само собой разумеется, что телефон не делает очень многих вещей, но несомненно и то, что вещей, которых он не делает, но которые просто не приходят мне в голову, — бесконечное множество; было бы полным абсурдом утверждать, что предложение «Это телефон» *влечет* за собой целые мириады утверждений о том, что он будет делать то-то или не будет делать того-то; и было бы абсурдно делать отсюда вывод, что я *действительно* не установлю, что нечто является телефоном, пока *per impossibile*⁶⁵ не получу подтверждение для всего бесконечного класса этих предполагаемых следствий. Разве предложение «Это телефон» *влечет* за собой «Вы не могли бы его съесть»? Разве я должен попытаться его съесть и потерпеть неудачу, чтобы удостовериться в том, что это телефон?⁶⁶

⁶⁴ Можно и иначе показать неуместность выражения «влечь за собой» в подобных контекстах. Допустим, что синицы, все синицы, с которыми мы когда-либо имели дело, имеют бородку, и мы рады заявить: «Синицы имеют бородку». *Влечет* ли это за собой, что не имеющее бородки — не синица? На самом деле нет. Ибо если будут обнаружены безбородые представители этого вида на какой-нибудь недавно разведанной территории (мы, конечно же, говорили не о *них*, когда утверждали, что синицы имеют бородку), то нам придется поразмыслить над этим и, возможно, признать этот новый вид лишенных бородки синиц. Аналогичным образом то, что мы говорим сегодня о синицах, *вовсе* не относится к доисторическим зоо-синицам или синицам из далекого будущего, которые, возможно, лишатся своего оперенья из-за изменений в атмосфере.

⁶⁵ Через невозможное (*лат.*) — *Прим. перев.*

⁶⁶ Думаю, философы уделяли слишком мало внимания тому обстоятельству, что большинство слов в обычном употреблении определяются остенсивно. Например, они

Выводы, полученные нами к этому моменту, можно суммировать так:

1. Не существует такого *вида* или *класса* предложений («высказываний»), о которых можно сказать, что *как таковые* они:

- (а) не подвержены исправлению;
- (б) обеспечивают свидетельства для других предложений; и
- (в) их необходимо проверять для того, чтобы можно было верифицировать другие предложения.

2. В отношении предложений о «материальных вещах» не верно, что *как таковые* они:

- (а) должны подкрепляться свидетельствами или основываться на свидетельствах;
- (б) нуждаются в верификации; и
- (в) их нельзя окончательно верифицировать.

Фактически предложения — в отличие от *утверждений*, *высказываемых при конкретных обстоятельствах*, — *вообще* нельзя на основании этих принципов разбить на две или более групп. А это означает, что общей теории знания, которая кратко изложена мной в начале этого раздела и которая составляет реальный источник беспокойства для обсуждаемых здесь учений, дано радикально и принципиально неправильное истолкование. Даже если бы нам пришлось в качестве очень рискованного и необоснованного допущения принять, что то, что знает конкретный человек в конкретном месте и в конкретное время, можно при систематическом упорядочении разделить на основание и надстройку, было бы принципиальной ошибкой предполагать, что то же самое можно проделать и в отношении знания *вообще*. Причина здесь кроется в том, что *не может* быть никакого *общего* ответа на вопросы, что и по отношению к чему является свидетельством, что достоверно, а что вызывает сомнения, что нуждается, а что не нуждается в свидетельстве, что можно, а что нельзя верифицировать. Если Теория Знания состоит в поиске оснований для ответа на эти вопросы, то ее просто не существует.

Прежде чем расстаться с этой темой, нам нужно обсудить еще один вопрос — учение о «двух языках». Это учение неверно по несколько иным при-

часто видели проблему в том, почему *A не может быть B*, если «*быть A*» не *влечет* за собой «*не быть B*». Часто это происходит из-за того, что «*A*» и «*B*» вводятся с помощью остенсивного определения как слова для *разных вещей*. Почему червонный валет не может быть пиковой дамой? Возможно, нам нужен новый термин «остенсивно аналитический» (*ostensively analytic*).

чинам, нежели те, что мы уже рассмотрели, и оно представляет интерес само по себе.

Не так-то просто сказать, в чем состоит это учение, поэтому я приведу его в изложении Айера (с моим курсивом). Например, он говорит: «Если значение предложения, содержащего ссылку на чувственное данное, *точно* (precisely) *определяется* правилом, которое устанавливает корреляцию между ним и этим чувственным данным, то в случае предложения, содержащего ссылку на материальную вещь, подобная *точность* (precision) недостижима. Ибо высказывание, выражаемое этим предложением, отличается от высказывания о чувственных данных тем, что не существует наблюдаемых фактов, которые составили бы необходимое и достаточное условие его истинности». ⁶⁷ И в другом месте: «...ссылки на материальные вещи являются *неопределенными* (vague) в их применении к явлениям...». ⁶⁸ Пожалуй, не совсем ясно, что имеется в виду в этих заявлениях; одно вполне понятно — речь идет о том, что *все* утверждения о чувственных данных, в некотором отношении или в некотором смысле, являются *точными* (precise), тогда как утверждения о материальных вещах, напротив, все являются, в некотором отношении или в некотором смысле, *неопределенными*. Начнем с того, что нелегко понять, как это могло бы быть истинным. Разве утверждение «Вот три свиньи» неопределенно? А утверждение «Мне кажется, будто я вижу что-то розоватое» не является неопределенным? Неужели второе утверждение *с необходимостью* является точным в чем-то таком, в чем первое просто не может быть точным? И разве не удивительно, что *точность* должна сочетаться с *неподверженностью исправлениям* (incorrigibility), а *неопределенность* — с *невозможностью верификации*? Ведь, в конце концов, мы же говорим о людях, «ищущих убежища» в неопределенности, — чем точнее вы скажите, тем, как правило, с большей вероятностью совершите ошибку; тогда как у вас есть хороший шанс *не* ошибиться, если вы будете достаточно неопределены. Что нам действительно нужно сделать здесь, так это повнимательней рассмотреть сами слова «неопределенный» и «точный».

Слово «неопределенный» (vague) само неопределенно. Допустим, я говорю, что что-то, например, чье-то описание дома, является неопределенным. Есть довольно большое число возможных характеристик — необязательно

⁶⁷ Ayer, op. cit., p. 110. «Наблюдаемые факты» здесь, как и во многих других местах, означают и могут означать только одно — «факты о чувственных данных».

⁶⁸ Ayer, op. cit., p. 242.

недостатков, все зависит от предъявляемых требований, — наличие которых (всех или только части) могло бы дать повод назвать описание неопределенным. Оно могло бы быть: (а) *приблизительным* (rough) описанием, передающим лишь «приблизительное представление» об описываемом предмете; (б) *двусмысленным* (ambiguous) в определенных аспектах, то есть допускающим двоякое истолкование; (в) *неточным* (imprecise), то есть не содержащим подробного указания признаков описываемой вещи; (г) не очень *детальным* (detailed); (д) сформулированным в *общих терминах* (general terms) и охватывающим довольно много разных случаев; (е) не очень *правильным* (точным — accurate), или, возможно, также (ж) не очень *полным* (full) или *законченным* (complete). Несомненно, описанию могут быть присущи все эти характеристики одновременно, но они могут встречаться и независимо друг от друга. Довольно *приблизительное* (rough) и *неполное* (incomplete) описание может быть, в определенных пределах, достаточно *правильным* (точным — accurate); оно может быть *детальным* (detailed), но очень *неточным* (imprecise), или оно может быть совершенно *недвусмысленным* (unambiguous), но тем не менее очень *общим* (general). Во всяком случае вполне очевидно, что нельзя в *одном-единственном* смысле быть неопределенным, как нельзя и в *одном-единственном* смысле не быть неопределенным, а быть, к примеру, точным.

Обычно правильно называть «неопределенным» (*vague*) *употребление* слова, а не само слово. Если, к примеру, при описании дома я, среди прочего, указываю, что у него есть крыша, но не говорю, какого вида эта крыша, то для кого-то это может дать повод сказать, что мое описание немного неопределенное; но, видимо, нет никаких оснований считать само слово «крыша» неопределенным *словом*. Разумеется, имеются разные виды крыш, как имеются и разные виды свиней и полицейских, но это не означает, что все случаи употребления слова «крыша» таковы, что оставляют нас в сомнении относительно его значения; иногда мы действительно хотим, чтобы говорящий был более точным (more precise), но для этого, по-видимому, должен быть особый повод. Безусловно, применимость к широкому спектру нетождественных случаев — это очень распространенное свойство, присущее значительному количеству слов, а не только словам, к которым нам бы хотелось прикрепить ярлык «неопределенные». Кроме того, почти любое слово может поставить нас в тупик относительно его применимости к «промежуточным» (marginal) случаям; но этого недостаточно, чтобы выдвигать обвинение в неопределенности. (Кстати сказать, многие слова проявляют эти свойства не потому, что они относят-

ся к языку «материальных объектов», а потому, что они относятся к *обыденному* языку, в котором проведение чрезмерно тонких различий было бы утомительным делом, этим словам противостоят не слова «чувственных данных», а специальная терминология «точных наук» (exact sciences.) Впрочем, есть несколько хорошо известных своей бесполезностью слов — как, например, «демократия», — употребление которых всегда оставляет нас в сомнении относительно их значения, и тогда, видимо, вполне оправданно назвать такое *слово* неопределенным.

Классическим «пристанищем» для слова «точный» (precise) служит область *измерения*; здесь точность связана с использованием достаточно мелко градуированной шкалы. «709864 фута» — очень точный (precise) ответ на вопрос о длине лайнера (хотя он может не быть «правильным» (accurate)). Слова же могут быть названы точными, когда для их применения установлены, так сказать, довольно узкие рамки; «цвета утиного яйца» (duck egg blue), по крайней мере, *более* точный термин, чем просто «синий» (blue). Однако, естественно, нет общего ответа на вопрос, насколько мелким должен быть масштаб шкалы или насколько узкой должна быть область применения слова, чтобы была достигнута точность, — отчасти из-за того, что нет предела установлению все более мелких делений и тонких различий, а отчасти из-за того, что (достаточно) точное (precise) для одних целей может быть приблизительным (rough) и примерным (crude) для других. Никакое описание, например, не может быть абсолютно, окончательно и предельно *точным* (precise), как не может оно быть абсолютно *полным* (full) или *законченным* (complete).

«Precisely» (точно) можно и нужно отличать от «exactly» (ровно, именно, точно). Измеряя банан с помощью линейки, я могу установить, что он точно (precisely) $5\frac{5}{8}$ дюйма в длину. Измеряя свою линейку с помощью бананов, я могу установить, что она ровно (exactly) шесть бананов в длину, хотя я и не могу претендовать на точность (precision) моего метода измерения. Если мне нужно разделить кучу песка на три равные части и у меня нет взвешивающего инструмента, то я не смогу сделать это *точно* (precisely). Но если мне нужно разделить на три равные кучки 26 кирпичей, то я не смогу сделать это *точно без остатка* (exactly). Можно сказать, что там, где употребляется слово «exactly», есть что-то волнующее, достойное особого внимания — тот факт, что сейчас ровно (exactly) два часа, как известие имеет, так сказать, большую ценность, чем то, что сейчас три минуты третьего, и мы

испытываем приятное волнение, когда находим *именно то слово* (exact word) (которое может и не иметь точного (precise) значения).

Что тогда можно сказать о слове «accurate» (правильный, точный)? Довольно очевидно, что ни слово, ни предложение как таковые не могут быть точными (accurate) в этом смысле. Возьмем, к примеру, (географические) карты, ибо в применении к ним этот термин наиболее уместен. Точная (accurate) карта — это, так сказать, не *вид* карты; по виду карты бывают, например, крупномасштабными, детальными (detailed) или четко составленными (clearly drawn), а точность (ассигасу) карты зависит от ее соответствия той территории, картой которой она является. Есть соблазн сказать, что точное сообщение (accurate report), к примеру, должно быть *истинным*, тогда как очень подробное (very precise) или детальное (detailed) сообщение может и не быть истинным; хотя в этом есть зерно истины, но я не совсем уверен. Безусловно, выражение «неистинный, но точный» (untrue but accurate) неправильно, но и выражение «точный и, следовательно, истинный» (accurate and therefore true) также не кажется вполне правильным. И в том ли только дело, что слово «истинный» после «точный» уже излишне? Имело бы смысл сопоставить это, скажем, с отношением между «истинный» (true) и «преувеличенный» (exaggerated); если выражение «преувеличенный и, следовательно, неистинный» кажется не вполне правильным, то можно попробовать сказать «неистинный *в том смысле, что* является преувеличением», «неистинный *или, скорее, преувеличенный*» или «неистинный *в той мере, в какой* является преувеличением». Так же как слово или фраза не являются сами по себе точными (accurate), так они не являются сами по себе и преувеличением. Впрочем, мы здесь отвлеклись.

Итак, что же сказать относительно той идеи, что предложения о чувственных данных как таковые точны (precise), тогда как предложения о материальных вещах» по своей сути неопределенны (vague)? Вторая часть этого учения в некотором смысле понятна. Видимо, Айер имеет в виду, что если что-то является, к примеру, мячом для крикета, то отсюда не следует, что на него скорее смотрят, чем трогают, что смотрят при каком-то особом освещении, с какого-то определенного расстояния или под каким-то определенным углом зрения, что его трогают рукой, а не ногой и т. д. Все это, конечно, верно; нужно только отметить при этом, что это не дает никаких оснований считать предложение «Это мяч для крикета» неопределенным. Почему же мы должны считать его неопределенным «в его применении к явлениям»? Это выражение совсем не предполагается «применять к явлениям». Оно предназначено для

идентификации особого вида мячей — вида, который, по сути, довольно *точно* (*precisely*) определен, и свою функцию это выражение выполняет вполне удовлетворительно. Как отнесся бы человек, употребивший это выражение, к нашей просьбе быть *более* точным (*precise*)? Кстати сказать, как уже отмечалось, ошибочно полагать, что большая точность (*precision*) всегда благо, ибо, как правило, быть более точным трудней и чем точнее (*more precise*) словарь, тем сложнее его адаптировать к требованиям новых ситуаций.

Однако первую часть рассматриваемого учения понять не так-то просто. Когда Айер говорит, что «значение предложения, содержащего ссылку на чувственное данное, точно определяется правилом, которое устанавливает корреляцию между ним и этим чувственным данным», он вряд ли имеет в виду, что подобное предложение может содержать ссылку только на *одно конкретное* чувственное данное, ибо, будь это так, не могло бы существовать никакого языка чувственных данных (а существовали бы, я думаю, только «имена чувственных данных»). С другой стороны, с какой стати выражения, используемые для обозначения чувственных данных, *вообще* должны быть точными (*precise*)? Проблема здесь в том, что Айер, по сути, нигде не разъясняет, считает ли он «язык чувственных данных» уже существующим и применяемым нами или же он видит в нем просто возможный язык, который мы, в принципе, могли бы создать; по этой причине никогда до конца не знаешь, что же рассматривается и где следует искать примеры. Однако это вряд ли имеет значение для целей настоящего исследования; о каком бы языке ни шла речь — о существующем или искусственном, — референция (ссылка) на чувственные данные не связана необходимым образом с *точностью* (*precision*); используемые при этом классификационные термины (*classificatory terms*) могут быть крайне приблизительными (*tough*) и общими (*general*), — почему бы нет? По-видимому, верно, что референция (ссылка) на чувственные данные не могла бы быть «неопределенной применительно к явлениям» в *том же самом* смысле, в каком, как считает Айер, *должна* быть неопределенной референция (ссылка) на «материальные вещи», но тогда не существует неопределенности в этом смысле. Даже если бы она была, совершенно очевидно, что избежание подобной неопределенности не гарантировало бы точности. Можно быть неопределенными и во многих других смыслах.

Итак, к выводам, суммированным нами несколькими страницами ранее, можно теперь добавить следующее: нет оснований считать, что выражения, используемые для обозначения «материальных вещей» (как таковые, по сво-

ей сути), являются неопределенными; как нет оснований полагать, что выражения, используемые для обозначения «чувственных данных» (как таковые, с необходимостью), были бы точными.

XI

СВОЕ РАССМОТРЕНИЕ я завершу несколькими замечаниями относительно книги Уорнока о Беркли.⁶⁹ В этой книге, с которой я во многом согласен, Уорнок проявил себя как довольно осторожный исследователь; к тому же он писал ее много лет спустя после выхода книг Прайса и Айера. И все же, я думаю, в чем-то он серьезно ошибается, ибо в конечном счете приходит к разделению всех утверждений на два вида: утверждения об «идеях» и утверждения о «материальных объектах», против чего, собственно, я и выдвигал здесь свои аргументы. По правде сказать, Уорнок не формулирует прямо свои собственные воззрения, он предлагает новый вариант учения Беркли, устраняя из этого учения все то, что он (Уорнок) считает ошибками и неясностями, которых могло бы и не быть. Тем не менее некоторые его собственные идеи выясняются по ходу изложения, и в любом случае я постараюсь показать, что он слишком уж снисходительно относится к своему варианту учения Беркли. Все идет гладко, без обмана, однако в конце концов ребенок все же оказывается в сливной трубе.

Уорнок начинает (тот отрывок, который представляет для нас интерес) с объяснения, что имел в виду Беркли или, по крайней мере, что он, должно быть, имел в виду, когда заявлял, что только «наши собственные идеи» «воспринимаются непосредственно». Во-первых, почему у Беркли вызывают возражение такие повседневные высказывания, как то, что мы видим стулья и радугу, слышим голоса и шум кареты, нюхаем цветы и сыр? Это не означает, говорит Уорнок, что для Беркли эти замечания никогда не бывают *истинными*; по его мнению, высказываясь о таких вещах, мы говорим *вольно* (loosely).⁷⁰

⁶⁹ Warnock. Berkeley, гл. 7–9.

⁷⁰ Стремясь представить позицию Беркли в поразительном многообразии аспектов, Уорнок фактически оставляет ее во многом непроясненной. Беркли не только выступает против «вольных» (loose) высказываний, но и, как время от времени указывает Уорнок, стремится к *правильности* (accuracy), *точности* (precision), *строгости* (strictness) и *ясности* (clarity); к *корректному* (correct) употреблению слов, к *надлежащему* (proper) употреблению слов, к такому употреблению, когда слова *близко* (closely) *соответствуют* (fit) фактам, выражают лишь то, что мы *вправе сказать* (entitled to say). Видимо, по его мнению, все это во многом одно и то же.

Хотя не будет большой беды, если я скажу, что слышу карету на дороге, но, «строго говоря, на самом деле (actually) я слышу лишь шум». То же самое и в других случаях; наши обычные суждения восприятия всегда являются «вольными» в том смысле, что выходят за рамки того, что мы на самом деле (actually) воспринимаем; мы делаем «заклучения» (inferences) или допущения.

По этому поводу Уорнок замечает, что мы действительно обычно делаем допущения и что-то принимаем на веру, когда говорим о том, что мы (к примеру) видим; однако, по его мнению, Беркли ошибается в том, что по этой причине мы всегда говорим вольно. «Чтобы правильно сообщить, что я на самом деле (actually) вижу, мне достаточно ограничиться тем, что я *вправе сказать* (entitled to say) на основе увиденного в данном случае; при хороших условиях наблюдения я определенно вправе сказать, что вижу книгу». И в другом месте: «Не делать никаких допущений относительно того, что производит слышимые мной звуки, — значит быть особенно осторожным в своих словах; однако, чтобы правильно говорить, нам не всегда нужно быть максимально осторожными». По мнению Уорнока, вопрос «Что вы на самом деле видели?» менее либерален в отношении допущений, посторонних свидетельств и т. д., нежели вопрос «Что вы видели?», но и он не требует их полного устранения, поэтому Беркли ошибается, полагая, что это устранение, «строго говоря», необходимо.

Впрочем, по крайней мере в одном отношении Уорнок заблуждается. Он иллюстрирует различие между «видеть» (see) и «видеть на самом деле» (actually see) на примере свидетеля, находящегося под перекрестным допросом, которому строго наказали говорить только то, что он *на самом деле видел* (actually saw), и на основе этого (одного!) примера Уорнок заключает, что говорить, что ты на самом деле видел, — это всегда несколько умерять свой пыл, быть более осторожным в словах, утверждать меньшее. Но это не всегда верно; может быть как раз наоборот. Например, сначала я мог бы сказать, что видел маленькое серебристое пятнышко, и только потом добавить, что на самом деле я видел звезду. Я мог бы сообщить в качестве показания, что видел, как человек стреляет из ружья, а впоследствии заявить: «На самом деле я видел, как он совершил убийство!» Стало быть (если сформулировать это кратко и приблизительно), иногда я могу видеть или считать, что вижу, *больше*, чем я на самом деле вижу, а иногда — *меньше*. Уорнок просто зациклен на случае нервного свидетеля. Прежде чем приписывать какое-либо значение выражению «на самом деле» (actually), Уорноку следовало бы рассмотреть не только

больше случаев его употребления, но и сравнить его с такими близкими по значению выражениями, как «действительно» (really), «фактически» (in fact), «практически» (in actual fact), «в действительности» (as a matter of fact).

В любом случае, продолжает Уорнок, Беркли интересуется не вопрос о том, что мы *на самом деле* (actually) воспринимаем, а его собственный вопрос: что мы *непосредственно* (immediately) воспринимаем? По этому поводу он заявляет, что «это выражение вообще не употребляется в обыденной речи», а потому у Беркли есть все права употреблять его, как ему нравится. (Уже это само по себе очень опрометчиво. Выражение «непосредственно воспринимать», возможно, и не имеет *ясного* (clear) значения, но во всяком случае «непосредственно» является совершенно обычным словом, и именно на смысловых оттенках этого слова и ассоциациях с его обыденным значением в значительной мере строится рассматриваемая аргументация.) Так как же Беркли употребляет это выражение? Уорнок дает следующее объяснение: «Я говорю, к примеру, что вижу книгу. Допустим, что это сказано совершенно правильно. Однако все же в этой ситуации есть нечто такое (не книга), что я вижу *непосредственно* (immediately). Независимо от того, подтверждают или нет последующие исследования мое заявление, что я вижу книгу, независимо от того, что я знаю или думаю о том, что вижу, независимо от того, какие зрительные, осязательные или обонятельные ощущения я мог бы получить, подойди я поближе, *сейчас* в моем поле зрения есть определенная цветная форма или цветовой образ. Именно это я и вижу *непосредственно* (immediately)... Это более «фундаментально», нежели сама книга, — в том смысле, что хотя я мог бы непосредственно видеть этот цветовой образ и при отсутствии книги, но я не мог бы видеть ни книгу, ни *чего бы то ни было*, не появившись в моем поле зрения подобные цветковые образы».

Но удовлетворительно ли таким образом вводить выражение «непосредственно воспринимать»? Видимо, чтобы я мог о чем-то сказать, что вижу его непосредственно, оно должно находиться «в моем поле зрения». Однако это последнее выражение вообще никак не разъясняется; разве книга не находится в моем поле зрения? И если, по мнению Уорнока, правильным ответом на вопрос, что находится в моем поле зрения, должна быть «цветная форма», почему вдобавок нужно допустить, что она есть «нечто такое, *не книга*»? Было бы совершенно естественно и правильно сказать: «Это красное пятно *есть* книга» (ср.: «Та белая точка — мой дом»). Игнорируя тот факт, что довольно часто о цветных формах, цветовых пятнах и т. д. правильно говорят, что они

есть вещи, которые мы видим, Уорнок потихоньку и незаметно протаскивает столь опасную дихотомию: «материальные объекты» или сущности иного рода. Несколькими абзацами ранее он сам признает, что о цветовых пятнах и т. д. можно говорить и о них действительно говорят, что их видят в совершенно обыденном, привычном смысле этого слова — так почему же теперь мы должны принять, что видят их *непосредственно*, как если бы они нуждались в особой трактовке?

Далее изложение Уорнока принимает несколько иной оборот. До этого момента его взгляды, видимо, совпадали со взглядами Беркли, и он был согласен с тем, что мы «непосредственно воспринимаем» не «материальные вещи», а *сущности* совсем иного рода. Однако в двух последующих главах он избирает лингвистическое направление и пытается выделить такой *вид предложения*, в которых выражаются «суждения непосредственного восприятия». Отталкиваясь от берклиевского «чувства не содержат заключений» (the senses make no inferences), Уорнок приступает к привычному занятию — отсеивать и урезать, с тем чтобы в результате получить абсолютно элементарную, совершенно минимальную форму утверждения. Однако он берет неверный старт, а это означает, что он уже на полпути к краху. По его словам, он пытается найти некий вид утверждений, «высказывая которые мы «не делаем заключений» или (на наш взгляд, правильней сказать) ничего не принимаем на веру, не делаем допущений». По тому, как он это формулирует, становится ясно, что он совершает (на сегодняшний день уже) хорошо известную ошибку, предполагая, что есть некая особая *словесная форма*, которая, в отличие от других форм, удовлетворяет этому требованию. Однако его собственные примеры свидетельствуют об ошибочности этого предположения. Рассмотрим, предлагает он, утверждение: «Я слышу автомобиль». Оно, считает он, не минимально и не является суждением непосредственного восприятия, поскольку, высказывая его, я, исходя из услышанного мной звука, «делаю определенные допущения, которые в ходе дальнейшего исследования могут быть признаны ошибочными». Однако, делаю я допущения, которые могут оказаться ошибочными, или нет, зависит не от того, какую словесную форму я использую, а от того, при каких обстоятельствах я говорю. Очевидно, Уорнок имеет в виду ту ситуацию, когда я слышу звук, напоминающий звук автомобиля, но, *помимо* этого звука, я больше ничем не располагаю. А что если я уже знаю, что на улице есть автомобиль? Что если я могу его видеть, а возможно, даже могу его потрогать или понюхать? Какие *тогда* я делал бы «допущения», если бы в этой ситуации

сказал: «Я слышу автомобиль»? Какое «дальнейшее исследование» было бы здесь необходимо или вообще возможно?⁷¹ Если мы представляем словесную форму «Я слышу автомобиль» как *по сути своей* (intrinsically) уязвимую, имея в виду, что, произнося ее, человек *может* основываться *только* на услышанном звуке, то чем это лучше подтасовки фактов?

Затем Уорнок отбраковывает как неминимальную словесную форму «Я слышу какой-то тихий гул» — на том основании, что здесь предполагается отсутствие у человека, произносящего эти слова, ватных тампонов в ушах, ибо из-за этих тампонов даже очень громкий звук мог бы восприниматься им как тихий гул. Однако вряд ли *всякому*, кто произносит эти слова, можно совершенно серьезно сказать: «Возможно, у вас в ушах ватные тампоны»; вовсе не обязательно, что он *допускает* их отсутствие, возможно, он *знает*, что у него их нет, и само предположение о них может показаться ему совершенно абсурдным. Хотя Уорнок настаивает на том, что ни он, ни Беркли вовсе не намерены подвергать сомнению наши обычные суждения и выступать в поддержку какой-либо разновидности философского скептицизма, однако представление словесных форм как уязвимых *вообще*, безусловно, представляет собой один из основных приемов протаскивания скептических тезисов. Утверждать, как это делает Уорнок, что *всякий раз*, когда мы высказываем обычное суждение, мы делаем допущения и что-то принимаем на веру, — значит представлять наши обычные суждения как что-то ненадежное. И какой смысл после этого заявлять, что они с Беркли не намерены этого делать? К этому можно было бы добавить, что Уорнок слегка усиливает это впечатление ненадежности, выбирая примеры из области слуховых восприятий. Действительно, довольно часто мы делаем какие-то заключения, когда только по звуку судим о том, что слышим, и довольно часто нетрудно бывает понять, в чем мы могли бы ошибиться. Однако в отношении зрения это совсем не так (хотя Уорнок уверен в обратном), ибо не случайно, увидев вещь, мы считаем вопрос решенным.

В действительности же Уорнок пытается сформулировать не максимально достоверную (maximally certain), а *минимально рискованную* словесную форму, используя которую мы как можно меньше подвергали бы себя риску оши-

⁷¹ Отчасти проблема связана с тем, что Уорнок нигде не разъясняет, что *именно*, по его мнению, допускается или принимается на веру в этих случаях. Видимо, иногда он имеет в виду какие-то дополнительные факты о рассматриваемой ситуации, иногда — результат будущего исследования, которое предпримет говорящий, иногда — то, что сообщили бы другие наблюдатели. Однако разве можно считать, что все это сводится к одному и тому же?

биться. В итоге он предлагает следующую формулу: «Мне кажется сейчас, будто...» (It seems to me now as if...) в качестве общей вводной формулы (prefix), которая обеспечивает «непосредственность» (immediacy) и удерживает говорящего в рамках «его собственных идей». Учение Беркли о том, что материальные объекты — это «комплексы идей» (collections of ideas), можно, считает Уорнок, сформулировать в лингвистическом ключе как учение, согласно которому предложение о материальном объекте *означает то же самое*, что и бесконечно большая совокупность соответствующих предложений, начинающихся с «Кажется... будто...» (It seems to... as if...). «Любое утверждение о любой материальной вещи в действительности есть (может быть разложено на) бесконечно большое множество утверждений о том, что говорящему, другим людям и Богу кажется или казалось бы при соответствующих условиях, будто они слышат, видят, осязают, ощущают на вкус, обоняют».

Затем Уорнок вполне справедливо заключает, что подобная трактовка отношения между утверждениями о «материальных вещах» и утверждениями об «идеях» неприемлема. Действительно, есть что-то абсурдное в том представлении, что мы можем лишь накапливать все больше и больше утверждений о том, какими вещи кажутся. Если Беркли именно это имел в виду, тогда правда на стороне тех, кто считает, что он не оценил должным образом «реальность вещей». Однако Уорнок не останавливается на этом и заявляет, что утверждения о «материальных вещах» — это не *то же самое*, что множества утверждений о том, какими вещи кажутся; эти два вида утверждений связаны между собой как *вердикты* (verdicts) и *свидетельства* (evidence), или, по крайней мере, между ними существует «очень сходное с этим» отношение. «Есть существенное логическое различие между рассмотрением свидетельств и вынесением вердикта — различие, которое не отменяется никаким как угодно большим количеством накопленных и как угодно окончательных свидетельств.... Сходным образом есть существенное логическое различие между высказыванием о том, какими вещи кажутся, и высказыванием о том, какие они есть, — различие, которое нельзя устранить, собирая все больше сообщений о том, какими вещи кажутся».

Однако в действительности это сравнение губительно. Оно свидетельствует о нескольких вкравшихся ошибках, которые мы уже упоминали ранее, — например, об ошибочном представлении, что утверждения о «материальных вещах» как *таковые* всегда основываются и должны основываться на свидетельствах и что есть особый вид предложений, функция которых состоит в

предоставлении свидетельств. Но, как мы видели, есть ли у меня свидетельства в пользу того, что я говорю, или нет, нуждаюсь я в них или нет, зависит не от вида предложения, которое я произношу, а от обстоятельств, в которых я нахожусь; если же есть необходимость в свидетельствах и они предъявляются, то делается это не с помощью какого-то особого вида предложения или какой-то особой словесной формы.

Это сравнение также толкает Уорнока прямо к тому виду «скептицизма», от которого он официально отрешивается. Ибо вердикты выносят, учитывая имеющиеся свидетельства, судьи и присяжные, то есть именно те люди, которые не были действительными (actual) свидетелями разбираемого дела. Вынести вердикт на основе свидетельств в точности означает — принять решение по делу, в котором не выступаешь непосредственным источником (first-hand authority). Стало быть, заявлять, что утверждения о «материальных вещах» в общем подобны вердиктам, — значит предполагать, что мы никогда не находимся и не можем находиться в наилучшей позиции, чтобы их высказывать, что невозможно, так сказать, быть очевидцем происходящего в «материальном мире», а можно лишь иметь об этом свидетельства. Однако если представляешь дело таким образом, то вполне разумно выглядит предположение о том, что мы никогда не можем *знать*, никогда не можем быть *уверены* (certain) в том, что какие-то наши утверждения о «материальных вещах» истинны, ибо в конечном счете это означает, что мы можем опереться только на свидетельства. У нас нет прямого доступа к тому, что действительно имеет место, а вердикты, как хорошо известно, отнюдь не исключают ошибок. Но как нелепо, однако, предполагать, что я *выношу вердикт*, когда говорю о том, что происходит у меня под носом! Именно такого рода сравнения и наносят реальный ущерб.

Более того, в своем описании Уорнок не просто искажает ситуацию, но ставит все с ног на голову. Его суждения «непосредственного восприятия» далеки от того, чтобы быть тем, от чего мы *двигаемся* к более обычным утверждениям; в действительности мы получаем их самих и получаем — даже согласно собственному описанию Уорнока — путем постепенного *отхода от* (by retreating from) более обычных утверждений, подстраховываясь на каждом шагу (Там тигр — *кажется*, там тигр — *мне кажется*, там тигр — *мне кажется сейчас*, что там тигр — *мне кажется сейчас*, *будто бы там тигр*.) На наш взгляд, крайне превратно представлять дело так, будто обычные утверждения основываются на словесной форме, которую мы получаем, *отталкиваясь от* обыч-

ных утверждений и ослабляя их в разных аспектах в целях подстраховки, и которая, более того, включает в себе эти обычные утверждения. Прежде нужно иметь проблему, и только после этого можно начать с ней канителиться. Как позволяет предположить терминология Уорнока, мы можем прекратить подстраховываться, если есть хорошие основания что-то высказать, но это неверно; на самом деле мы не начинаем подстраховываться, если для этого нет особой причины, если в имеющейся ситуации нет чего-то странного или сомнительного.

Однако общей и наиболее важной ошибкой в аргументации Уорнока является то, что он оказывается в ситуации (возможно, позволяя Беркли увлечь его туда), когда ему приходится принять на веру учение о двух языках — по крайней мере, временно, в ходе обсуждения принятого им на веру учения о двух сущностях. В результате он пытается ответить на вопрос, как язык свидетельств (язык «идей») связан с языком материальных объектов, но на этот вопрос *нет* ответа, это совершенно нереальный вопрос. Главное — вообще не быть втянутым в постановку этого вопроса. Думаю, Уорнок только усугубляет дело тем, что находит конкретную формулу «Кажется, будто...» (*It seems as if...*), ибо эта формула уже в значительной мере нагружена представлениями о принятии решений, оценке свидетельств, вынесении предварительного вердикта. Но ничто другое и не подошло бы лучше в качестве члена этой совершенно фиктивной (*bogus*) дихотомии. Уорнок выбирает неправильную стратегию, пытаясь слегка подправить эту дихотомию и вернуть ей ее функции; этого-то как раз и нельзя сделать. Правильная стратегия состоит в том, чтобы возвратиться на более раннюю стадию и развенчать все это учение с самого начала.

**СТАТЬИ
ДЖОНА ОСТИНА**



ЧУЖОЕ СОЗНАНИЕ (1946)

Перевод с английского языка М. А. Дмитриховской

ИСТИНА (1950)

Перевод с английского языка А. Л. Золкина

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (1961)

Перевод с английского языка А. Л. Золкина

ЧУЖОЕ СОЗНАНИЕ¹

Я сразу должен сказать, что согласен с большинством положений, выдвинутых Дж. Уисдомом в серии его замечательных статей под общим названием «Чужое сознание»,² а также в ряде других работ. Я прекрасно осознаю, насколько опасно вступать на столь хорошо проторенный путь. В настоящей работе я ставлю перед собой цель сделать вклад в разработку только одной стороны вопроса, на которой, как мне кажется, имеет смысл остановиться более подробно. Конечно, мне бы хотелось, чтобы эта проблема была центральной, однако я понимаю, что не смогу приблизиться к главному, пока не проясню частности. Мне кажется, что Уисдом одобрил бы это стремление к более детальному анализу.

Дж. Уисдом правильно отмечает сложности, возникающие при рассмотрении таких вопросов, как *How do we know that another man is angry?* 'Откуда мы можем знать, что другой человек рассержен?'. Он приводит и ряд других форм того же вопроса: *Do we (ever) know?* 'Знаем ли мы (когда-нибудь) что-нибудь на самом деле?', *Can we know?* 'Можем ли мы знать что-нибудь?', *How can we know the thoughts, feelings, sensations, mind of another creature?* 'Как мы можем знать мысли, чувства, ощущения, желания других людей?' и т. д. Очевидно, что все последующие вопросы отличны от первого, который и будет составлять предмет нашего дальнейшего рассмотрения.

¹ Austin J. L. *Other Minds* // Austin J. L. *Philosophical Papers*. 2-nd ed. / Ed. by Urmson J. O., Warnock G. J. Oxford: At the Clarendon Press, 1970, pp. 76–116. Впервые опубликовано в: *Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume XX*, 1946.

² Имеется в виду серия из 8 статей Дж. Уисдома, см.: *Wisdom J. Other Minds* // *Mind*, 1941, v. 50, № 197, (I, II), № 198 (III), № 199 (IV), № 200 (V); 1942, v. 51, № 201 (VI); 1943, v. 52, № 207 (VII), № 208 (VIII) (римские цифры в скобках указывают номера статей). — *Прим. перев.*

Ход мыслей Дж. Уисдома следующий: задав первый вопрос, он далее спрашивает: «Когда мы узнаем, что другой человек рассержен, аналогично ли это тому, как мы узнаем, что кипит чайник, что у соседей званый ужин или сколько весит семечко чертополоха?» Однако, как мне кажется, Дж. Уисдом не дал исчерпывающего ответа на вопрос, что мы должны отвечать, когда нас спросят: *How do you know these things?* 'Откуда вы это знаете?' Например, ответить, что мы знаем о званом ужине «по аналогии» или «по индукции», будет в лучшем случае просто неестественным. Если говорить точнее, этот ответ является абсолютно неправильным, поскольку нельзя сказать, что мы знаем по аналогии — по аналогии можно только *доказывать*. Итак, я собираюсь рассмотреть, что в действительности происходит, когда людей спрашивают: «Откуда вы знаете?»

Многое, конечно, зависит от объектов знания, которые могут быть самыми различными. Остановиться на всех возможных случаях, тем более подробно, не представляется возможным, поэтому я возьму для анализа один из самых простых, в отличие от выражения *He is angry* 'Он рассержен', примеров, а именно — утверждение *That is a goldfinch* 'Это щегол' или *The kettle is boiling* 'Чайник кипит' — самый обычный единичный эмпирический факт. Как реакция на высказывание подобного рода может последовать вопрос: «Откуда вы знаете?» и мы, по крайней мере иногда, можем ответить, что в действительности мы не знаем, а только так думаем. Подобный ответ может быть просто отговоркой.

Когда мы утверждаем: «В саду щегол» или «Он рассержен», предполагается, что мы уверены в этом или знаем это (ср. упрек «А я-то думал, что ты *знаешь*»), хотя, говоря более строго, то, что сообщается, является только содержанием нашей *веры*. Если мы произнесли подобное высказывание, нас могут спросить: (1) *Do you know there is?* 'Вы на самом деле *знаете*, что это щегол?', *Do you know he is?* 'Вы на самом деле знаете, что он рассержен?' и (2) *How do you know?* 'Откуда вы знаете?' Если ответ на первый вопрос будет утвердительным, то за ним может последовать второй вопрос, впрочем, и сам первый вопрос часто воспринимается как желание указать на источник знания. С другой стороны, на первый вопрос может быть дан и отрицательный ответ, ср.: *No, but I think there is; No, but I believe he is* 'Я не знаю, я просто так думаю', ибо в рассматриваемом случае нет строгой импликации, что я знаю или уверен. Если мы ответим подобным образом, нас сразу могут спросить: *Why do you believe that?* 'Почему вы так думаете?' или *What makes you*

think so? 'Что заставляет вас так думать?'; What induces you to suppose so? 'Что навело вас на эту мысль?' и т. д.

Вопросы «Откуда вы знаете?» и «Почему вы так думаете?» различны. Мы никогда не спросим «Почему вы знаете?» и «Откуда вы так думаете?» В этом, а также в ряде других случаев, которые будут отмечены дальше, не только такие слова, как *suppose, assume* 'предполагать', 'полагать', но и такие выражения, как *be sure* и *be certain* 'быть уверенным', следуют модели «думать, что...», а не модели «знать».

В основе рассматриваемых нами вопросительных реплик лежит обычное стремление получить некоторую информацию. Однако они могут быть и *целенаправленными*, и в этом случае между ними выявляется еще одно важное различие. В вопросе «Откуда вы знаете?» может содержаться предположение, что собеседник на самом деле, возможно, не знает, а в вопросе «Почему вы так думаете?» может предполагаться, что он, возможно, *не должен* так думать. Здесь нет предположения, что человек так не думает или не должен знать.³ Если ответ на вопрос «Откуда вы знаете?» или «Почему вы так считаете?» покажется спрашивающему неудовлетворительным, то его реакция в каждом случае будет различной. В первом случае он может заметить: «Но вы в действительности не знаете это» или «Но это ничего не доказывает: вы не можете знать этого», а во втором случае — «Основания для вашего мнения явно недостаточны: вы не должны так думать».⁴

Именно «существование» вашего мнения, но не «существование» того, что вы считаете своим знанием, не может быть оспорено. Если мы можем принять, что высказывания *I believe* 'Я считаю', *I am sure* и *I am certain* 'Я уверен' являются описаниями субъективных ментальных или когнитивных состояний или отношений, то мы не можем сделать такое же или, по крайней мере, точно такое же утверждение в отношении выражения *I know* 'Я знаю' — его роль в речи совершенно иная.

«Без сомнения, — могут сказать мне, — «Я знаю» — это нечто большее, чем просто описание состояния. «Я знаю» означает, что я не могу ошибиться»

³ Однако в некоторых случаях при особых обстоятельствах, если, например, кому-то стала известна очень секретная информация, мы с недоумением или угрозой в голосе можем спросить: «Откуда вы знаете?»

⁴ В случае знания может быть и такой ответ: «Вы не должны говорить (не имеете права говорить), что вы знаете это». Однако очевидно, что сходство между этой репликой и высказыванием «Вы не должны так думать» чисто внешнее: вы имеете право высказывать свое мнение, сколь незначительными бы ни были для него основания.

ся». Однако мой собеседник всегда может доказать, что я ошибаюсь и, следовательно, не знаю или же что я ошибался и, следовательно, не знал. Именно по указанному параметру знание отличается от самой сильной уверенности». Приведенное рассуждение будет проанализировано дальше, а пока мы займемся рассмотрением ответов, которые могут последовать на вопрос «Откуда вы знаете?».

Предположим, что я сказал: *There is a bittern in the bottom of the garden* 'В глубине сада выпь', а меня спросили: «Откуда вы знаете?» На этот вопрос я мог бы ответить, например, одним из следующих способов:

(a) *I was brought up in the fens.*

'Я провел детство в тех местах, где было много болот'.

(b) *I heard it.*

'Я слышал ее'.

(c) *The keeper reported it.*

'Мне сказал сторож'.

(d) *By its booming.*

'[Я узнал ее] по крику'.

(e) *From the booming noise.*

Букв.: 'Из-за ее крика'.

(f) *Because it is booming.*

'Потому что она кричит'.

В первом приближении можно сказать, что высказывания *a*, *b* и *c* являются ответами на вопросы *How do you come to know?* 'Как вы это узнали?', *How are you in a position to know?* 'Каков источник вашего знания?' или *How do you know?* 'Вы-то откуда знаете?', которые интерпретируются по-разному, в то время как последние три высказывания служат ответом на вопрос *How can you tell?* 'Как вы можете это доказать?', который тоже может быть понят различными способами. Я, таким образом, могу подумать, что от меня хотят узнать следующее:

(1) *How do I come to be in position to know about bitterns?*

'Каким образом мне удалось приобрести познания, касающиеся данного класса птиц?'

(2) *How do I come to be in position to say there's a bittern here and now?*

'Каков источник моего знания, когда в данный конкретный момент я идентифицирую птицу выпь?'

(3) How do (can) I tell bitterns?

‘Как я в принципе могу определить, что та или иная птица — выпь?’

(4) How do (can) I tell the thing here and now as a bittern?

‘По каким признакам я в данный конкретный момент идентифицирую птицу как выпь?’

Причем для того, чтобы узнать в этой птице выпь, я должен был:

- (1) вырасти в таких условиях, где я мог познакомиться с данным видом птиц;
- (2) иметь определенный источник знания в данный конкретный момент;
- (3) научиться распознавать птиц, относящихся к этому виду;
- (4) успешно распознать и идентифицировать выпь в данном конкретном случае.

При этом в пунктах (1) и (2) указывается на то, что в прошлом я должен был иметь опыт определенного рода, а в рассматриваемой ситуации иметь соответствующие источники знания, в то время как в пунктах (3) и (4) говорится о том, что я должен уметь проявить (и в нужный момент действительно проявляю) требуемую проникаемость и сообразительность.⁵

Вопросы, затрагиваемые в случаях (1) и (3), имеют отношение к нашему прошлому опыту, к тем возможностям, которые мы имели, к нашей деятельности по приобретению знаний в той или иной области, а также к связанному с этими характеристиками вопросу о правильности используемых нами языковых обозначений предметов и явлений. От нашего прежнего опыта зависит, насколько *хорошо* (*well*) мы что-либо знаем, подобно тому как в ряде сходных случаев от нашего предшествующего опыта зависит, насколько мы знаем *основательно, досконально* (*thoroughly*) или *близко* (*intimately*). Так, мы можем знать человека в лицо или близко, город — вдоль и поперек, доказательство — в одну и в другую сторону, работу — досконально, стихотворение — наизусть, мы можем знать французов, если общались хотя бы с одним из них. Высказывание *He doesn't know what love (real hunger) is* ‘Он не знает, что такое любовь (настоящий голод)’ означает, что человек, о котором идет речь, не имел в прошлом соответствующего опыта, необходимого для того, чтобы иденти-

⁵ Выражение недовольства типа *I know, I know, I've seen it a hundred times, don't keer on telling me* ‘Да знаю я, знаю, я видел это сто раз, не надо мне все время говорить об этом’ свидетельствует о своеобразной «избыточности» знаний говорящего, в то время как способность, образно говоря, отличить сокола от цапли фиксирует нижнюю границу наличия проникаемости и сообразительности, нужных при распознавании или идентификации объекта. Реплика *As well as I know my own name* ‘Я знаю это так же хорошо, как знаю собственное имя’ является типичной в тех случаях, когда я действительно имел в прошлом опыт определенного рода и приобрел нужные познания.

фицировать указанные состояния и отличить их от других, сходных с ними. В зависимости от того, насколько хорошо я знаю тот или иной объект, а также в зависимости от существенных характеристик этого объекта я могу или идентифицировать его, или воспроизвести, нарисовать, пересказать, применить и т. д. Реплики типа *I know very well he isn't angry* 'Я очень хорошо знаю, то он не раздражен' или *You know very well that isn't calico* 'Ты отлично знаешь, что это не коленкор' хотя и относятся к моменту речи, но приписывают высокое качество знания именно прошлому опыту. Такую же роль играет и выражение *You are old enough to know better* 'Ты уже достаточно взрослый для того, чтобы знать это лучше'.⁶

И наоборот, вопросы, затрагиваемые в пунктах (2) и (4), имеют отношение к реальной ситуации. В подобных случаях будет уместен вопрос *How definitely do you know?* 'Насколько точно вы знаете?'. Можно знать что-либо определенно (*for certain*), абсолютно точно (*quite positively*), поверхностно, формально (*officially*), исходя из собственного опыта (*on his own authority*), из достоверных источников (*from unimpeachable sources*), по косвенным данным (*indirectly*) и т. д.

Некоторые ответы на вопрос «Откуда вы знаете?» порой довольно неожиданно трактуются как «причины знания» («*reasons for knowing*» или «*reasons to know*»), несмотря на тот факт, что мы никогда не спрашиваем *Why do you know?* 'Почему вы знаете?'. Тем не менее очевидно (в пользу чего свидетельствуют и словари), что причины проясняются именно при ответе на вопрос «почему?». Именно это мы делаем, когда обосновываем свое мнение. Здесь надо провести одно важное разграничение. Рассмотрим диалог: *How do you know that IG Farben worked for war?* 'Откуда вы знаете, что концерн ИГ-Фарбениндустри⁷ выполнял военные заказы?' — *I have every reason to know: I served on the investigating commission* 'Я имею все основания утверждать (*букв.* — знать) это: я работал в комиссии по расследованию'. Здесь, обосновывая факт своего знания, говорящий указывает на то, каким образом он мог стать обладателем нужных сведений. Аналогичную функцию выполняют реплики *I know because I saw him do it*

⁶ Наречия, которые могут быть употреблены в вопросе *How do you know* 'Как (насколько)... вы знаете?' немногочисленны и образуют еще меньшее количество классов. Они практически не пересекаются с теми наречиями, которые могут встречаться в вопросе *How do you believe?* (*firmly, sincerely, genuinely, etc.*) 'Вы... так думаете?' ('на самом деле', 'искренне', 'действительно' и т. д.)

⁷ ИГ-Фарбениндустри — крупнейший немецкий химический концерн (1925–1945 гг.), выполнявший исключительно военные заказы. — *Прим. перев.*

‘Я знаю, *потому что* я видел, как он делал это’ или I know *because* I looked it up ten minutes ago ‘Я знаю, *потому что* проверил это десять минут назад’. Они сходны с возможными ответами в следующем диалоге: So it is: it is plutonium. How did you know? ‘Вы правы. Это *действительно* плутоний. А как вы узнали?’ — I did quite a bit of physics at school before I took up philology ‘До того как заняться филологией, в школе я немного увлекался физикой’ или I ought to know: I was standing only a couple of yards away ‘Да как же мне не знать — я стоял всего в двух шагах’. Обоснование мнения в свою очередь обычно имеет совершенно иной характер (перечисление признаков или симптомов, свидетельств в пользу данного вывода и т. д.), хотя в ряде случаев мы, в принципе, можем обосновать свое мнение, указав на то, каким образом нами были получены нужные доказательства: Why do you believe he was lying? ‘Почему ты думаешь, что он лгал?’ — I was watching him very closely ‘Я наблюдал за ним с близкого расстояния’.

Среди обоснований факта знания особое и важное место занимают те случаи, когда мы ссылаемся на авторитеты. Если меня спросят How do you know the election is today? ‘Откуда вы знаете, что выборы сегодня?’, высока вероятность того, что я отвечу I read it in the Times ‘Я прочитал об этом в «Таймс»’, а если мне зададут вопрос How do you know the Persians were defeated at Marathon? ‘Откуда вы знаете, что персы были разбиты при Марафоне?’, я, скорее всего, отвечу: Herodotus expressly states that they were ‘Об этом убедительно пишет Геродот’. В рассматриваемых случаях глагол to know (знать) употребляется совершенно правильно: мы знаем «из вторых рук» (at second hand), если можем сослаться на авторитетный источник, например на человека, который имел возможность получить соответствующую информацию (возможно, тоже «из вторых рук»):^{8, 9}

⁸ Знание «из вторых рук», или из авторитетного источника, — это не то же самое, что «знание, полученное косвенным путем» (*knowing indirectly*), каково бы ни было точное значение этого трудного для интерпретации и немного искусственного термина. Если убийца сознается в содеянном, то независимо от степени нашего доверия к его словам нельзя сказать, что мы знаем (только) косвенным путем, что преступление совершил он. Мы не можем сказать это и в том случае, когда свидетель, который может как внушать, так и не внушать доверие, утверждает, что он видел все своими глазами. Следовательно, столь же неправильно будет утверждать, что преступник знает «непосредственно», что он совершил убийство, каково бы ни было точное значение выражения «знать непосредственно» (*knowing directly*).

⁹ Последнее положение в рассуждении Дж. Остина звучит неубедительно, ибо для преступника «непосредственное знание» о совершенном им убийстве не противопоставлено ни «знанию, полученному косвенным путем», ни знанию «из вторых рук». Более того, понятие знания по отношению к событиям, которые произошли с самим

Однако очевидно, что знания, полученные таким образом, могут быть подвержены ошибке (*liable to be wrong*) вследствие того, что сообщаемые людьми сведения могут быть неточными или не вполне достоверными (ибо возможны ошибки, преувеличения, искажение фактов вследствие пристрастного отношения со стороны говорящего, передача заведомо ложной информации и т. д.). Тем не менее сам факт наличия показаний очевидца имеет большое значение. Мы никогда не узнаем, что испытывал Цезарь во время битвы при Филиппах, потому что он не оставил на этот счет никаких письменных свидетельств; если бы он сделал это, мы могли бы сожалеть о том, что никогда не узнаем, было ли это так на самом деле, более того, мы могли бы, возможно, сделать следующее обоснованное заключение: «Это звучит неубедительно. Мы никогда не будем знать *настоящую правду*».¹⁰ Конечно, мы не лишены здравомыслия и никогда не скажем, что знаем что-либо («из вторых рук»), если у нас есть основания усомниться в правильности полученной информации, но в этом случае такие основания *действительно* должны быть. В речевой коммуникации (так же как и в других видах общения) основополагающим принципом является доверие к людям, *исключая те случаи*, когда есть конкретные причины им не верить. Доверие к словам собеседника, принятие показаний очевидцев являются одним из (возможно, основных) условий ведения разговора.

Мы будем участвовать в игре только тогда, когда уверены в том, что наш противник тоже стремится выиграть, в противном случае это уже не игра. Точно так же мы будем разговаривать с людьми только тогда, когда убеждены в том, что они действительно хотят сообщить нам правду.¹¹

говорящим, является неприложимым в том смысле, что знание здесь вообще эксплицитовано быть не может (ср. неправильность фразы «Я знаю, что я вчера был в библиотеке»). Более удачным было бы сопоставление «непосредственного знания» свидетеля, «знания, полученного косвенным путем», например, при анализе улики, и знания «из вторых рук», например для присутствующих на судебном заседании. — *Прим. перев.*

¹⁰ Цезарь был убит в 44 г. до н. э. и в битве при Филиппах (42 г. до н. э.) принимать участия не мог. В битве при Филиппах сражались армии под предводительством, с одной стороны, Брута и Кассия, а с другой — Антония и Октавиана. Автор или допускает в тексте историческую неточность, или же намеренно ее эксплуатирует, ибо в определенном смысле верно, что мы никогда не узнаем, что чувствовал Цезарь во время битвы при Филиппах (поскольку он не мог ничего чувствовать, так как к тому времени его уже не было в живых), и он действительно не оставил (по этой же причине) никаких письменных свидетельств на этот счет. — *Прим. перев.*

¹¹ Доверие к людям является основополагающим принципом и для других, более специфических видов человеческой деятельности, например, оно лежит в основе заучивания и правильного использования слов, которые мы узнаем от окружающих.

Вот теперь самое время вернуться к вопросу *How can you tell?* 'Как вы смогли определить это?', то есть к тем прочтениям вопроса «Откуда вы знаете?», которые были отмечены в пунктах (2) и (4). Если меня спросят *How do you know it's a goldfinch?* 'Откуда вы знаете, что это щегол?', я могу ответить *From its behaviour* 'По его поведению' (букв. — из-за), *By its markings* 'По оперению' или, более конкретно, *By its red head* 'По красному оперению на голове', *From its eating thistles* 'Потому что он склевывает семена чертополоха'. В этих ответах я отмечаю или с определенной степенью точности излагаю те отличительные особенности предмета и ситуации, которые позволили мне идентифицировать объект как удовлетворяющий именно тому описанию, которое сделал я. После моего объяснения, почему это именно щегол, мне все равно могут возразить, при этом порой даже не обсуждая приведенных мною фактов. Этот случай будет рассмотрен несколько позднее. Итак, мне могут сказать:

(1) But goldfinches *don't* have red heads.

'Но у щеглов на голове не красное оперение'.

(1a) But that's not a *goldfinch*. From your description I can recognize it as a gold-crest.

'Но ведь это не *щегол*. По вашему описанию это, скорее, желтоголовый королек'.

(2) But that's not enough: plenty of other birds have red heads. What you say doesn't prove it. For all you know, it may be a woodpecker.

'Но ведь этих данных недостаточно: множество других птиц тоже имеют красное оперение на голове. Это ничего не доказывает. Согласно указанному вами признаку это может быть и дятел'.

В случаях (1) и (1a) утверждается, что я не способен правильно определять щеглов. В случае (1a) может быть отмечено или что я не знаю правильного (обычного, распространенного, общепринятого) названия птицы (ср. реплику: «Где ты услышал это слово — «щегол?»»),¹² или же что я не обладаю

¹² Использование неправильного названия не столь незначительное или забавное явление, как это может показаться на первый взгляд. Если я употребляю название неправильно, то я ввожу и окружающих в заблуждение, и сам в свою очередь буду неправильно понимать сообщаемую мне информацию. «Конечно, я отлично знала о том, что он болен, но мне и в голову не приходило, что это *диабет*. Я думала, что это рак, а во всех книгах написано, что рак неизлечим. Знай я, что это диабет, я бы сразу подумала об инсулине». Знание предмета или явления во многом определяется тем, знаем ли мы его название, точнее — его правильное название.

нужными навыками и знаниями и поэтому постоянно ошибаюсь при различении небольших по размеру птиц, встречающихся на территории Англии. Впрочем, эти две характеристики могут соединяться. Тогда при возражении будет использоваться, вероятно, не такие реплики, как *You don't know 'Вы (на самом деле) не знаете'* или *You oughtn't to say you know 'Вы не можете (не должны) говорить, что вы это знаете'*, а, скорее, такие высказывания, как *But that isn't a goldfinch (goldfinch) 'Но эта птица не является щеглом'*, *'Но эта птица не щегол'* или *You are wrong to call it a goldfinch 'Вы ошибаетесь, называя эту птицу щеглом'*. Однако, будучи спрошен прямо, мой воображаемый собеседник всегда будет отрицать, что я знаю, что это щегол.

Именно в случае (2) более уместно будет сказать: *Then you don't know. Because it doesn't prove it, it is not enough to prove it 'На самом деле вы не знаете, потому что ваши данные ничего не доказывают, их недостаточно для доказательства'*. Здесь можно выделить несколько важных моментов:

(а) Если мой собеседник говорит, что приведенных мною данных недостаточно, он должен более или менее ясно представлять себе, какие еще признаки существуют, например, что щеглы имеют не только красное оперение на голове, но еще и характерное оперение вокруг глаз (ср. также следующее высказывание: *How do you know it isn't a woodpecker? Woodpeckers have red head too 'Откуда вы знаете, что это не дятел? У дятлов тоже красное оперение на голове'*). Если собеседник не знает этих дополнительных признаков, которые, в принципе, всегда можно перечислить, то с его стороны было бы весьма неразумно говорить, что приведенных мною данных недостаточно.

(b) «Достаточно» — это только достаточно, но еще отнюдь не все. «Достаточно» — это значит достаточно для того, чтобы показать (в пределах поставленных целей и задач), что идентифицируемый объект «не может» быть ничем иным, что нет необходимости в каком-либо другом его описании. Однако при этом не подразумевается, что приведенных данных достаточно, например, для утверждения, что это не чучело щегла.

(c) Ответ *From its red head 'По (букв. — из-за) красному оперению на голове'* требует особого рассмотрения: он существенно отличается от выражения *Because it has a red head 'Потому что у него красное оперение на голове'*, которое тоже может иногда служить ответом на вопрос «Откуда ты знаешь?», но гораздо чаще служит ответом на вопрос «Почему ты так думаешь?». Это выражение гораздо ближе к таким явно «расплывчатым» объяснениям типа

From its markings 'По его оперению' (букв. — из-за) или From its behaviour 'По его поведению' (букв. — из-за), чем это может показаться на первый взгляд. Утверждение, что мы знаем (то есть что мы можем доказать), отражает тот факт, что мы *опознали* предмет, а опознание, по крайней мере в случаях, подобных рассматриваемому, состоит в зрительном или ином восприятии признака или признаков, которые, как мы уверены, сходны с признаками, известными нам по прежнему опыту. Но то, что мы видим или тем или иным способом воспринимаем, не всегда может быть *описано словами*, тем более в деталях; для этого в языке совсем необязательно существуют нужные выражения, да и сама способность к обоснованию у разных людей неодинакова. Любой из нас сможет определить, что пахнет дегтем или что у того или иного человека угрюмый взгляд, но, вероятно, только немногим удастся описать эти явления как-то иначе, чем просто «угрюмый взгляд» или «пахнет дегтем». Многие люди могут совершенно точно определить, в каком году был собран виноград, из которого сделан портвейн, в каком доме моделей было сшито платье; многие различают большое количество оттенков зеленого, а также, например, марки автомобилей с большого расстояния, но при том неспособны объяснить, как им это удастся, то есть не могут выделить специфические характеристики. В таких случаях обычно просто говорят «по вкусу», «по крою» и т. д. Итак, когда я говорю, что определяю щеглов «по красному оперению на голове» или всегда узнаю этого человека «по его носу», то я считаю, что красное оперение на голове и именно такая форма носа есть нечто *особенное*, присущее только данному виду птиц и только данному человеку, и по этим признакам мы всегда сможем правильно их идентифицировать. Ввиду относительно небольшого количества, а также неточности классифицирующих слов по сравнению с бесконечным числом признаков, которые мы различаем или могли бы выделить и различать в нашей практике, неудивительно, что мы снова и снова прибегаем к фразам, начинающимся с предлогов from 'из-за', 'по' и by 'по', и не можем сказать ничего более точного, если нас спросят, как мы определили. Мы зачастую очень хорошо знаем те или иные объекты, хотя и не можем сказать, по каким признакам мы их идентифицируем, а можем лишь отметить, что они индивидуальны. Любой ответ, начинающийся со слов from 'из-за', 'по' и by 'по', имеет в своей основе эту спасительную расплывчатость. И наоборот, ответ, начинающийся со слова because 'потому что', претендует на полноту, а это таит в себе известную опасность. Когда я говорю, что знаю, что это щегол, потому что у него красное оперение на голове, то при этом как бы подразуме-

вается, что все, что я заметил или должен был заметить, сводится к тому, что у птицы на голове красное оперение (а, скажем, цвет и форма оперения вокруг глаз не представляют дополнительных возможностей для различения и идентификации); в основе этого как бы лежит предположение, что на территории Англии не встречается больше ни одного вида птиц с таким красным оперением на голове, как у щегла.

(d) Всякий раз, когда я говорю, что знаю, окружающие могут воспринять это как выражение моей готовности *доказать* свое утверждение тем или иным способом в зависимости от содержания утверждаемого и от тех целей и задач, которые я перед собой ставлю. В рассматриваемом весьма типичном случае «доказательство», похоже, предполагает описание того, какие характеристики обсуждаемого нами объекта достаточны для определения его как объекта, который обычно описывается именно таким образом. Короче говоря, в тех случаях, когда я могу «доказать», я использую модель *because* 'потому что', а в тех случаях, когда мы «знаем, но не можем доказать», мы прибегаем к спасительным *from* 'из-за' и *by* 'по' формулам.

Я считаю, что затронутые нами моменты являются как раз теми, на выяснение которых обычно направлен вопрос «Откуда вы знаете?». Но существует еще и ряд других проблем (возможно, даже более важных), которые часто относятся к рассматриваемому случаю и обычно анализируются философами. Это вопросы о «реальности» («reality») и о «уверенности и определенности» («being sure and certain»).

Обсуждая со мной вопрос, откуда я знаю, вы до сих пор ни разу *не усомнились в правильности моих свидетельств*, хотя и спросили меня о том, каковы они; вы ни разу *не оспорили приводимые мною факты* (на которые я опирался, доказывая, что это щегол), хотя и попросили меня привести их. Итак, сомнению может быть подвергнута достоверность предлагаемых мною «свидетельств» и «фактов». Мне могут задать следующие вопросы:

1. Вы думаете, что это настоящий (real) щегол? А может быть, это только игра воображения? Или просто чучело птицы? А оперение на голове, на самом ли деле оно красное? Может быть, это просто оптический обман?

2. Вы уверены, что у щеглов оперение именно такого, красного, цвета? Не кажется ли вам, что здесь оно слишком оранжевое? И можно ли вообще определить, какая это птица, на таком большом расстоянии?

Эти два случая выражения сомнения различны, хотя не исключена возможность, что они могут комбинироваться, пересекаться или же переходить один в другой. Так, выражение *Are you sure it's really red?* 'Вы уверены, что оперение на самом деле красное?' может означать *Are you sure it isn't orange?* 'Вы уверены, что оно не оранжевое?' или же *Are you sure it isn't just the peculiar light?* 'Вы уверены, что это не оптический обман, следствие особого освещения?'

1. РЕАЛЬНОСТЬ

Если меня спросят *How do you know it's a real stick?* 'Откуда вы знаете, что это настоящая палка?', *How do you know it's really bent?* 'Откуда вы знаете, что это настоящая полевица?'¹³ (*Are you sure he's really angry?* 'Вы уверены, что он действительно раздражен?'), тем самым будут подвергнуты сомнению мои свидетельства и факты (часто не вполне ясно, что именно) с одной, вполне определенной стороны. Дело в том, что результаты моего восприятия и сам воспринимаемый мною объект, про который я утверждаю, что знаю, что это такое, могут оказаться *ложными*. Это в первую очередь зависит от природы самого объекта, но может произойти и в том случае, если я полностью перенесся в воображаемый мир, нахожусь в бреде или под воздействием сильнодействующих препаратов и т. д. Кроме того, предмет может быть не настоящим, а всего лишь искусным изображением, копией, моделью, куклой, чучелом, подделкой и т. д. Неясно, можно ли вменить в вину *именно мне* те ошибки в восприятии предметов, которые возникают при миражах, игре света, наличии зеркальных отражений и т. д. Пусть этот вопрос останется открытым.

Все эти сомнения могут быть существенно ослаблены тем или иным определенным (в большей или меньшей степени) способом, в каждом конкретном случае своим. Известны способы различения сна и бодрствования (ибо как в противном случае могли бы мы правильно употреблять соответствующие слова — обозначения этих состояний?), способы различения настоящего и подделки и т. д. Выражение сомнения *But is it a real one?* 'А это настоящее?' всегда (*должно быть*) на чем-то основано, то есть должны существовать причины для предположения, что данный предмет не является настоящим в смысле специфики самого предмета и особенностей его восприятия. Обычно суть подобных предположений однозначно определяется ситуацией и контекстом: так, щегол может быть чучелом, но не может быть миражем; оазис, в свою очередь,

¹³ Полевица — трава семейства злаковых. — *Прим. перев.*

может быть миражем, но никак не чучелом. Если контекст не проясняет истинного смысла предположения, тогда я должен уточнить: *How do you mean? Do you mean it may be stuffed or what? What are you suggesting?* 'Что вы имеете в виду? Что это чучело? Или вы имеете в виду не это? Каково ваше предположение?' Уловка метафизика состоит в том, что он спрашивает *Is it a real table? 'Это настоящий стол?'* (о предмете, для которого нет явного установленного способа быть поддельным или ложным), однако при этом не оговаривается, что с этим предметом может быть «не так»; поэтому в подобных случаях не понятно, в чем должно состоять доказательство, что предмет на самом деле является настоящим.¹⁴ Такое употребление слова *real* 'настоящий', 'реальный' может привести к мысли, что будто бы это слово имеет одно-единственное значение *real world* 'реальный мир', *material objects* 'материальные объекты'. Именно это и вызывает затруднения. Мы всегда должны стремиться к определению того, чему в каждом конкретном случае противопоставлено слово *real* 'настоящий'. Для того чтобы доказать, что предмет настоящий, я должен показать, чем (каким) этот предмет не является, тогда нам легче будет найти более конкретное слово, которое сможет заменить слово *real* 'настоящий'.

В обычной ситуации, если я достаточно предусмотрителен и говорю, что знаю, что это щегол, вопрос о том, «настоящий» ли это щегол, обычно не возникает. Если же этот вопрос все-таки возникнет, то мое доказательство, что это настоящий щегол, будет практически таким же, как если бы я просто доказывал, что это щегол, хотя здесь в ряде случаев большую силу могут иметь свидетельства других людей. Что же касается предусмотрительности, то она обычно не выходит за пределы разумного и зависит от конкретной ситуации. Надо отметить, что как в первом, так и во втором случае имеют силу следующие два положения:

(а) Неверно, что я всегда могу точно определить, щегол это или нет. Птица может сразу же улететь, и я либо вообще не буду иметь возможности рассмотреть ее, либо не смогу рассмотреть ее достаточно внимательно. Несмотря на то, что все это очевидно, некоторые все же пытаются доказать, что поскольку человек *иногда* не может знать или определить что-либо, то он *никогда* не может ничего знать.

¹⁴ На этом основаны трюки фокусников. «Пусть кто-нибудь убедится, что это самая обычная шляпа». Эти слова сбивают нас с толку и вызывают тревогу, так как, с одной стороны, мы склонны согласиться, что это действительно шляпа, а с другой стороны, не можем понять, в чем именно может заключаться подвох.

(b) «Уверенность в том, что это настоящее», есть *sub specie humanitatis*¹⁵ такое же доказательство, опровергающее возможность ошибки, как и многие другие. Если мы были уверены, что это щегол, и щегол настоящий, а потом оказалось, что это не так, то мы не говорим, что мы были не правы, называя птицу щеглом, а говорим, что не знали, как правильно ее назвать. Получается так, что не мы ошибаемся, а нас как бы подводят фразы: *What would you have said? 'А что бы вы сказали в подобном случае?', What are we to say now? 'Что мы должны сказать теперь?', What would you say? 'Что бы вы сказали?'*. Если я удостоверился, что это настоящий щегол (а не чучело, вопреки мнению других людей), то я вовсе не «предсказываю», когда говорю, что это настоящий щегол, ибо я не предполагаю, что в будущем под влиянием каких-либо обстоятельств моя точка зрения может измениться. Неверно было бы считать, что язык (или наиболее употребительный, «обыденный» язык) является всего лишь «предсказывающим», то есть что в дальнейшем всегда может обнаружиться ошибка. На самом деле что мы можем сделать в будущем, так это только *пересмотреть свои представления* о щеглах, о настоящих щеглах или о чем бы то ни было еще.

Обычная процедура использования языка может, по всей видимости, быть представлена следующим образом. Во-первых, ясно, что, когда мы воспринимаем комплекс признаков *C*, мы должны говорить: *This is C* или *This is a C* 'Это *C*, 'Это предмет из класса *C*'. Во-вторых, если в некоторой ситуации или в ряде ситуаций присутствие всего комплекса признаков *C* или наиболее типичной и характерной его части сопровождается появлением другого специфического или отличительного признака или комплекса признаков, что заставляет нас пересмотреть наши прежние представления относительно данного объекта, то мы должны разграничить случаи, когда мы произносим: *This looks like C, but in fact is only a dummy, etc.* 'Это похоже на *C*, но на самом деле это всего лишь чучело, модель и т. д.', от тех случаев, когда мы говорим *This is a real C (live, genuine, etc.)* 'Это настоящий *C* (живой, подлинный и т. д.)'. Итак, мы можем утверждать, что это настоящий *C*, только тогда, когда убедимся в наличии некоторого отличительного признака или комплекса признаков. Если бы мы могли использовать только одно выражение — *This is C* 'Это *C*', это привело бы нас к тому, что мы не смогли бы разграничить то, что является «настоящим, живым и т. д.», и то, что есть «чучело, модель и т. д.». Если некоторый отличи-

¹⁵ С точки зрения человеческой культуры (лат.) — Прим. перев.

тельный признак необязательно присутствует во *всех* ситуациях (а может быть выявлен, например, только с применением специальных тестов или же по прошествии некоторого времени и т. д.), то этот признак не может быть основным для процедуры различения между «настоящим» и «чучелом, моделью или плодом воображения». В подобных случаях мы можем только сказать: «Некоторые *C's* таковы, а некоторые — нет, некоторые удовлетворяют данному признаку, а некоторые — нет: в каждом конкретном случае интересно было бы определить, таковы ли *C's*, удовлетворяют ли они данному требованию. Однако, как бы мы ни ответили на этот вопрос, ясно, что все они *Cs*, настоящие *Cs'*».¹⁶ Если отличительный признак присутствует в (более или менее) определенных ситуациях, то высказывание *This is a real C* «Это настоящий *C*» не является предположением: в ряде случаев мы можем быть совершенно уверены в правильности утверждаемого.¹⁷

2. УВЕРЕННОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

Существует еще один способ подвергнуть сомнению мои свидетельства и доказательства (*Are you sure it's the right red?* «Вы уверены, что это именно тот красный цвет?»), который совершенно отличен от первого. Здесь мы должны проанализировать статью Дж. Уисдома «*Other minds VII*» (*Mind*, v. 52, № 207) об «особенностях знания субъектом его собственных ощущений». С точкой зрения Дж. Уисдома по этому вопросу я не могу согласиться.

Он отмечает, что выражения типа «быть влюбленным» содержат элемент предположения и поэтому должны быть оставлены за пределами рассмотрения, а вот утверждения типа *I am in pain* «Мне больно» в известном смысле не содержат никакого предположения. Человек, который сделал подобное утверждение, *не может* ошибиться, т. е. он, конечно, может сказать неправду (и тогда высказывание «Мне больно» будет ложным) или же *неправильно упот-*

¹⁶ Ср. затруднение в случае со снарками, некоторые из которых буджумы. (Автор имеет в виду поэму Льюиса Кэрролла «Охота на Снарка» (*Carroll L. The Hunting of the Snark*, 1876). (Песнь вторая (последний стих), Песнь третья (стихи 10 и 14), Песнь восьмая (стих 9). — *Прим. перев.*)

¹⁷ Иногда на основе *нового* отличительного признака мы на самом деле различаем не «*C's*» и «настоящие *C's*», а *C's* и *D's*. Существует основания для того, чтобы выбрать именно второе, а не первое. Все те случаи, когда мы используем слово *real* «настоящий», основаны на грозящем осложнениями и ошибками сходстве, точно так же как и случаи, когда мы используем слово *genuine* «истинный», которое во многих отношениях ведет себя аналогично слову *real* «настоящий».

ребить слово, произнести, например, вместо слова *rain* слово *rawp*, что может ввести в заблуждение окружающих, но ни в коем случае не самого говорящего, ибо он может или всегда заменять слово *rain* словом *rawp*, или же просто оговориться, подобно тому как я могу назвать Джона Альбертом, хотя прекрасно знаю, что это именно Джон. Итак, несмотря на то, что говорящий в этих двух случаях может «ошибиться», возможность ошибки для него самого полностью исключена.

Это рассуждение представляется мне неточным, хотя именно оно лежало в основе многих философских концепций. Оно подобно первородному греху, за который философы сами себя изгоняли из сада реального мира. При внимательном рассмотрении становится ясно, что человек может точно «описать, что он воспринимает», всего лишь в одном строго определенном случае. Согласно этой точке зрения, если я говорю: *Here is something red* ‘Здесь что-то красное’, то в основе этого высказывания должно лежать предположение или утверждение, что это на самом деле красный предмет, то есть предмет, который при обычном освещении всеми воспринимается как красный, и не только сегодня, но и завтра и т. д. — во всех этих случаях «содержится предположение». Когда я говорю: *Here is something which looks red* ‘Здесь предмет, который смотрится как красный’, при этом опять подразумевается или утверждается, что предмет должен восприниматься как красный всеми окружающими и т. д. Я не могу ошибиться (в строгом смысле этого слова) только в том случае, если выберу выражение *Here is something which looks red to me now* ‘Здесь предмет, который я в настоящий момент воспринимаю как красный’.

Надо, однако, отметить, что выражение *something that looks red to me now*, ‘предмет, который я в настоящий момент воспринимаю как красный’ не однозначно. Возможно, это можно показать с помощью курсива, хотя на самом деле это результат не столько эмпазы, сколько различий в интонации и выразительности, в наличии уверенности или сомнения. Сравним два высказывания: *Here is something that (definitely) looks to me (anyhow) red* ‘Здесь предмет, который я (определенно) *воспринимаю* (именно) как красный’ и *Here is something that looks to me (something like) red (I should say)* ‘Здесь предмет, который я воспринимаю как нечто (вроде бы) *красное* (я бы определил этот цвет так)’. В первом случае я совершенно уверен, что, как бы ни воспринимали этот предмет окружающие, каким бы ни был он «на самом деле», я в данный момент воспринимаю его именно как красный. Во втором случае уверенность отсутствует: предмет вроде бы красный, но я никогда не видел раньше подоб-

ного цвета, не могу точно описать его — или же я не совсем хорошо различаю цвета, не чувствую при этом уверенности, постоянно ошибаюсь и т. д. Конечно, в рассматриваемом случае наше рассуждение звучит несколько натянуто, поскольку идентифицировать красный цвет *очень* легко, его сразу определит любой из нас и здесь *невозможна ошибка*.¹⁸ Представить себе ситуацию, когда мы не сможем точно идентифицировать красный цвет, довольно трудно (хотя в принципе возможно). Но вот рассмотрим случай с фуксином.¹⁹ Итак, я говорю: «Похоже, что это фуксин, хотя я не могу с уверенностью отличить фуксин от розовато-лилового или от цвета гелиотропа». ²⁰ Конечно, я вижу, что этот цвет какой-то фиолетовый, но затрудняюсь сказать, фуксин ли это, — я просто в этом не уверен». В данном случае я не выясняю, ни как этот цвет воспринимается другими (*vs.* я воспринимаю), ни какой это цвет на самом деле (*vs.* я *воспринимаю*): я просто говорю, уверен ли я в том, что правильно идентифицирую этот цвет. В качестве примера, возможно, лучше было бы взять различение звуков или вкусовых ощущений, поскольку обычно мы никогда не чувствуем такой уверенности в показаниях своих органов чувств, как в случае зрительного восприятия. Описание любого вкусового ощущения, звука, запаха, цвета или эмоции сводится к указанию на то (или содержит указание на то), что мы раньше уже испытывали или встречали нечто подобное: любое дескриптивное слово является классифицирующим и основывается на узнавании и, следовательно, на памяти; только тогда, когда мы используем эти слова (или имена, или дескрипции, что в принципе одно и то же), мы на самом деле что-то знаем или имеем какое-то мнение. Однако наша память и результаты узнавания часто неточны и ненадежны.

Неуверенность может возникнуть в следующих двух случаях:

(а) Рассмотрим ситуацию, когда мы пробуем что-то на вкус и при этом говорим: «Я просто не знаю, что это такое, я никогда не пробовал раньше ничего, даже отдаленно напоминающего это... Нет, бесполезно, чем больше я думаю, тем больше я запутываюсь. Это нечто совершенно необычное, не похожее ни на что, с чем я сталкивался раньше». В этом случае я не могу найти в своем прошлом опыте ничего, с чем бы я мог сравнить свои настоящие впечатления:

¹⁸ Ср., однако, такую возможность: «Она думала, что рубашка белая, пока не выстирала ее».

¹⁹ Фуксин — краситель, кристаллы которого имеют темно-фиолетовый, а раствор — красный цвет. — *Прим. перев.*

²⁰ Гелиотроп — кустарники, полукустарники и травы, у цветков которых венчик фиолетового (или белого) цвета. — *Прим. перев.*

Я уверен, что это не похоже на все то, что я пробовал раньше, и я не могу сравнить его ни с чем, чтобы хоть как-нибудь описать. Рассматриваемый случай, который можно выделить как самостоятельный, является разновидностью таких ситуаций, когда я не вполне уверен, или вроде бы уверен, или почти уверен, что это, скажем, вкус лаврового листа. Во всех этих случаях я пытаюсь определить свои впечатления, ища в своем прошлом опыте нечто подобное, и описать настоящее впечатление путем указания на это сходство.²¹ Это может оказаться удачным в большей или меньшей степени.

(б) Второй случай отличается от первого, но обычно соединяется с ним. Здесь я как бы *наслаждаюсь* своими ощущениями, *всматриваюсь* в них для того, чтобы лучше их прочувствовать. Я не уверен, что это *на самом деле* вкус ананаса, но нет ли здесь *определенного* сходства: такой же резкий вкус, пощипывание языка, ощущение сладости — разве не характерно все это для вкуса ананаса? Или в другой ситуации: разве нет здесь какого-то оттенка зеленого, который и отличает розовато-лиловый от цвета гелиотропа? Возможно, все это выглядит довольно странно: я могу вглядываться все более и более внимательно, рассматривать снова и снова — не исключена возможность, что это просто какое-то необыкновенное мерцание, поэтому, например, вода и выглядит необычно. В наших ощущениях отсутствует четкость, и она может быть достигнута не с помощью (или не только с помощью) мышления, а при условии проявления большей пронизательности и умения идентифицировать показания органов чувств (хотя, безусловно, верно, что анализ других, более ярких случаев из нашего прошлого опыта может способствовать и действительно способствует правильной идентификации показаний органов чувств).²²

В случаях (а) и (б), а также тогда, когда они проявляются одновременно, мы не чувствуем полной уверенности при определении того или иного впечатления, мы не знаем, как его описать: каковы на самом деле наши чувства, действительно ли веселить окружающих довольно грустное занятие, действительно ли я, как это утверждаете вы, сердит на него или же мое состояние только отдаленно напоминает раздражение? Эти колебания, конечно, в определенном смысле имеют отношение к правильности употребления соответ-

²¹ Они могут быть связаны необязательно «сходством» (в обычном смысле этого слова), что, впрочем, тоже является достаточным основанием для использования их при описании одного и того же слова.

²² Похоже, что это охватывает случаи неясного, невнимательного и нецеленаправленного восприятия, которые противопоставлены случаям притупленного или нарушенного восприятия.

ствующего названия: но меня не столько (или совсем не) беспокоит возможность ввести в заблуждение окружающих, сколько возможность ошибки с моей стороны (в прямом смысле этого слова). Я склоняюсь к мысли, что хотя два выражения — *being certain* ‘думать определенно, что...’ и *being sure* ‘быть уверенным’ — в зависимости от описываемой ситуации могут использоваться как равнозначные, имеют тенденцию употребляться в случаях (а) и (b) соответственно. Выражение *being certain* ‘думать определенно, что...’ указывает на то, что мы полностью доверяем нашей памяти и правильности предшествующего опыта, в то время как выражение *being sure*, ‘быть уверенным’ указывает на то, что мы полностью доверяем показаниям наших органов чувств в данный конкретный момент. Вероятно, это можно проследить также в употреблении таких оборотов, как *to be sure* ‘быть уверенным’ и *certainly* ‘определенно’, а также *certainly not* ‘определенно, что не...’ и *surely not* ‘уверен, что не...’. Впрочем, цели настоящего исследования не предполагают анализа неуловимых нюансов выражений.

Мне могут возразить, что, даже когда я не знаю точно, как описать свои ощущения, я, тем не менее, *знаю*, что я *думаю* (и даже насколько уверен), что это розовато-лиловый цвет. Таким образом, я все-таки что-то знаю. Этот аргумент, однако, не является возражением по существу: *на самом деле* ведь я не знаю, действительно ли это розовато-лиловый цвет, правильно ли я его идентифицирую. Кроме того, возможна ситуация, когда я не буду даже знать, что и подумать: я могу быть полностью сбит с толку и окончательно поставлен в тупик.

Конечно, существует большое количество суждений, в которых отражены мои собственные ощущения (*sense — statements*), в истинности которых я (могу быть) полностью уверен. Например, в стандартной ситуации большинство людей практически всегда с определенностью воспринимают цвет как красный (или красноватый, или во всяком случае скорее красный, чем зеленый), и каждый может сказать, грустно ли ему (исключая случаи, когда это сделать достаточно трудно, например когда мы веселим окружающих); специалист по окраске тканей или модельер с уверенностью определит, что это (при данном освещении) цвет резеды или шоколадный цвет, хотя неспециалисту это будет сделать не так-то легко. В большинстве случаев мы можем быть полностью или совершенно уверены, а если такой уверенности нет, мы прибегаем к *приблизительным* описаниям ощущений: приблизительность описания и уверенность находятся в обратной зависимости. Но какова бы ни была в

каждом конкретном случае точность описания, во всех этих суждениях фиксируются собственные ощущения субъекта.

Мне кажется, что философы стремятся, если я не ошибаюсь, отмежеваться от проблемы уверенности и вероятности, которая занимает ученых-естествоиспытателей. И наоборот, проблема «реальности», которая привлекает философов, ученых-естествоиспытателей не интересует. Вся система измерений и стандартов, похоже, предназначена для того, чтобы уменьшить неуверенность и неопределенность и одновременно увеличить, насколько это возможно, точность. Слова *real* 'настоящий' и *unreal* 'ненастоящий' ученый-естествоиспытатель будет стремиться заменить различными эквивалентами, охватывающими большое количество разнообразных случаев: он спросит не *Is it real?* 'Это настоящее?', а скорее, *Is it denatured?* 'Это денатурировано?' или *Is it an allotropic form?* 'Это аллотропная форма?' и т. д.

Для меня не совсем ясно, что именно представляет собой класс суждений, в которых отражены собственные ощущения субъекта, и каковы особенности этих суждений. Ряд авторов, которые занимаются анализом подобных суждений, похоже, проводят различие между определением таких простых вещей и явлений, как красный цвет и боль, с одной стороны, и более сложных, таких, как любовь и столы — с другой. Но это не относится к Дж. Уисдому, поскольку он рассматривает высказывание *This looks to me now like a man eating poppies* 'Я воспринимаю это как человека, который ест мак' в одном ряду с высказываниями типа *This looks to me now red* 'Я воспринимаю это сейчас как красное'. Здесь Дж. Уисдом, бесспорно, прав: человека, который ест мак, может быть, иногда распознать «сложно», но по большей части он не представляет каких-либо особых трудностей для восприятия и идентификации, так же как и остальные предметы и явления. Почему бы нам не сказать, что суждения, в которых отражены собственные ощущения субъекта, не содержат «предсказаний»? Действительно, если я утверждаю: *This is a (real) oasis* 'Это (настоящий) оазис', не удостоверившись, что это не мираж, то я поступаю довольно неосмотрительно, но, если я удостоверился, что это не мираж, убедился в этом на собственном опыте (например, зачерпнул воды), тогда я ничем не рискую. Я, конечно, верю в то, что оазис и дальше будет оставаться оазисом, но если вдруг произойдет нечто сверхъестественное, *lusus naturae*,²³ то это не будет означать, что раньше я ошибался, называя оазис (настоящим) оазисом.

²³ Игра природы (лат.) — Прим. перев.

Рассмотрев точку зрения Дж. Уисдома, мы убедились в том, что было бы неправильно утверждать, что особенностью суждений, в которых отражены собственные ощущения субъекта, является то, что «когда они истинны и произносятся *X*-м, то *X* знает, что они истинны», ибо, например, *X* может думать, что вкус чая, который он только что попробовал, похож на вкус чая «Лапсанг»,²⁴ но сначала думать об этом без особой уверенности, а затем либо полностью в этом убедиться, либо совершенно от данной мысли отказаться. Дж. Уисдом выдвинул еще два положения, которые гласят, что «знать, что мне больно, и означает сказать, что мне больно, на основе того, что я испытываю боль», и что единственная возможность оказаться ложными для суждений, в которых отражен собственный опыт субъекта, представлена случаями, подобными тем, когда, «зная, что это Джек, я назвал его Альфредом, думая в тот момент, что его зовут Альфред или же совсем не задумываясь над этим». В обоих указанных случаях фразы «на основе того, что я испытываю боль» и «зная, что это Джек» представляют затруднение. Выражение «зная, что это Джек» означает, что я узнал в этом человеке Джека, в чем я мог бы усомниться и/или ошибиться: конечно, я необязательно должен был правильно назвать его *по имени* (и, следовательно, я вполне мог назвать его Альфредом), но я обязательно должен был правильно его опознать, например, как человека, которого я узнал, встречаясь с ним в Иерусалиме, иначе бы я *ввел в заблуждение самого себя*. Сходным образом, если выражение «на основе того, что я испытываю боль» означает только «когда я испытываю (то, что правильно описать как) боль», тогда для знания того, что мне больно, необходимо нечто большее, чем просто произнесение слов «мне больно», а это нечто большее, поскольку оно подразумевает узнавание и идентификацию, может, в принципе, вызывать сомнение и/или быть ошибочным, хотя, конечно, это маловероятно в таком сравнительно простом случае, как ощущение боли.

Возможно, стремление игнорировать проблему узнавания и идентификации вызвано тенденцией использовать после слова *know* 'знать' прямую объектную конструкцию. Дж. Уисдом, например, свободно использует такие выражения, как *knowing the feelings of another (his mind, his sensation, his anger, his pain)* 'знание чувств другого человека (его намерений, его ощущений, его раздражения, его боли)', как будто бы *он* знает все это. Однако, хотя мы действительно употребляем такие выражения, как *I know your feeling on the matter* 'Я знаю ваше отношение к этому', или *He knows his own mind* 'Он знает, чего он

²⁴ «Лапсанг» — сорт китайского чая, экспортируемого в Англию. — *Прим. перев.*

хочет', или (устар.) May I know your mind 'Могу ли я узнать ваши стремления?', все эти высказывания имеют узкую сферу применимости и едва ли оправдывают любое употребление глагола know 'знать' в прямой объектной конструкции. Слово feelings 'чувства' имеет здесь такое же значение, как и в выражении very strong feelings 'вполне определенное отношение', положительное или отрицательное, к какому-нибудь предмету или явлению: это слово, скорее, означает «views» 'взгляды' или «opinions» («very decided opinions») 'мнение' ('вполне определенное мнение'), а слово mind 'мысль, мнение' в указанном употреблении означает «intentions» 'намерения' или «wish» 'стремление', и это значение отмечено в словарях. Произвольное расширение употребления глагола know 'знать' в прямой объектной конструкции означало бы, что мы, например, на основе правильности выражения knowing someone's tastes 'знание вкусов кого-либо' начали бы говорить о knowing someone's sounds 'знания его [восприятия] звуков' или о knowing someone's taste of pineapple 'знания его [восприятия] вкуса ананаса'. Если, к примеру, речь идет о физическом ощущении, подобном усталости, то в этом случае использование выражения I know his feelings 'Я знаю его ощущения' невозможно.

Следовательно, когда Дж. Уисдом говорит о knowing his sensation 'знании его [другого человека] ощущений', он молчаливо предполагает, что это выражение эквивалентно выражению knowing what he is seeing, smelling, etc. 'знать, что он видит, какой запах чувствует и т. д.', подобно тому как выражение knowing the winner of the Derby 'знать победителя на скачках «Дерби»' означает knowing what won the Derby 'знать, кто победил на скачках «Дерби»'. Однако при этом для того, чтобы оправдать практику употребления прямого объекта после глагола know 'знать', выражение know what 'знать, что (кто)' трактуется неверно, ибо what 'что (кто)' понимается здесь как относительное местоимение, равнозначное that which 'то, что (тот, кто)', а это грамматически неправильное толкование. Конечно, слово what 'что (кто)' может быть относительным местоимением, однако в выражении know what you feel 'знать, что вы чувствуете' и know what won 'знать, кто победил' это вопросительное местоимение (лат. quid, а не quod). По этому параметру высказывание I can smell what he is smelling 'Я могу чувствовать тот же запах, который чувствует он' отличается от высказывания I know what he is smelling 'Я могу знать, какой запах он чувствует'. Выражение I know what he is feeling 'Я знаю, что он испытывает' не означает There is an x which both I know and he is feeling 'Существует x, которого я знаю, и он испытывает', а имеет следующий смысл: I know the answer to the question

«What he is feeling?» 'Я знаю ответ на вопрос: «Что он испытывает?»'. Аналогично, выражение I know what I am feeling 'Я знаю, что я испытываю' не означает, что существует нечто, что я одновременно и знаю, и испытываю.

Такие высказывания, как We don't know another man's anger in the way he knows it 'Мы не знаем раздражения другого человека так же, как он сам знает это' или He knows his pain in a way we can't 'Он знает свою боль так, как мы не можем ее знать', звучат чудовищно. Человек не может «знать свою боль»; он чувствует (а не знает) то, что является — или то, что называется, — раздражением (а не его раздражением), он знает, что чувствует раздражение. При этом предполагается, что человек всегда может идентифицировать свои ощущения, тем более сильные, хотя на самом деле это не совсем так, ср. высказывание «Сейчас я знаю, что это была ревность («гусиная кожа» или ангина). Раньше я не знал, что это такое, потому что я никогда не испытывал ничего подобного, но сейчас я уже хорошо знаю, что к чему».²⁵

Некритичное использование глагола know 'знать' в прямой объектной конструкции, вероятно, лежит в основе того взгляда, что впечатления, т. е. вещи, цвета, звуки и т. д., как бы называют себя сами или названы «по природе»: так, я могу прямо сказать, что я вижу: объект моего восприятия сам заявляет о себе, а я только это воспроизвожу, т. е. впечатления как бы сами «объявляют себя» или «идентифицируют себя» подобно тому, на что мы указываем в выражении It presently identified itself as a particular fine white rhinoceros 'Все это говорит о том, что это прекрасный экземпляр белого носорога'. Однако это всего лишь речевой оборот, идиома (во французском языке их больше, чем в английском): результаты восприятия бессловесны, и только наш прежний опыт может помочь нам идентифицировать их. Если мы все-таки будем считать, что впечатления сами «идентифицируют себя» (и что, следовательно, «узнавание» не есть результат нашей сознательной деятельности), тогда нам придется признать, что они разделяют исконное право всех говорящих говорить неясно или говорить неправду.

²⁵ Конечно, в ряде случаев после глагола know 'знать' может следовать прямой объект, а перед словом, обозначающим ощущение, может употребляться притяжательное местоимение, ср. He knows the town well 'Он хорошо знает город', He has known much suffering 'Он знал много горя', My old vanity, how well I know it 'Мое вечное тщеславие, как хорошо я его знаю' и возможность следующих тавтологических форм: Where does he feel his (-the) pain? 'Где он чувствует (свою) боль?' и He feels his pain 'Он чувствует (свою) боль'. Однако ни один из этих примеров не является подтверждением возможности употребления такого метафизического выражения, как He knows his pain (in a way we can't) 'Он знает свою боль (так как мы не можем ее знать)'.

3. ЕСЛИ Я ЗНАЮ, ТО Я НЕ МОГУ ОШИБИТЬСЯ

Последний момент, который должен быть рассмотрен в связи с вопросом *How do you know?* 'Откуда вы знаете?', должен быть связан с анализом следующего высказывания, обращенного к человеку, утверждающему, что он знает: *If you know you can't be wrong?* 'Если вы знаете, то вы не можете ошибиться'. Однако, если верно то, что было изложено выше, мы часто совершенно правы, когда говорим, что мы знаем, даже если впоследствии выясняется, что мы ошибались. Похоже, что на самом деле мы можем ошибаться всегда или практически всегда.

Итак, мы должны признать возможность ошибки. Впрочем, на практике это не приводит к большим затруднениям. Интеллект и ощущения человека подвержены ошибкам, но это их свойство не является неотъемлемым. Так, машины могут ломаться, но хорошие машины ломаются редко. Бесплезно возлагать надежды на «теорию знания», которая отрицает возможность ошибки: подобные теории всегда в конечном итоге все-таки приходят к признанию этого положения и одновременно к отрицанию существования знания.

Рассматриваемое высказывание должно прочитываться так: *When you know you can't be wrong* 'Когда вы знаете, вы не можете ошибиться'. Запрет на произнесение высказывания *I know it is so, but I may be wrong* 'Я знаю, что это так, но я могу ошибиться' носит такой же характер, как и запрет на высказывание *I promise I will, but I may fail* 'Я обещаю сделать это, но, возможно, не сделаю'. Если вы сознаете, что можете ошибиться, вы не должны говорить, что знаете, и, аналогично, если вы понимаете, что можете не сдержать слова, вы не должны раздавать обещаний. Конечно, осознание того, что вы можете ошибиться, не означает, что вы воспринимаете себя как целиком подверженную ошибкам личность, — просто у вас есть какие-то конкретные причины предполагать, что вы можете ошибиться именно в данной конкретной ситуации. Сходным образом *But I may fail* 'Но я, возможно, не сделаю этого' не означает непосредственно *But I am a weak human being* 'Но я не всемогущ' (это, фактически, было бы равносильно прибавлению к высказыванию слов «D. V.»²⁶): на самом деле это означает, что у меня есть конкретные основания предполагать, что я не сдержу слова. Практически всегда не исключена возможность, что человек может ошибиться или нарушить обещание, но сам по себе этот факт не является препятствием для употребления выражений *I know* 'Я знаю' и *I promise* 'Я обещаю' в тех ситуациях, когда мы их действительно употребляем.

²⁶ D. V. — *Deo volente* (лат.) — с Божьей милостью; дай Бог. — Прим. перев.

Рискуя злоупотребить вашим вниманием, я все-таки хочу рассмотреть сходство между выражениями I know 'Я знаю' и I promise 'Я обещаю' более подробно.²⁷

Когда я говорю *S is P* '*S* есть *P*', то при этом предполагается, что я по крайней мере так думаю или же, если у меня есть веские основания, что я в этом (полностью) уверен; когда я говорю I shall do *A* 'Я сделаю *A*', то при этом предполагается, что я по крайней мере надеюсь сделать это или же, если у меня есть веские основания думать, что я намерен это сделать. Если я всего лишь только думаю, что *S* есть *P*, то я могу добавить But of course I may (very well) be wrong 'Но не исключена возможность, что я могу и ошибаться'; если же я только надеюсь сделать *A*, то я могу добавить But of course I may (very well) not 'Хотя, конечно, я могу это и не сделать'. Когда я только думаю или только надеюсь, то при этом подразумевается, что при появлении каких-либо других фактов или при возникновении других обстоятельств ход моих мыслей может измениться. Когда я говорю «*S* есть *P*», хотя на самом деле так не думаю, то я говорю неправду, если же я говорю это, когда так думаю, но не вполне уверен, то я могу ввести в заблуждение, но в принципе не лгу. Когда я говорю I shall do it 'Я сделаю это', хотя на самом деле у меня нет ни малейшей надежды или намерения выполнить данное обещание, то я умышленно обманываю, если же я говорю это, когда еще не окончательно решил, сделаю ли это, то я ввожу в заблуждение, но нельзя сказать, что я обманываю.

Когда я говорю I promise 'Я обещаю', я делаю решительный шаг, ибо я не только объявляю о своих намерениях, но, произнеся это высказывание (выполнив своеобразный ритуал), одновременно связываю себя словом и как бы ставлю на карту свою репутацию. Аналогично, когда я говорю I know 'Я знаю', я тоже делаю решительный шаг. Однако выражение «Я знаю» не означает: «Со-

²⁷ Мы будем рассматривать употребление выражений I know 'Я знаю' и I promise 'Я обещаю' только в 1-м лице ед. числа индикатива. Анализ высказываний типа If I knew, I can't have been wrong 'Если я знал, то я не мог ошибиться' или If she knows she can't be wrong 'Если она знает, она не может ошибиться' ставит другие проблемы по сравнению с анализом высказывания If I («you») know I («you») can't be wrong 'Если я знаю («вы» знаете), я не могу («вы» не можете) ошибиться'. Аналогично, I promise 'Я обещаю' совсем не то же самое, что He promises 'Он обещает': если я говорю I promise 'Я обещаю', то я не говорю, что я *говорю*, что обещаю, а действительно *обещаю*, подобно тому, как если он говорит, что обещает, то он не говорит, что говорит, что обещает, — он просто обещает, в то время как, если я говорю He promises 'Он обещает', я (всего лишь) говорю, что он *говорит*, что обещает, — в том смысле глагола promise 'обещать', в котором я говорю, что я обещаю, только он может сказать, что он обещает. Я *описываю* его обещание, а свое обещание *даю* точно так же, как он дает *свое*.

стояние моего сознания превосходит даже самую сильную уверенность по той шкале, где располагается мнение и уверенность», ибо на этой шкале нет ничего выше полной уверенности. Точно так же и обещание не находится выше самого решительного намерения на той шкале, где располагаются надежда и намерение, ибо на этой шкале нет ничего выше, чем самое решительное намерение. Когда я говорю: «Я знаю», я как бы даю окружающим слово: я говорю им, что имею полное право утверждать, что *S* есть *P*.

Если я заявляю, что уверен, а впоследствии окажется, что я ошибался, в этом случае отношение ко мне окружающих будет иным по сравнению с тем, если бы я утверждал, что знаю. *Что касается меня*, то я могу быть уверен, но вы совсем необязательно должны разделять мое мнение; если вы, например, полностью доверяя мне, примете мое мнение как свое собственное, ответственность за это ложится на вас. Когда же речь идет о знании, то я не могу знать «со своей стороны», и, если я говорю: «Я знаю», я не думаю о том, примете вы или не примете сообщенную мной информацию (хотя, конечно, вы можете принять или не принять ее). Аналогично, когда я говорю, что решительно намерен сделать что-либо, я утверждаю это «со своей стороны», а вы, в соответствии с тем, как вы оцениваете мою решимость и мои шансы на успех, можете или не надеяться на это, или же полностью положиться на меня и действовать дальше уже в соответствии с этим, но, если я скажу, что обещаю, у вас уже *есть полное право* действовать, полагаясь на мое обещание, если вы этого захотите. Если я скажу, что знаю или обещаю, а вы не отнесетесь к моим словам с доверием, этим вы можете меня оскорбить. Все мы *чувствуем*, что между даже таким сильным утверждением, как *I absolutely sure* 'Я абсолютно уверен' и высказыванием *I know* 'Я знаю' все равно существует огромное различие — такое же различие существует между даже таким сильным утверждением, как *I firmly and irrevocably intend* 'Я решительно намерен' и высказыванием *I promise* 'Я обещаю'. Если кто-то пообещал мне, что сделает *A*, то я, опираясь на данное мне обещание, сам могу дальше пообещать что-нибудь еще, подобно тому, как если кто-то сказал мне «Я знаю», я имею право говорить, что я тоже знаю, уже «из вторых рук». Право говорящего утверждать, что он знает, может передаваться точно так же, как передаются другие права. Следовательно, если в рассматриваемом случае мое утверждение знания было неосмотрительным, то я *буду нести ответственность* за то, что ввел вас в заблуждение.

Когда вы говорите, что знаете что-либо, наиболее непосредственная реакция собеседника принимает форму вопроса *Are you in a position to know?* 'До-

статочно ли у вас оснований для утверждения знания?»; в подобных случаях вы должны показать, что вы не просто уверены в правильности сообщаемого, но что оно входит в сферу вашего знания. В том случае, когда вы обещаете, реакция собеседника может быть сходной, ведь ваше решительное намерение сделать что-либо не является само по себе достаточным аргументом, здесь надо показать, что у вас есть основания для обещания, т. е. что все в вашей власти. В отношении надежности подобных обоснований в двух указанных случаях философов мучают сомнения, вызываемые осознанием того, что мы не можем предвидеть будущее. Некоторые философы придерживаются того мнения, что мы никогда, или практически никогда, не должны говорить, что мы что-нибудь знаем, за исключением, возможно, своих собственных ощущений в данный конкретный момент; другие же философы утверждают, что мы никогда, или практически никогда, не должны обещать, — возможно, за исключением того, что действительно в нашей власти в настоящий момент. В обоих рассуждениях присутствует одна и та же мысль: если говорящий знает, то *он не может ошибиться*, следовательно, он не имеет права говорить, что он знает, а если он обещает, то, поскольку он может *не сдержать* своего слова, он не имеет права говорить, что он обещает. Эта мысль в своей основе опирается на то, что люди не всегда способны делать правильные предсказания, как будто бы предсказания действительно могут обеспечить нам знание будущего. В обоих случаях это ошибочно по двум параметрам. Как было показано выше, мы можем быть вполне правы, говоря, что знаем или обещаем, хотя, конечно, в принципе, все «может» измениться, и, если бы это произошло, мы бы оказались в довольно затруднительном положении. Кроме того, философами не принимается во внимание, что когда говорящий утверждает, что какая-либо информация входит в область его знаний или что все в его власти, то условия, которые должны при этом выполняться, относятся не к будущему, а к *настоящему и к прошлому* — в отношении будущего не требуется ничего, кроме простой *веры*.²⁸

Однако мы интуитивно ощущаем, что выражение I know 'Я знаю' употребляется несколько иначе, чем выражение I promise 'Я обещаю'. И это действительно так. Представим себе, что положение дел меняется, тогда окружающие

²⁸ Если высказывание Figs never grow on thistles 'Инжир никогда не растет на чертополохе' интерпретировать как None ever have and none ever will 'Ни одна ягода инжира еще не выросла и никогда не вырастет на чертополохе', то ясно, что в этом случае я *знаю*, что этого никогда не было, и только верю, что этого никогда не будет.

в одном случае могут сказать *You're proved wrong, so you didn't know* 'Оказалось, что вы ошибались, следовательно, вы на самом деле не знали', а в другом случае они могут отметить: *You've failed to perform, although you did promise* 'Вы не сделали, хотя и обещали'. Я считаю, что этот контраст является скорее кажущимся, чем настоящим. Смысл, в котором вы «пообещали», состоит в том, что вы *сказали*, что обещаете (сказали: «Я обещаю»), и, аналогично, вы *сказали*, что знаете. В этом и заключается суть обвинения против вас, если окружающие вам поверили и были введены в заблуждение. Точно так же может обнаружиться, что у вас никогда не было намерения сделать что-либо или что у вас были конкретные основания думать, что вы не сможете сделать этого (что могло быть очевидно и для окружающих), поэтому в другом «смысле» слова *promise* 'обещать' вы не могли обещать сделать это и, следовательно, *действительно не обещали*.

Рассмотрим теперь употребление других выражений, аналогичных выражениям «Я знаю» и «Я обещаю». Предположим, что я произнес не «Я знаю», а *I swear* 'Я клянусь'. Если ситуация изменится, тогда мы, как и в случае с обещанием, должны будем сказать *You did swear, but you were wrong* 'Вы поклялись, но не выполнили своей клятвы'. Теперь предположим, что вместо «Я обещаю» я произнес *I guarantee* 'Я гарантирую' (например, вашу безопасность в случае нападения). Если я не сдержу свое слово, то вы можете так же, как в случае со знанием, заявить: *You said you guaranteed it, but you didn't guarantee it* 'Вы сказали, что гарантируете это, но на самом деле вовсе не гарантировали'.²⁹ Картина в целом может быть, пожалуй, представлена следующим образом. В случаях «ритуального» поведения, подобных описанному, «правильным» является такое поведение, когда я произношу вполне определенное высказывание в некоторой *стандартной* ситуации, например, говорю «да» в присутствии священника или чиновника-регистратора, когда я, будучи неженатым или вдовцом, стою рядом с женщиной, незамужней или вдовой, причем мы не находимся в близком родстве; ср. также такие случаи, когда я говорю «Я отдаю» при условии, что должен что-то отдать, или же говорю «Я приказываю»,

²⁹ «Клянусь», «гарантирую», «даю слово», «обещаю» — все эти слова охватывают как случаи знания, так и обещания, что подтверждает сходство между ними. Конечно, все эти слова слегка отличаются друг от друга: например, «знаю» и «обещаю» в известном смысле являются «несколько неопределенными» выражениями, в то время как клятва всегда *конкретна*, а когда я гарантирую, то я гарантирую, что, если возникнут какие-то неблагоприятные и достаточно нежелательные обстоятельства, я *предприму определенные действия*, чтобы изменить ситуацию.

когда наделен определенной властью, и т. д. Однако, если ситуация не будет удовлетворять указанным параметрам (например, я уже женат, не должен ничего отдавать, моя власть не достаточна для того, чтобы приказывать), то мы, вероятнее всего, будем испытывать сомнения, пытаясь ее оценить, — сходные чувства испытывал Бог, когда узнал, что святой окрестил пингвинов.³⁰ Мы можем называть человека двоеженцем, но его второй брак, по сути дела, не является браком (это «нулевой», или «пустой», брак — удобное выражение для того, чтобы не говорить определенно — «женился» или «не женился» человек); мой коллега действительно «приказал» мне что-то сделать, но, поскольку он не имеет надо мной никакой власти, он не мог «приказать» мне; он действительно предупредил меня, что это потребует больших усилий, но или он ошибался, или же я знал об этом больше, чем он, поэтому в определенном смысле он не мог предупредить меня и, следовательно, не предупредил.³¹ Мы колеблемся, пытаясь решить, какое высказывание более правильно: He didn't order me 'Он не приказал мне', He had no right to order me 'Он не имел никакого права приказывать мне' или He oughtn't to have said he ordered me 'Он не должен был говорить, что приказывает мне'. Точно такое же сомнение мы испытываем в отношении следующих высказываний: You didn't know 'Вы не знали', You can't have known 'Вы не могли знать' и You had no right to say you knew 'Вы не имели права говорить, что знаете' (эти высказывания, возможно, немного отличаются друг от друга в зависимости от того, что именно оказывается неправильным). Основные моменты являются здесь общими: (а) вы сказали, что знаете; вы сказали, что обещаете; (б) вы ошиблись; вы не выполнили своего обещания. Остается неясным только, как надо рассматривать основные формы — «Я знаю» и «Я обещаю».

Принять, что выражение «Я знаю» является дескриптивным, значило бы увеличить число дескриптивных ошибок (descriptive fallacy), столь распространенных в философии. Даже если какой-то язык и является в настоящее время полностью дескриптивным, то в своих истоках язык таковым не был, а боль-

³⁰ Автор имеет в виду описанный А. Франсом в романе «Остров пингвинов» эпизод крещения пингвинов святым Маэлем: «Когда вести о крещении пингвинов дошли до рая, они вызвали там не радость, не печаль, а крайнее удивление. Сам Господь не знал, как быть». (А. Франс. Собрание сочинений в 8 тт., т. 6. М., 1959, с. 31) — *Прим. перев.*

³¹ Высказывание You can't warn someone of something that isn't going to happen 'Вы не можете предупредить кого бы то ни было о каком-либо событии, если оно не должно произойти' аналогично высказыванию You can't know what isn't true 'Вы не можете знать это, если это неверно'.

шинство языков и до сих пор не являются таковыми. Произнесение явно «ритуального» высказывания в соответствующей ситуации является не *описанием* действия, а его непосредственным осуществлением (I do 'Я делаю'); в ряде случаев эту функцию могут выполнять интонация, экспрессивное выделение слов или пунктуация, когда эти средства указывают на то, что мы используем язык в определенных целях (I warn 'Я предупреждаю', I ask, 'Я спрашиваю', I define 'Я определяю'). Подобные выражения, строго говоря, не могут быть ложными, но могут «содержать» ложь. Так, например, когда я говорю, что обещаю, при этом предполагается, что я намерен выполнить обещание, хотя на самом деле это может быть и не так.

Если все эти обсуждаемые нами вопросы возникают в обычной ситуации, когда мы спрашиваем *How do you know that this is a case of so and so?* 'Откуда вы знаете, что это то-то и то-то?', можно ожидать, что они возникнут также и в тех случаях, когда мы говорим *I know he is angry* 'Я знаю, что он раздражен'. Но поскольку здесь существует ряд специфических трудностей, надо постараться рассмотреть по крайней мере те моменты, которые не являются специфическими, что помогло бы нам решить вопрос в целом.

Я сразу должен предупредить, что буду рассматривать случаи, связанные только с чувствами и эмоциями, особенно с тем состоянием человека, когда он раздражен. Очевидно, что ситуация, когда мы знаем, что другой человек думает, что дважды два четыре или что он видит мышь, отличается по ряду важных параметров от той ситуации, когда мы знаем, что человек раздражен или голоден, хотя, несомненно, между этими ситуациями существует и сходство.

Мы порой говорим, что знаем, что другой человек раздражен, и, конечно, легко отличим эти случаи от тех, когда мы говорим, что только думаем, что он раздражен. Мы понимаем, что бессмысленно было бы полагать, что мы *всегда* о любом человеке можем сказать, раздражен ли он, или что мы всегда можем это выяснить. Может возникнуть ситуация, когда мне трудно будет даже предположить, что чувствует другой человек, кроме того, встречаются разные *типы* людей и существует множество таких индивидов, о которых я (поскольку мы разные люди) никогда не смогу сказать ничего определенного. Вам будет, вероятно, достаточно трудно определить чувства членов королевской семьи или, например, факиров, бушменов, воспитанников Винчестерского колледжа или просто эксцентричных личностей. Если вы не имели продолжительного знакомства или не были в тесных отношениях с этими людьми, вы вряд ли узнаете, каковы их чувства, особенно в тех случаях, когда эти люди по той или иной

причине не смогут или не захотят сообщить вам об этом. Или, к примеру, чувства человека, которого вы ни разу раньше не встречали, — они могут быть какими угодно, а ведь вы совсем не знаете характера и вкусов этого человека, ни разу не наблюдали за его поведением и т. д. Его чувства индивидуальны и неуловимы — люди могут быть очень непохожи друг на друга! Осознание существования различий между людьми и приводит к тому, что мы говорим: You never know 'Никогда нельзя [ничего] знать' и You never can tell 'Никогда нельзя ничего сказать [точно]'.

Итак, здесь даже больше, чем в случае со щеглом, многое зависит от того, насколько близко мы знакомы с определенным типом людей и конкретно с данным человеком, с его поведением в сходных ситуациях. Если мы не являемся близкими знакомыми, вряд ли мы решимся сказать, что мы знаем, впрочем, от нас это и не требуется. С другой стороны, если у нас есть необходимый опыт, в ряде случаев мы можем утверждать, что мы знаем: так, мы достаточно точно можем определить, что какой-нибудь наш родственник рассержен больше, чем когда бы то ни было.

Кроме того, мы должны иметь личный опыт переживания тех эмоций и чувств, о которых идет речь, например, в данном случае — знать, что такое раздражение. Для того чтобы определить, какие чувства вы испытываете, я должен быть способен представить себе (догадаться, понять, почувствовать), какие чувства вы испытываете. Очевидно, что для этого требуется нечто большее, чем просто умение распознать признаки раздражения у окружающих, — я должен сам в прошлом обязательно испытать это чувство.³²

Здесь легко может возникнуть искушение последовать примеру Дж. Уисдома и провести различие между (1) физическими симптомами и (2) самим чувством или ощущением. Так, если в случае, подобном рассматриваемому,

³² Мы говорим, что не знаем, что значит испытывать такие чувства, какие испытывает царь, но в то же время прекрасно знаем, что будет испытывать наш друг, если его обидят. В этом обычном (приблизительном и далеко не полном) смысле выражения knowing what it would be like 'знать, на что это может быть похоже' мы действительно часто знаем, что значит чувствовать себя, как вот этот человек, готовый к решительным действиям, но в то же время совершенно не знаем (не можем даже предположить или представить себе), что значит чувствовать себя, как кот или как таракан. Однако, конечно, мы не можем знать чувства и переживания вот этого человека, готового к решительным действиям, если вслед за Дж. Уисдомом придерживаться того специфического толкования выражения know what 'знать, что', когда оно рассматривается как эквивалентное выражению directly experience that which 'непосредственно испытывать то, что'.

меня спросят: *How can you tell he's angry?* 'Как вы определили, что он раздражен?' — я должен ответить: *From the physical symptoms*, 'По внешним проявлениям' (букв.: 'По физическим симптомам'), а если *самого этого человека* спросят, как он определил, что он раздражен, он должен ответить *From the feeling* 'Я это чувствую'. Этот подход, однако, является упрощенным и поэтому представляет известную опасность.

Во-первых, слово *symptoms* 'симптомы' (а также слово *physical* 'физические') используется здесь далеко не так, как мы обычно используем его, и это приводит к заблуждению.

Слово «симптомы» заимствовано из языка врачей.³³ Оно используется по преимуществу (или только) в тех случаях, когда то, что мы рассматриваем, является нежелательным («симптомы» — это, например, скорее симптомы начинающейся болезни, чем долгожданного выздоровления; отчаяния, а не надежды; печали, а не радости), — следовательно, слово «симптомы» более эмоционально окрашено, чем слово *signs* 'признаки'. Все это, впрочем, достаточно тривиально. По-настоящему значащим фактом является то, что мы говорим о симптомах или признаках только в тех случаях, когда в принципе можно наблюдать и само явление непосредственно. Конечно, часто бывает трудно определить, где кончаются признаки или симптомы и начинается само явление, однако всегда предполагается, что граница между ними существует. Слова «симптомы» и «признаки» могут быть употреблены только тогда, когда, как в случае болезни, само явление может быть *скрыто*: например, человек может уже переболеть или же заболеть серьезно только через некоторое время, кроме того, болезнь может протекать в легкой или скрытой форме и т. д. Однако, когда мы наблюдаем уже само явление непосредственно, мы больше не говорим о признаках и симптомах. Когда мы говорим о «признаках шторма», мы имеем в виду признаки или надвигающегося, или недавно закончившегося, или отдаленного шторма, но мы в любом случае не наблюдаем этот шторм непосредственно.³⁴

³³ В настоящее время врачи сами разграничивают «симптомы» и «(физические) признаки», но это различие, вообще говоря, проводится не вполне четко и не является релевантным для целей настоящего изложения.

³⁴ Существует ряд несколько более сложных случаев. Признаки приближающейся инфляции, например, имеют ту же самую природу, что и сама инфляция, просто они не столь явно выражены. В подобных случаях особенно актуален вопрос о том, где кончаются признаки или «тенденции» и начинается само явление или состояние; кроме того, в случае инфляции, а также в случае некоторых болезней мы можем иногда про-

Слова «симптомы» и «признаки» сходны с такими словами, как *traces* 'следы (чего-либо)' и *clues* 'улики'. Когда вы пытаетесь установить, кто убийца, вы рассматриваете как улики только то, что действительно является или может являться уликами, — в этом качестве не могут выступать ни свидетельства очевидцев, ни признание человека, совершившего преступление. Сыр может не находиться в поле нашего зрения, но могут быть какие-то его «следы»; однако мы не говорим о следах тогда, когда сыр у нас перед глазами («следов» как таковых здесь нет).

По этой причине представляется неправильным рассматривать, как это обычно делается, все характерные черты любого явления недифференцированно, подводя их под общую категорию «признаков» или «симптомов», хотя, конечно, иногда случается так, что то, что в соответствующих обстоятельствах может быть названо характеристиками, следствиями, проявлениями, разновидностями, последствиями определенных явлений, в других обстоятельствах может быть названо также признаками или симптомами. В парадоксе Уисдома (*Other Minds III*) этот факт игнорируется, что и приводит к ошибке. Дж. Уисдом говорит, что, когда мы заглядываем в буфет и видим хлеб, дотрагиваемся до него или даже пробуем на вкус, перед нами налицо «все признаки» хлеба. С этим нельзя согласиться: вид или вкус хлеба вовсе не является его признаками или симптомами. Не вполне ясно, как должны понять окружающие мое сообщение о том, что я нашел в буфете признаки хлеба: хлебу не присуща скрытая форма «существования» (а если он помещен в закрытую хлебницу, мы не видим никаких его следов), хлеб не представляет собой развивающегося явления (мы не говорим о «начинающемся хлебе» и т. д.), он не имеет определенных закрепленных за ним «признаков». Возможно, окружающие истолкуют мое сообщение так, что я нашел следы хлеба, например, крошки, или же обнаружил признаки того, что в буфете когда-то хранили хлеб, но никто никогда не подумает, будто я хочу сказать, что я видел, пробовал или дотрагивался до хлеба.

Когда мы видим нечто похожее на хлеб, но еще не пробовали его, мы говорим: *Here is something that looks like bread* 'Здесь есть нечто, что выглядит как хлеб'. Если это все-таки окажется не хлеб, мы можем сказать: *It tasted like bread, but actually it was only bread-sybstitution* 'На вкус это напоминало

должать говорить о признаках и симптомах даже тогда, когда очевидно, что соответствующее явление или состояние уже имеет место, и делать это потому, что само это состояние недоступно для непосредственного наблюдения.

хлеб, но это был всего лишь суррогат' или It exhibited many of the characteristic features of bread, but differed in important respects: it was only a synthetic imitation 'По многим признакам это напоминало хлеб, но отличалось от него по ряду важных характеристик: это была всего лишь искусная имитация'. Таким образом, в подобных случаях мы совсем не используем слова *sign* 'признак' и *symptom* 'симптом'.

Итак, поскольку слова *sings* 'признаки' и *symptoms* 'симптомы' имеют ограниченное употребление, становится очевидно, что, когда говорят, что мы видим только «признаки» или «симптомы», при этом подразумевается, что мы не имеем дело с *самим явлением* (даже если налицо «все признаки»). Так, если мы отметим, что есть *ряд симптомов* того, что тот или иной человек раздражен, это высказывание будет нести в себе дополнительный смысл. Но так ли мы на самом деле говорим? Действительно ли мы не можем увидеть ничего иного, чем только *симптомы* того, что другой человек раздражен?

«Симптомы» или «признаки» того, что человек раздражен, — это всегда признаки *зарождающегося* или *подавляемого* раздражения. Если человек уже не может сдержаться, тогда мы говорим о другом — о выражении или проявлении соответствующей эмоции. Сдвинутые брови, бледность, дрожь в голосе еще могут быть симптомами раздражения, а вот резкая отповедь или гневное выражение на лице являются уже не симптомами, а формами проявления раздражения. «Симптомы», по крайней мере обычно, противопоставлены не переживанию человеком соответствующей эмоции, а, скорее, проявлению этой эмоции. Так, когда мы имеем дело всего лишь с симптомами, мы можем сказать только, что *думаем*, что человек раздражен или начинает сердиться, но, когда человек уже не сдерживает себя, мы говорим, что *знаем*.³⁵

³⁵ Мне могут возразить, что иногда мы употребляем выражение *I know* 'Я знаю' там, где его, возможно, надо заменить выражением *I believe* 'Я думаю', например, в том случае, когда я говорю *I know he's in, because his hat is in the hall* 'Я знаю, что он там, потому что его шляпа в прихожей'. Если глагол *know* 'знать' может свободно употребляться вместо глагола *believe* 'думать, что', почему мы должны считать, что между ними существует фундаментальное отличие? Но весь вопрос в том, какое значение имеют здесь выражения *prepared to substitute* 'готовы заменить' и *loosely* 'свободно'. Мы «готовы заменить» глагол *believe* 'думать' глаголом *know* 'знать' не потому, что они *равнозначны*, а потому, что утверждения со словом *believe* 'думать' являются более слабыми и потому предпочтительнее в тех случаях, когда мы не можем сделать более сильное утверждение без соответствующей проверки. Во многих ситуациях наличие шляпы действительно может служить доказательством присутствия ее владельца, однако только по недомыслию этот признак может использоваться как доказательство во время судебного разбирательства.

Слово *physical* 'физический', как оно используется Дж. Уисдомом — в противопоставлении к слову *mental* 'ментальный', — на мой взгляд, тоже употребляется неправильно, хотя я не думаю, что в рассматриваемом случае это может вызвать большие осложнения. Дж. Уисдом явно не хочет назвать *физическими* человеческие ощущения, которые он рассматривает как типичные примеры «ментальных» событий. Однако при этом не учитывается реальное употребление соответствующих слов. Существует множество физических ощущений — например, головокружение, голод или усталость; некоторые врачи рассматривают их как физические признаки различных болезней. О ряде чувств и ощущений, особенно об эмоциях — например, о ревности или раздражении, — мы не можем говорить ни как о ментальных, ни как о физических — они приписываются не *разуму*, а *сердцу*. При описании некоторого ощущения как ментального мы употребляем слово, которое обычно используется для обозначения физического ощущения, в несколько ином смысле: это, например, происходит, когда мы говорим о том, что у нас устала голова (*about 'mental' discomfort or fatigue* (букв.: 'о «ментальном» дискомфорте или усталости').

Таким образом, понятно, что состояние раздражения предполагает не только наличие симптомов и переживание соответствующих ощущений — необходимо также и их проявление. Следует к тому же отметить, что эти ощущения связаны с их проявлением единственным способом. Когда мы раздражены, у нас есть импульс (ощущаемый нами самими) совершать действия определенного рода, и, если мы не подавляем раздражения, мы действительно совершаем эти действия. Существует особая внутренняя связь между эмоцией и обычным способом ее проявления, которую, поскольку сами не раз бывали раздражены, мы хорошо знаем. Обычные способы проявления раздражения *присущи* раздражению точно так же, как различным эмоциям соответствует определенный тон речи (так, мы можем говорить оскорбленным тоном и т. д.). Обычно не бывает так,³⁶ чтобы мы испытывали раздражение и не имели при этом импульса, хотя бы и самого слабого, естественным образом это раздражение проявить.

Более того, кроме естественных проявлений раздражения, существуют еще и естественные *поводы* (*occasions*) для раздражения, о которых мы тоже знаем по собственному опыту и которые сходным образом связаны особой внут-

³⁶ Если мы признаем существование (составляющих интерес психоаналитиков) неосознанных ощущений и ощущений, проявляющихся парадоксальным образом, тогда нам, естественно, потребуется новый язык.

ренной связью с состоянием раздражения. Классифицировать их как «причины» («causes») в некотором якобы вполне очевидном и «внешнем» смысле этого слова было бы столь же бессмысленно, как и рассматривать проявления раздражения как «следствие» («effect») соответствующей эмоции тоже в некотором якобы вполне очевидном и «внешнем» смысле слова «следствие». Точно так же бессмысленно утверждать, будто существуют три полностью независимых друг от друга феномена: (1) причина или повод, (2) ощущение или эмоция, (3) следствие или проявление, — которые все вместе «по определению» с необходимостью присущи раздражению; впрочем, это утверждение, возможно, в меньшей степени способно затемнить сущность дела, чем предыдущие.

Возникает искушение сказать, что «состояние раздражения» во многом похоже на «состояние депрессии», которое тоже может быть описано как некоторый набор событий, включая повод, симптомы, ощущения, внешнее проявление и, возможно, еще ряд других факторов. Спрашивать *What, really, is the anger itself? 'А само раздражение — что это такое?'* столь же нелепо, как пытаться свести описание «болезни» или «болезненного состояния» к какой-нибудь одной выбранной характеристике («функциональное расстройство») («functional disorder»). То, что мы не можем испытать ощущений другого человека (например, испытать его раздражение — если не принимать во внимание вводимые Дж. Уисдомом различные виды телепатии),³⁷ — достаточно очевидно, и, следовательно, нет смысла говорить о «предсказании», нет необходимости говорить, что «это» («это чувство»)³⁸ и *есть раздражение*. Совершенно ясно, что набор событий, каковы бы ни были его точные характеристики, является особым для «чувств» (эмоций) — он ни в коем случае не совпадает с описанием болезней: возможно, именно это заставляет нас утверждать, что, пока мы сами не испытали какого-либо чувства, мы не сможем определить, испытывает ли его кто-нибудь другой. Более того, именно то, что мы придер-

³⁷ Существует, как мне кажется, феномен, который иногда на самом деле имеет отношение к нашему знанию ощущений других людей, но он отличается от понятия телепатии, вводимого Дж. Уисдомом. Мы действительно говорим, например, о том, что «чувствуем недовольство другого человека», или отмечаем, например, что «его раздражение ощущалось», и это, несомненно, имеет отношение к сути дела. Но то ощущение, которое мы испытываем, хотя это действительно самое настоящее ощущение, является в данном случае не раздражением или недовольством, а некоторым другим, *соответствующим им* ощущением.

³⁸ «Чувства», то есть ощущения, которые возникают у нас, когда мы раздражены, такие, например, как учащенное сердцебиение или мускульное напряжение, не могут быть сами по себе названы «чувством раздражения».

живаемся общей модели, позволяет нам говорить, что мы «знаем», что другой человек раздражен, даже если мы становимся свидетелями проявления только отдельных частей модели, ибо части набора событий связаны между собой гораздо более тесным образом, чем, скажем, брайтонские репортеры³⁹ с пожаром на Флит-стрит.^{40: 41}

Сила существующей модели такова, что сторонние наблюдатели могут иногда давать человеку корректирующие указания касательно его собственных эмоций. Так, человек может согласиться, что на самом деле был не столько раздражен, сколько оскорблен или ревнив, или даже что на самом деле он не был огорчен, а это ему только казалось. В этом нет ничего удивительного, особенно если учесть тот факт, что человек учится описывать свое состояние при помощи выражения *I am angry* 'Я раздражен' сначала (а) путем фиксации повода, симптомов, проявления эмоции, когда другие говорят «Я раздражен» о себе, а также (б) поскольку окружающие, отмечая особенности *его поведения* в определенных ситуациях, говорили ему *You are angry* 'Ты раздражен', давая таким образом указания, что в аналогичных ситуациях он должен говорить *I am angry* 'Я раздражен'. В целом определить ощущения и эмоции, если мы действительно можем фиксировать их наличие, очень трудно, даже труднее, чем, скажем, определить вкусовые ощущения, которые, как было отмечено выше, обычно описываются непосредственно (например, вкус смолы, ананаса и т. д.).

Кроме того, все слова, обозначающие эмоции, являются не вполне определенными по двум параметрам, что в свою очередь может вызвать дополнительные сомнения в отношении того, «знаем» ли мы, что другой человек раздражен. Эти слова описывают достаточно широкий и не вполне определенный набор ситуаций, а модели событий, которые они характеризуют, являются достаточно сложными (хотя очень часто они хорошо известны и определить их нетрудно), поэтому некоторая более или менее важная характеристика может отсутствовать; вот тогда и возникает сомнение, как мы должны классифицировать тот или иной не совсем ярко выраженный случай. Мы хорошо понимаем, что, когда мы говорим, что *знаем*, мы можем быть поставлены перед необходимостью это *доказать*, и тогда неопределенность терминологии явится для нас большой помехой.

³⁹ Брайтон (Brighton) — приморский курорт в графстве Суссекс. — *Прим. перев.*

⁴⁰ Флит-стрит (Fleet Street) — улица в Лондоне, на которой находятся редакции большинства крупнейших газет. — *Прим. перев.*

⁴¹ Поэтому бессмыслен вопрос *How do I get from the scowl to the anger? 'Как от сердитого взгляда я перешел к раздражению?'*

Итак, возможно, уже было сказано достаточно для того, чтобы показать, что большинство трудностей, с которыми мы сталкиваемся, когда говорим, что знаем, что это щегол, принимает еще большие размеры, когда мы хотим сказать, что знаем, что другой человек раздражен. Кроме того, возникает ощущение, и я думаю, оно вполне оправданно, что в последнем случае существует еще одна трудность совершенно особого рода.

Похоже, что с разрешением этого затруднения связан ряд вопросов, которые были поставлены Дж. Уисдомом в самом начале серии его статей. Сложность заключается в том, не могут ли у человека проявляться все симптомы (признаки и т. д.) раздражения, проявляться даже *ad infinitum*,⁴² хотя при этом (на самом деле) человек не раздражен. Надо напомнить, что Уисдом рассматривает этот вопрос, с определенной, без сомнения, долей условности, как трудность, аналогичную той, которая может возникнуть относительно определения реальности любого «материального объекта». Однако на самом деле здесь существует ряд самостоятельных проблем.

Как мне кажется, сомнения могут возникнуть в трех различных случаях:

1. Когда по всем признакам человек раздражен, не может ли он на самом деле действовать под влиянием какой-нибудь другой эмоции? Хотя этот человек обычно находится в том же эмоциональном состоянии, в каком находимся мы в тех случаях, когда раздражены, и обычно ведет себя в состоянии раздражения точно так же, как и мы, в данной конкретной ситуации он может вести себя необычно.
2. Когда по всем признакам человек раздражен, не может ли он на самом деле действовать под влиянием какой-нибудь другой эмоции, которую он обычно испытывает в тех ситуациях, когда мы на его месте чувствовали бы раздражение? Человек может вести себя точно так же, как вели бы себя мы, будучи в раздраженном состоянии, но не может ли он испытывать такие ощущения, которые, доведись нам испытать их, мы бы обязательно отличили от раздражения?
3. Когда по всем признакам человек раздражен, не может ли он на самом деле не испытывать никакой эмоции?

В повседневной жизни эти проблемы возникают в особых случаях и вызывают большие затруднения. Мы можем быть обеспокоены, (1) не обманывает ли нас человек, подавляя свои эмоции или демонстрируя те эмоции, которых он на самом деле не испытывает; мы можем сомневаться, (2) правильно ли мы

⁴² До бесконечности (лат.). — Прим. перев.

понимаем человека (или он нас), имеем ли мы право предполагать, что он «чувствует, как мы», что у него такие же эмоции, как у нас; мы можем колебаться, (3) было ли поведение человека естественным или же оно подвергалось жесткому контролю. Эти три вопроса могут возникнуть и действительно часто возникают в связи с поведением людей, которых мы хорошо знаем.⁴³ Любой из этих вопросов или же все они сразу могут лежать в основе следующего высказывания Вирджинии Вулф: «Все взаимосвязано в чувстве одиночества, которое временами посещает каждого».

Ни одна из этих трех особо отмеченных трудностей о «реальности» не возникает в связи со щеглами или хлебом, а особые трудности, которые имеют место, например в случае с оазисом, не могут возникнуть в связи с реальностью эмоций другого человека. Щеглы не могут быть «стимулированы», а хлеб не может быть «подавлен»; мы можем обмануться, увидев не настоящий оазис, а мираж, мы можем сделать неправильный прогноз погоды на основании наблюдаемых признаков, но сам оазис не может нам лгать, а если мы не поняли, что начинается шторм, то здесь ситуация будет иной по сравнению с тем, если мы неправильно поняли поведение человека.

Хотя отмеченные трудности особого рода, методы их устранения в ряде основных характеристик сходны с методами, применяемыми в случае со щеглом. Существуют (более или менее точно) установленные процедуры прояснения случаев предполагаемого обмана, непонимания или невнимательности. Используя эти средства, мы можем прийти к обоснованному выводу (хотя, конечно, это возможно *не всегда*), что тот или иной человек «играет», или что мы неправильно поняли его, или что он просто не способен к переживанию некоторого эмоционального состояния, или что он жестко контролирует свое поведение. Эти особые случаи, когда может возникнуть сомнение, требующее своего разрешения, противопоставлены огромному числу стандартных ситуаций, когда сомнение просто не может возникнуть,⁴⁴ если только мы не заподозрим, что здесь имеет место, например, обман, причем обман, который, в принципе, возможно распознать, ибо в данной конкретной ситуации для такого поведения человека должны быть вполне определенные мотивы и т. д. При

⁴³ В ряде случаев мы можем сомневаться в «реальности» наших собственных эмоций, сомневаться, не играем ли мы на самом деле «для самих себя». Профессиональные актеры могут достичь такого состояния, когда они уже не в состоянии точно определить, каковы их истинные чувства и ощущения.

⁴⁴ Утверждение *You cannot fool all of the people all of the time* 'Вы не можете постоянно вводить людей в заблуждение' является аналитическим.

этом не возникает даже мысль о том, что я *никогда* не могу знать, каковы эмоции других людей или что в ряде случаев я могу просто так, без видимых на то причин, ошибиться.

Экстраординарные (нестандартные) случаи, например, обмана и непонимания, обычно, *ex vi termini*,⁴⁵ не встречаются: все мы имеем представление о том, каковы обычные причины, поводы, разумные границы проявления обмана и непонимания. Однако независимо от того, осознаем мы это или нет, такие случаи все-таки могут возникнуть, и среди них могут быть свои разновидности. Если это произойдет, то наши утверждения в определенном смысле будут ошибочными, поскольку употребляемая нами терминология не подходит для описания подобных случаев, и впредь мы должны будем быть более осторожными, когда говорим, что мы знаем, или же должны будем пересмотреть свои представления и терминологию. Мы всегда должны быть готовы к этому, когда имеем дело с такой сложной и многогранной проблемой, как проблема эмоций.

Однако здесь есть одна особенность, которая полностью разграничивает случаи определения эмоций от ситуаций со щеглом. Щегол, тоже являясь материальным объектом, говорить *не может*, а человек *может*. Среди набора фактов, на основе анализа которых мы можем сказать, что знаем, что другой человек раздражен, то есть среди всех симптомов, поводов и проявлений, особое место занимают высказывания самого человека о своих ощущениях. В обычном случае мы принимаем эту информацию на веру и потом говорим, что знаем (как бы «из вторых рук»), что именно испытывает этот человек, хотя, конечно, выражение «из вторых рук» не может быть использовано и действительно не используется здесь для указания на то, что будто бы никто, кроме самого человека, о котором идет речь, не может знать «из первых рук». Если содержание высказывания человека вступает в противоречие с нашими представлениями о его внутреннем состоянии, мы не склонны принять исходящую от него информацию, хотя и испытываем при этом некоторый дискомфорт. Если известно, что этот человек самый настоящий обманщик или склонен обманывать самого себя, или же существуют веские причины для того, чтобы он обманывал себя или окружающих в данной конкретной ситуации, мы не будем особенно удивляться; но если, например, человек, который всю жизнь вел себя как бы в соответствии с некоторым убеждением, оставит после себя дневниковую запись, в которой отметит, что на самом деле он никогда не придерживался этого убеждения, тогда нам, возможно, останется только развести руками.

⁴⁵ Исходя из значения(силы) термина. — *Прим. перев.*

В заключение мне бы хотелось сделать еще несколько замечаний относительно решающей роли принятия нами той информации, которую нам сообщает сам человек о своих ощущениях. Хотя я осознаю, что не смогу полностью прояснить этот вопрос, я уверен, что он является фундаментальным для всех затруднений в целом и что он до сих пор не привлекал к себе того внимания, которое заслуживает, возможно, только потому, что представлялся слишком очевидным.

Собственное признание человека не есть (не рассматривается изначально как) знак или симптом, хотя с определенной долей условности его можно так рассматривать. Ему отводится особое место в сумме всех фактов, относящихся к конкретному случаю. Здесь с неизбежностью возникает вопрос *Why believe him?* 'Почему мы должны верить этому человеку?'

На этот вопрос может быть дан ряд ответов, которые будут трактоваться здесь не как ответы на вопрос *Why believe him this time?* 'Почему мы должны верить ему в данный момент?', а как ответы на общий вопрос *Why believe him ever?* 'Почему мы вообще должны ему верить?'. Мы можем сказать, что раньше постоянно сталкивались с высказываниями этого человека, не имеющими отношения к характеристике его чувств и эмоций, и эти высказывания всегда оказывались истинными, поэтому можно сделать вывод, что его слова всегда заслуживают доверия. Или же мы можем сказать, что его поведение наиболее просто объяснимо с тех позиций, что он должен испытывать такие же ощущения, как мы, подобно тому как психоаналитики, пользуясь терминологией «неосознанных желаний», объясняют отклоняющееся поведение людей по аналогии с нормальным.

Эти ответы, однако, ничего не проясняют и, более того, таят в себе опасность. Они настолько очевидны, что не могут никого удовлетворить, кроме того, они стимулируют спрашивающего задавать еще больше вопросов, а отвечающего — давать все более и более частные ответы, так что в конечном счете все вообще может утратить какой бы то ни было смысл.

Если идти по этому пути, то может быть подвергнута сомнению сама возможность «доверия другому человеку» (*believing another man* — в общепринятом смысле этого выражения). Как вы можете доказать, что на самом деле существует другое сознание, которое общается с вашим сознанием? Откуда вы можете знать, как именно проявляется какое-либо другое сознание, и, следовательно, как вы можете его понять? Если рассматривать подобные вопросы, тогда нам придется признать, что выражение *believing him* 'верить ему'

означает только то, что мы рассматриваем определенные звуковые сигналы как знаки определенного независимого поведения и что «чужое сознание» на самом деле не менее реально, чем неосознанные желания.

Все это, однако, довольно бессмысленно. То, что мы доверяем собеседникам, полагаемся на авторитеты и рассказы очевидцев, является характеристиками процесса коммуникации, в котором мы постоянно принимаем участие. Это такая же неотъемлемая часть нашего опыта, как, скажем, обещания, участие в регламентированной деятельности или даже зрительное восприятие. Можно говорить об определенных преимуществах этих видов деятельности в том плане, что мы можем разработать набор правил, которые обеспечивают «рациональное» поведение в каждой конкретной ситуации (подобно тому, как юристы, историки и психологи разрабатывают правила оценки свидетельских показаний). Но это уже не входит в наши задачи.

ВЫВОДЫ

Причина всех затруднений, с которыми мы сталкиваемся при определении ощущений других людей, заключается в том, что «Я не должен говорить, что знаю, что Том раздражен, поскольку я не могу проникнуть в его чувства», и именно это обескураживает многих исследователей. Суть того, что я пытался показать, состоит в следующем:

1. Конечно, я не могу проникнуть в чувства Тома (если бы я мог это сделать, мы бы действительно попали в затруднительное положение).
2. Несомненно, в ряде случаев я действительно знаю, что Том раздражен.

Следовательно,

3. полагать, что вопрос *How do I know that Tom is angry?* 'Откуда я знаю, что Том раздражен?' должен истолковываться как *How do I introspect Tom's feelings?* 'Как я проникаю в чувства Тома?' (ибо именно это составляет или должно составлять основу нашего знания), — значит намеренно заходить в тупик.

ИСТИНА¹

1. «Что есть истина?» — насмешливо спрашивал Пилат, даже не ожидая ответа. Он опередил свое время. Ведь сама по себе «истина» есть абстрактное существительное, верблюд, поддерживающий логическую конструкцию, которая не может ускользнуть даже от глаз грамматиков. Мы подобострастно приближаемся к ней, держа шляпу и категории. Так, мы спрашиваем себя, является ли Истина субстанцией (Истина, Корпус Знания), либо она представляет собой качество (что-то сходное с красным цветом, неотъемлемо присущим истинам), либо отношение («корреспонденция»)². Однако философам следует прикладывать свои усилия только к соразмерному им самим. А значит, следует обсуждать применение или определенные использования слова «истинный». In vino, возможно, и «veritas», но в трезвом разговоре — «verum».

2. О чем же мы говорим как об истинном или ложном? Или каким образом в предложениях английского языка появляется фраза «является истинным» (is true)? Ответы, на первый взгляд, кажутся весьма разнообразными. Мы говорим (или нас приучили говорить), будто истинными могут быть убеждения, объяснения и описания, суждения и утверждения, слова и предложения. Заметим, что здесь приводятся только наиболее очевидные кандидаты. Далее, мы говорим (или нас приучили говорить): «Истинно то, что кошка на рогожке», «Истинно сказать, что кошка на рогожке» или же «“Кошка на рогожке” является истинным». По случаю стоит также упомянуть и фразы типа: «Вполне истинно», «Это истинно», «Достаточно истинно».

¹ Austin J. *Philosophical Papers*. 2nd ed. Oxford, 1970. Перевод выполнен А. Л. Золкиным. Впервые статья «Истина» была опубликована в журнале: «*Proceedings of the Aristotelian Society*», доп. том. XXIV, в 1950 году. — *Прим. ред.*

² Вполне очевидно, что «истина» есть имя существительное, «истинный» — имя прилагательное, а «о» в «истина о» является предлогом.

Несомненно, что большинство (хотя и не все) из этих выражений, а кроме них возможны еще и другие выражения, появляются в языке вполне естественным образом. Однако оправдан вопрос о том, существует ли некоторое применение фразы «является истинным», которое отмечало бы основное или родовое название для всего того, о чем мы говорим «является истинным». Какое из данных выражений, конечно, при условии, что таковое вообще имеется, должно пониматься *au pied de la lettre*?³ Ответ на этот вопрос не займет много времени и не заведет нас слишком далеко, ведь в философии именно следование букве ведет по ступенькам лестницы.

Я полагаю, что изначальными формами выражений можно считать следующие:

Является истинным (говорить), что кошка на рогожке.

То утверждение (его и т. д.) является истинным.

Утверждение о том, что кошка на рогожке, является истинным.

Итак, теперь займемся рассмотрением соперничающих вариантов:

(а) Говорят, будто «истина есть прежде всего свойство убеждений (beliefs)». Однако сомнительно, что использование выражения «истинное убеждение» вообще распространяется за пределы философии или теологии. Очевидно, что о человеке говорят, будто он имеет истинное убеждение, тогда и в том смысле, когда он верит во *что-то* истинное или убежден в том, что *нечто* истинное является истинным. Более того, если, как утверждают, убеждение «подобно картине», то именно в этом отношении оно и не может быть истинным, а скорее всего, опирается на доверие.⁴

(б) Истинные описания и объяснения представляют собой просто разновидности истинных утверждений или же совокупностей утверждений, как и истинные ответы на вопросы, и тому подобное. Это относится и к суждениям, по крайней мере до тех пор, пока о них искренне говорят, будто они должны быть истинными, а не (в более широком смысле — здоровыми, последовательными и т. д.).⁵ В суждениях правопедения или геометрии есть что-то торжественное, поскольку они являются обобщениями, которые нас побуждают признать и в пользу которых приводятся те или иные доводы. Подобные суждения не со-

³ Буквально (франц.) — Прим. перев.

⁴ Подобие истинно в каком-то отношении к жизни, но это не истина о самой жизни. Слово «картина» может быть истинным как раз потому, что само картиной и не является.

⁵ Предикаты, применяемые к «аргументам», о которых мы не говорим как об истинных, могут считаться, например, обоснованными.

держат непосредственного отчета о текущем наблюдении, а если вы сообщаете мне о том, что кошка на рогожке, то это не суждение (proposition), а утверждение (statement). Правда, в философии «суждение» иногда используется особым образом — как «значение или смысл предложения или группы предложений». Вне зависимости от того, насколько много мы размышляем о подобном применении, следует, во всяком случае, признать, что в данном смысле суждение не может быть тем, о чем говорят как об истинном или ложном. Мы ведь никогда не скажем, будто «значение (или смысл) этого предложения (или этих слов) является истинным». Что мы действительно говорим, так это то же, что утверждают судья или присяжные: «Слова, понятые в таком-то смысле или таким-то образом интерпретированные, а также если им приписывается такое-то и такое-то значение, являются истинными».

(в) О словах и предложениях в самом деле говорят, будто это они должны быть истинными. О словах так говорят часто, а о предложениях реже. Правда, только в определенных смыслах. Слова в качестве предмета изучения филологов, составителей словарей, грамматиков, лингвистов, фонетиков, полиграфистов, литературных критиков, стилистов и так далее не могут считаться истинными или ложными. Скорее, они неправильно образованы, двусмысленны или недостаточно выразительны, непереводимы или непроизносимы, написаны с ошибками или устарели, искажены или же нет.⁶ Предложения в сходных контекстах являются либо эллиптическими, либо аллитеративными, либо грамматически неправильными, либо включенными в состав других предложений. Тем не менее мы все же в состоянии вполне и искренне заявить: «Его заключительные слова были совершенно истинными» или «Третье предложение на пятой странице его доклада полностью ложное». Однако в данных примерах «слова» и «предложения» указывают на *использованные конкретным лицом в определенных обстоятельствах* слова и предложения, что и показывается демонстративным образом с помощью притяжательных местоимений, временных глаголов, определенных дескрипций и т. п., которые в подобных случаях

⁶ Пирс начал с указания на существование двух (или трех) различных смыслов слова «слово» и сделал набросок технических приемов («исчисление» слов) для выделения этих «различных смыслов». Однако оба его смысла не определены достаточно хорошо, ведь есть и много иных смыслов: «словарный» смысл; филологический смысл, в котором «grammat» («грамматика») есть то же самое слово, что и «glamour» («очарование»); корректорский смысл, в соответствии с которым определенный артикль на с. 254 был написан дважды, и так далее. Я думаю, что со всеми своими 66 подразделениями знаков Пирс не различал предложений и утверждений.

постоянно их сопровождают. А значит, «слова» и «предложения» указывают на утверждения (как и во фразе «многие слова говорятся в шутку»).

Каждое утверждение кем-то делается, и его производство есть историческое событие — высказывание конкретным говорящим или пишущим определенных слов (предложений) для аудитории с указанием на историческую ситуацию, событие или что-либо еще.⁷

Если предложение *состоит из слов*, то утверждение *делается с помощью слов*. Предложение может не принадлежать английскому языку или хорошему английскому языку, а вот утверждение может уже не быть сделанным на английском языке или на хорошем английском языке. Утверждение делается. Слова и предложения используются. Мы говорим о *моем* утверждении, но о предложении *английского языка* (если предложение принадлежит мне, то я придумал его, но придумать утверждение я не могу). Одно и то же предложение используется в производстве *различных* утверждений (я говорю «Это — мое», вы говорите «Это — мое»), оно также может быть использовано в двух случаях или же двумя лицами в производстве *одного и того же* утверждения, но для этого высказывание должно быть сделано с указанием на одну и ту же ситуацию или событие.⁸ Мы говорим об «утверждении, что *S*», но о «предложении “*S*”», а не о «предложении, что *S*».⁹

⁷ «Историческое», конечно же, не означает, что мы не в состоянии говорить о будущих или возможных утверждениях. «Конкретный» говорящий не является каким-либо точно определенным говорящим. Не требуется и того, чтобы «высказывание» было публичным высказыванием, ведь аудиторией может считаться сам говорящий.

⁸ «Одно и то же» не всегда подразумевает тождество. Фактически, эта фраза вообще обладает значением особым образом, отличным от того, какое имеют «обычные» слова типа «красный» или «лошадь». «Одно и то же» есть (типичное) приспособление для установления и различения значений «обычных» слов. Подобно тому, как и «реальный» есть часть нашего вербального аппарата для фиксирования и установления семантики слов.

⁹ Кавычки показывают, что слова хотя и были высказаны (в письменной форме), тем не менее не могут считаться утверждением говорящего. Это относится к двум возможным случаям: (1) когда то, что обсуждается, само есть предложение; (2) когда обсуждается утверждение, сделанное когда-либо в другое время с помощью «цитируемых» слов. Только в случае (1) будет правильно говорить, что знак служит символом (и даже здесь все же неверно говорить, будто «Кошка на рогожке» есть *имя* предложения русского языка, хотя возможно, что *Кошка на рогожке* представляет собой заглавие романа или что папская булла могла получить известность как *Catta est in matta*). Только в случае (2) есть нечто истинное или ложное, а именно (не сама цитата), но то утверждение, которое было сделано с помощью процитированных слов.

Когда я говорю, что утверждение и есть то, что является истинным, то я стремлюсь связывать себя прочными узами исключительно с одним-единственным словом. Например, «заявление» также хорошо подходит к большинству контекстов. Оба слова разделяют слабость быть несколько высокопарными (гораздо в большей степени, чем общие фразы типа «то, что вы сказали» или «ваши слова о том, что»), хотя мы обычно не столь торжественно настроены, когда обсуждаем истинность чего бы то ни было. Однако достоинство их состоит в ясном указании на историческое использование предложения говорящим, поэтому они как раз и неэквивалентны «предложению». Следовательно, считать исходным «Предложение *S* истинно (в английском языке)» будет ошибкой. В данном случае добавление слов «в английском языке» и подчеркивает то, что «предложение» не используется в качестве эквивалента «утверждению», а значит, тому, что может быть истинным или ложным (более того, «истинно в английском языке» представляет собой грамматическую ошибку, порожденную, скорее всего, неоправданным моделированием на основе выражения «истинно в геометрии»).

3. Когда же утверждения являются истинными? Конечно, соблазнительно было бы ответить (если мы, по крайней мере, ограничиваем себя «искренними» утверждениями): «Когда они соответствуют фактам». И для части обычного языка это вряд ли неверно. Я даже должен признать, что вообще не считаю это ошибочным, ведь теория истины есть просто набор трюизмов. Однако, по крайней мере, это может вводить в заблуждение.

Если вообще существует тот тип общения, которое достигается нами с помощью языка, то должен быть и запас символов определенного вида, которые один участник общения («говорящий») способен воспроизвести «по своему усмотрению», а другой участник общения («аудитория») в состоянии заметить. Эти знаки и могут называться «словами», хотя, конечно, не требуется, чтобы они были полностью сходными с тем, что мы обычно считаем словами, — это могут быть сигнальные флажки и т. д. Также должно существовать нечто иное, чем слова. То, по поводу чего происходит общение с применением слов. Это может быть названо «миром». Нет никаких оснований для того, чтобы мир не включал в себя слов во всех смыслах, кроме смысла самого действительного утверждения, которое в любых конкретных обстоятельствах все-таки делается о мире. Далее, в мире должны проявляться (мы должны наблюдать) сходства и различия (которые не могут существовать друг без друга). Если бы все было абсолютно неотлично от чего-то иного либо полностью на что-то

иное непохоже, тогда вообще нельзя было бы ничего сказать. И в конце концов (конечно, для данных целей, поскольку существуют и другие условия, которые также следует соблюдать) должно быть два ряда конвенций.

Дескриптивные конвенции ставят слова (= предложения) в соответствие с *типами* ситуаций, вещей, событий и т. д., которые могут быть обнаружены в мире.

Демонстративные конвенции ставят в соответствие слова (= предложения) с историческими ситуациями и т. д., которые могут быть обнаружены в мире.¹⁰

Итак, об утверждении говорится, что оно является истинным, когда историческое положение дел, соответствующее ему с помощью демонстративных конвенций (на которое оно «указывает»), относится к тому типу, которому¹¹ с помощью дескриптивных конвенций соответствует предложение, использованное для производства утверждения.¹²

¹⁰ Оба ряда конвенций могут быть объединены под общим названием «семантика», однако они существенно различаются.

¹¹ «Относится к тому типу, с которым» означает «является в достаточной степени подобным тем стандартным положениям дел, с которыми». Таким образом, чтобы утверждение было истинным, одно положение дел должно быть *подобным* некоторым другим положениям дел, и это представляет собой естественное отношение. И притом также в *достаточной степени* быть подобным, чтобы заслуживать той же самой «дескрипции», которая уже чисто естественным отношением больше не является. Слова «Это — красное» не означают то же самое, что и слова «Это подобно тому-то» и даже не подразумевают того же, что подразумевают слова «Это подобно тому, что называется красным». То, что вещи являются *похожими* или даже «в точности» похожими, я могу в буквальном смысле видеть. Но того, что они одни и те же, — этого я в буквальном смысле видеть не могу. Поэтому в утверждении о том, что вещи одного и того же цвета, дополнительно включается конвенция помимо конвенционального выбора названия цвета, о котором идет речь.

¹² Трудность заключается в том, что предложения содержат слова, или вербальные средства, служащие обеим целям: дескриптивной и демонстративной (мы здесь пренебрегаем иными целями), причем зачастую эти средства обслуживают обе цели одновременно. В философии мы принимаем дескриптивное за демонстративное (теория универсалий) или демонстративное за дескриптивное (теория монад). Обычное отличие предложения от простого слова или фразы характеризуется тем, что предложение содержит некоторый минимум вербальных демонстративных средств («указание на время» Аристотеля), однако многие демонстративные конвенции не являются вербальными (знаки препинания и т. д.), а значит, мы в состоянии сделать утверждение с помощью единственного слова, которое уже не является «предложением». Таким образом, в «языках», подобных тем, которые состоят из знаков («уличное движение» и т. д.), используются довольно различные средства для демонстративных и дескриптивных элементов (расположение знака на столбе, местоположение знака). Однако для многих вербальных демонстративных средств, применяемых в качестве вспомогательных, *всегда* должны существовать невербальные источники *происхождения* той координации, которая происходит в момент высказывания утверждения.

3(а) Трудности возникают при использовании слова «факт» по отношению к историческим ситуациям, событиям и в целом по отношению к миру, поскольку «факт» постоянно используется вместе со словами «в том, что» в предложениях типа «Факт в том, что *S*» или «Это факт, что *S*», а также в выражении «факт в том, что», постольку подразумевается, что будет истинным сказать, что *S*.¹³

Это может вести к предположению, что:

- (1) «факт» представляет собой всего лишь выражение, альтернативное «истинному утверждению». Заметим, что когда сыщик говорит: «Обратимся к фактам», то он не начинает ползать по ковру, а продолжает высказывать последовательность утверждений: мы даже говорим об «установлении фактов».
- (2) для каждого истинного утверждения существует свой собственный, «единственный», в точности ему соответствующий факт — для каждой шапки найдется подходящая голова.

Если (1) приводит к некоторым ошибкам в теориях «когеренции» или в формалистических теориях, то (2) порождает заблуждения уже в теориях «корреспонденции». Поскольку мы либо вынуждены считать, что, кроме самого истинного утверждения, нет ничего, что ему соответствует, либо нам приходится населять мир лингвистическими *двойниками* (причем значительно его перенаселять, ведь каждый самородок «позитивного» факта покрыт толстым слоем «негативных» фактов, а каждый мельчайший, детализированный факт густо нашпигован общими фактами и так далее).

Когда утверждение истинно, тогда *несомненно* существует положение дел, делающее его истинным и которое есть *toto mundo*,¹⁴ отличный от истинного

¹³ Я ввожу следующие сокращения:

S для кошки на рогожке.

ST для истинно, что кошка на рогожке.

tst для утверждения о том, что.

Я повсюду использую *tstS* в качестве своего собственного примера, поскольку иные примеры, скажем, *tst* Юлий Цезарь был лысым или *tst* все мулы стерильны, теми или другими способами затемняют различие между предложением и утверждением: очевидно, что в первом случае мы имеем предложение, используемое для указания одной-единственной исторической ситуации, а во втором случае утверждение вообще не указывает на историческую (или на какую-нибудь конкретную) ситуацию.

Если допускаются иные типы утверждений (экзистенциальные, общие, гипотетические и т. д.), которые следовало бы рассмотреть, то с ними возникают скорее проблемы значения, а не истины, хотя я и чувствую затруднение по поводу гипотетических утверждений.

¹⁴ Весь мир (*итал.*) — *Прим. перев.*

утверждения о нем, однако несомненно также и то, что мы можем лишь *описывать* это положение дел *с помощью слов* (либо тех же самых, либо, если удастся, других). Я могу только описывать ситуацию, в которой истинно говорить о том, что меня тошнит, отмечая, что это и есть именно та самая ситуация, когда я чувствую тошноту (или испытываю ощущение тошноты).¹⁵ Однако между утверждением, хотя и истинным, о том, что я чувствую тошноту, и самим ощущением тошноты лежит пропасть.¹⁶

Фраза «факт в том, что» предназначена для применения в ситуациях, когда можно пренебречь *различием* между истинным утверждением и положением дел, по отношению к которому оно истинно. Это происходит преимущественно в обыденной жизни, хотя иногда случается и в философии, главным образом при обсуждении проблемы истины, когда мы, собственно, и занимаемся извлечением слов из мира и собиранием их вне него. Вопрос же «Является ли факт о том, что *S*, истинным утверждением о том, что *S*, или же тем, по отношению к чему утверждение истинно?» может приводить к абсурдным ответам. Обратимся к аналогии. Мы в состоянии осмысленно спросить «Мы сидим *верхом* на слове «слон» или на животном?», причем равно осмысленно спрашивать «Мы *пишем* слово или животное?», однако вопрос «Мы *даем определение* слову или животному?» будет уже бессмысленным. Поскольку определение слона (допуская, что мы вообще в состоянии это сделать) представляет собой сокращенное описание операции, включающей одновременно и слово, и животное (можем ли мы таким образом дать определение образа или линкора?), постольку слова «факт о том, что» есть сокращенный способ речи по поводу ситуации, объединяющей слова и мир вместе.¹⁷

3(b) «Соответствует» также порождает затруднения, потому и понимается обычно либо слишком узко, либо слишком широко по смыслу, а иногда и вообще некоторым, не имеющим отношения к данному контексту образом. Существенный момент здесь заключается единственно в следующем: соответствие

¹⁵ Если это и есть то, что подразумевается под «Идет дождь» истинно, если и только если идет дождь», тогда пока все хорошо.

¹⁶ Это влияет на истину двояким образом. Из этого прежде всего следует (очевидно), что не может быть никакого критерия истинности в смысле наличия определенных свойств, распознаваемых в самом утверждении, которые бы показывали, истинно оно или ложно. А также следует то, что утверждение не может указывать само на себя, «не приводя к абсурду».

¹⁷ «Является истинным то, что *S*» и «Факт в том, что *S*» применимы в одних и тех же обстоятельствах; шапка впору, когда голова подходящая. Ту же самую функцию, что и «факт», могут выполнять другие слова. Например, мы говорим «Ситуация такова, что *S*».

между словами (= предложениями) и типом ситуации, события и т. д., когда утверждение, сделанное с помощью этих слов, указывает на историческую ситуацию данного типа и является истинным, *абсолютно и чисто* конвенциональное. Мы совершенно свободны в выборе символов для того, чтобы описывать любые типы ситуаций, насколько по отношению к ним вообще уместна истинность. В небольшом, узкоспециализированном языке всякая *tst* чепуха может быть истинной в тех же самых обстоятельствах, как и утверждение на английском языке о том, что национал-либералы являются избранниками народа.¹⁸ Для слов, используемых в производстве истинного утверждения, нет никакой необходимости каким-либо способом — даже косвенным — «зеркально отражать» любые свойства некоторой ситуации или события. Для того чтобы быть истинным, утверждению не более требуется воспроизводить, скажем, «разнообразие», «структуру» или «форму» реальности, чем слову требуется быть звуковой или графической пиктограммой. Полагать обратное — значит снова впасть в ошибку привнесения в мир свойств языка.

Более элементарному языку зачастую присуща тенденция располагать «отдельным словом» для весьма «комплексного» типа ситуаций. Это имеет тот недостаток, что подобный язык весьма сложен в изучении и неспособен иметь дело с нестандартными, непредвиденными ситуациями, для которых просто может не найтись слова. Если мы выезжаем за границу, снабженные только разговорником, то мы потратим множество часов, заучивая наизусть фразы типа:

Сколько стоит эта вещь?

Как пройти в метро?

и так далее, и так далее. Однако, столкнувшись с ситуацией, в которой, например, мы имеем дело с авторучкой своей тети, обнаружим полную неспособность выразить это словами. Характеристики же более развитого языка (артикуляция, морфология, синтаксис, абстракции и т. д.) не делают сообщения на данном языке сколько-нибудь более пригодными к тому, чтобы быть истинными, скорее, они способствуют большей адаптивности утверждений, их большей точности, возможности изучения и понимания. Перечисление подобных целей, вне всякого сомнения, может быть продолжено, если язык (насколько это позволяет природа посредника) «зеркально» отражает конвенциональными способами обнаруживаемые в мире свойства.

¹⁸ Мы могли бы теперь даже использовать слово «чепуха» (*nuts*) в качестве кодового слова, однако код отличается от языка, поскольку представляет собой его трансформацию. Поэтому кодовое слово в донесении не будет (не называется) «истинным».

Даже если язык и в самом деле «зеркально отражает» подобные свойства очень подробно (а делает ли он это вообще?), истинность утверждений все же остается делом, как это было и с более элементарным языком, использованных слов, которые *конвенционально предназначены* для ситуации того типа, к которому относится их способ указания. Картина, копия, репродукция, фотография *никогда* не считаются истинными лишь постольку, поскольку они суть просто *воспроизведения*, сделанные естественными или механическими способами. Воспроизведение способно быть на что-то похожим или быть жизнеподобным (истинным *по отношению к* оригиналу) подобно грамзаписи или копии, но не может быть истинным в смысле протокольного отчета. Точно так же (естественный) знак *чего-либо* может быть безошибочным или недостоверным, но только (искусственный) знак *для чего-либо* может быть правильным или неправильным.¹⁹

Между истинным отчетом и правдивой картиной, противопоставление которых здесь носит несколько насильственный характер, есть множество промежуточных случаев. Причем изучение именно этих случаев (а это дело долгое) способствует наиболее ясному пониманию вышеуказанного контраста. Возьмем, например, географические карты. Их можно назвать картинами, хотя и в высшей степени условными картинами. Если карта бывает ясной, точной или вводящей в заблуждение, как и утверждение, то почему она не может быть истинной или же преувеличивающей? Чем «символы», использованные при изготовлении карты, отличаются от знаков, применяемых в производстве утверждений? А с другой стороны, если аэрофотосъемка не является картиной, то почему она ею не является? И когда карта превращается в диаграмму? Эти вопросы действительно проливают свет на проблему.

4. Иногда говорят следующее:

Сказать, будто утверждение истинно, не значит сделать еще какое-либо дальнейшее утверждение.

Во всех предложениях формы «р является истинным» фраза «является истинным» логически излишня.

Говорить, что суждение является истинным, означает всего лишь его утверждение, а говорить, что оно является ложным, означает утверждение его противоречия.

¹⁹ Беркли спутал данные виды знаков. Нельзя понять журчание ручья, пока не создана гидросемантика.

Но это неверно. $TstS$ (исключая парадоксальные случаи неестественного или необычного происхождения) указывает на мир или на его часть, исключая $tstS$, то есть самое себя.²⁰ $TstST$ указывает на мир или на его некоторую часть, содержащую $tstS$, однако снова исключает себя самое, то есть $tstST$. Таким образом, $tstST$ указывает на то, на что $tstS$ не может указывать. $TstST$ определенно не содержит какого-либо утверждения по поводу мира, которого бы уже не было в $tstS$, более того, кажется сомнительным, что оно вообще включает какое-либо утверждение о мире, кроме $tstS$, которое делается, когда мы утверждаем, что S . (Если я утверждаю, что $tstS$ истинно, действительно ли нам следует соглашаться с тем, что я утверждаю, что S ? Только «путем импликации».)²¹ Но все это не предоставляет какой-либо возможности показать, будто $tstST$ не является утверждением, отличным от $tstS$. Если господин A заявляет, что господин B взломщик, то суду предстоит решить, следует ли признать утверждение господина A клеветой. Его заявление признается истинным (по сути и фактически). Затем проводится второе судебное разбирательство для вынесения решения о том, действительно ли господин B является взломщиком, причем заявление господина A уже более не рассматривается. Выносится приговор: «Господин B взломщик». Проведение второго судебного разбирательства дело непростое, тогда почему же оно вообще предпринимается, ведь его приговор идентичен предшествующему судебному решению?²²

Чувствуется, что данные, принятые во внимание при вынесении первого приговора, являются теми же самыми, которые рассматривались и в процессе принятия второго судебного решения. Однако это не вполне так. В большей степени верным будет то, что если $tstS$ истинно, тогда $tstST$ также истинно, и наоборот. Когда же $tstS$ ложно, тогда $tstST$ также ложно, и наоборот.²³ Это доказывает, что слова «является истинным» в логическом отношении лишние,

²⁰ Утверждение может указывать на «себя самое», например, в том смысле, что предложение используется или высказывание высказывается при его производстве («утверждение» не свободно от всех двусмысленностей). Но парадокс получается в том случае, если утверждение предназначено для указания на самое себя в более полном смысле, с целью установления собственной истинности или же установления того, на что оно указывает («Это утверждение о Катоне»).

²¹ А «путем импликации» $tstST$ устанавливает нечто по поводу производства утверждения, чего $tstS$ определенно не устанавливает.

²² Это не вполне удачный пример, поскольку есть множество юридических и личных оснований для проведения двух судебных разбирательств, однако все это не влияет на вывод о том, что оба решения одинаковы.

²³ Не *вовне* точно, потому что $tstST$ вообще уместно тогда, когда $tstS$ рассматривается в качестве произведенного и верифицированного утверждения.

поскольку считается, что если два утверждения всегда вместе истинны и всегда вместе ложны, тогда они должны означать одно и то же. Является ли подобная точка зрения в целом здоровой, может быть поставлено под сомнение. Но даже если она и такова, то почему все это не может сломаться в случае такой очевидно «особенной» фразы, как «является истинным»? В философии заведомо возникают ошибки, если мыслится, будто все, имеющее отношение к «обычным» словам типа «красный» или «рычит», должно иметь силу применительно к экстраординарным словам типа «реальный» или «существует». Несомненно, что «истинный» есть именно такое экстраординарное слово.²⁴

Есть кое-какие тонкости по поводу «факта», описываемого с помощью *tstST*, что-то заставляющее нас вообще не решаться назвать это «фактом», а именно: отношение между *tstS* и миром, достижение которого утверждается *tstST*, является *чисто конвенциональным* отношением (из тех, которые «делаются таковыми мышлением»). Поскольку мы осознаем, что подобное отношение из тех, которые мы могли бы произвольно изменить, тогда как мы хотели бы ограничить слово «факт» только *твердыми* фактами, фактами, которые неизменны и естественны, по крайней мере не изменяемы произвольно. Таким образом, обращаясь к рассмотрению аналогичного случая, нам не следует склоняться к тому, чтобы видеть факт в том, что слово «слон» означает то, что оно означает, хотя нас и могут побуждать называть это (мягким) фактом. Впрочем, мы, конечно же, без колебаний называем фактом то, что в наше время говорящие на английском языке применяют слово именно тем образом, каким они его применяют.

Важный момент по поводу данной точки зрения заключается в том, что в ней смешиваются ложность и отрицание, поскольку в соответствии с ней будет одним и тем же сказать: «Он не живет в этом доме» и «Ложно, что он живет в этом доме» (а что если никто и не говорит о том, что он *живет* в доме? Что если он лежит там мертвый?). Слишком много философов в стремлении поверхностно объяснить отрицание настаивали на том, будто отрицание представляет собой всего лишь утверждение второго порядка (в случае если определенное первопорядковое утверждение является ложным). Однако, стремясь объяснить ложность, настаивают уже на том, что ложность утверждения есть всего лишь утверждение его отрицания (противоречия).

²⁴ *Unum, verum, bonum* (Единое, истина, благо) могут считаться самыми знаменитыми фаворитами в этом отношении. В каждом из них есть что-то необычное. Теоретическая теология есть форма звукоподражания.

Здесь более нет возможности заниматься столь фундаментальным вопросом.²⁵ Позвольте мне просто выдвинуть следующее положение. Утверждение и отрицание располагаются именно на том уровне, на котором ни один язык уже не может существовать, если он лишен конвенций для них обоих. Утверждение и отрицание прямо указывают на мир, а не на сообщения по поводу мира, тогда как язык может вполне успешно функционировать без каких-либо средств, выполняющих работу «истинного» или «ложного». Любая удовлетворительная теория истины должна быть в равной степени способной справляться и с ложностью.²⁶ Однако настаивать на том, что «является ложным» представляет собой логическое излишество, можно только на основе всей этой фундаментальной путаницы.

²⁵ Приводимые ниже два ряда логических аксиом (в том виде, как их сформулировал Аристотель, а не его последователи) полностью различны:

а) ни одно утверждение не может быть одновременно истинным и ложным.

Ни одно утверждение не может быть неистинным и неложным;

б) о двух противоречащих утверждениях.

Оба не могут быть истинными вместе.

Оба не могут быть вместе ложными.

Второй ряд требует определения противоречия и обычно связан с неосознанным постулатом, будто для каждого утверждения существует одно и только одно утверждение, так что их пара является противоречием. Неясно, сколько каждый язык содержит или должен содержать противоречий, определенных таким образом, чтобы одновременно удовлетворять этот постулат и ряд аксиом (б).

Так называемые «логические парадоксы» (едва ли подлинные парадоксы), имеющие дело с «истинным» и «ложным», не могут редуцироваться к случаям самопротиворечивости, большей, чем «S, но я в это не верю». А утверждение, сделанное с целью информировать о том, что оно само по себе является истинным, настолько же абсурдно, как и то утверждение, которое делается ради своей собственной полной ложности. Есть *другие* типы предложений с погрешностями в отношении фундаментальных условий возможности любой коммуникации, причем эти погрешности отличаются от тех, которые содержатся в предложении «Это — красное и не красное». Например, «Это не существует (Я не существую)» или равно абсурдное «Это существует (Я существую)». Есть и в большей степени смертные грехи, чем этот; и путь к спасению не лежит через создание какой-нибудь иерархии.

²⁶ Быть ложным (это, конечно, не подразумевает соответствия не-факту) означает неверно соответствовать факту. Кто-то этого не понял, поскольку ложное утверждение не описывает факт, которому оно неверно соответствует (но неправильно описывает его). Мы все же знаем, какой факт сравнивать с ложным утверждением. Причина этого затруднения в том, что считалось, будто все лингвистические конвенции дескриптивные, однако именно демонстративные конвенции фиксируют то, что ситуация является той, на которую указывает утверждение. Ни одно утверждение не может само по себе устанавливать того, на что оно указывает.

5. Есть и другой способ прийти к пониманию того, что фраза «является истинным» не может считаться логически излишней, а также выяснить, какого рода утверждения содержатся в словах о том, будто определенное утверждение истинно. Существует множество иных прилагательных, связанных с отношениями между словами (в качестве высказанных с указанием на историческую ситуацию) и миром, которые принадлежат к тому же самому классу, что и прилагательные «истинный» или «ложный». Причем никто не станет отвергать их как логически излишние. Например, мы говорим, что определенное утверждение содержит преувеличение или оно не совсем ясное, или стилистически невыразительное, описание чего-либо приблизительное, вводящее в заблуждение или просто не очень хорошее, объяснение слишком общее или неоправданно сокращенное. В подобных случаях бессмысленно настаивать на принятии простого решения по поводу того, является ли утверждение «истинным или ложным». Истинно или ложно то, что Белфаст расположен к северу от Лондона? Что Галактика имеет форму яичницы? Что Бетховен был пьяницей? Что Веллингтон выиграл битву при Ватерлоо? В производстве утверждения есть различные *степени и измерения* успеха. Утверждения соответствуют фактам всегда более или менее неточно, различными способами и в различных обстоятельствах, они имеют различные намерения и цели. То, что может точно определяться в свете общих знаний, в иных обстоятельствах обладает оттенками. И даже наиболее гибкий из языков в состоянии потерпеть неудачу, «работая» в ненормальных условиях, но может и справиться, причем более или менее просто справиться с новыми открытиями. Истинно или ложно то, что собака бежит вокруг коровы?²⁷ Что же говорить о большом классе случаев, когда утверждение является не столько ложным (или истинным), сколько неуместным или неподходящим (уместно ли говорить «Все признаки хлеба налицо», когда хлеб уже стоит перед нами?)?

²⁷ Есть смысл в «когерентных» (и прагматистских) теориях истины, несмотря на их неспособность осознать простой, однако важный момент: истина все же связана с отношением между словами и миром, а также несмотря на ошибочную унификацию всех разновидностей неудач в утверждениях под единственным заголовком «частично истинные» (что с тех пор неверно приравнивается к «части истины»). Теоретики «корреспонденции» зачастую мыслят подобно тем, кто убежден, будто всякая географическая карта может быть либо точной, либо неточной, как если бы точность являлась исключительным и единственным достоинством карты; как будто каждая страна может обладать уникальной точной картой, а карта в более крупном масштабе либо выделяющая некоторые особенности, должна считаться картой другой страны и т. д.

Мы вынуждены прибегать к «истине», когда обсуждаем утверждения, подобно тому, как мы обязаны обращаться к «свободе», когда рассматриваем поведение. Пока мы полностью уверены, будто единственная проблема заключается в том, совершено ли определенное действие свободно или нет, мы находимся в тупике. Но как только вместо этого мы замечаем множество других наречий, применяемых в той же самой связи («нечаянно», «невольно», «неумышленно» и т. д.), так все сразу упрощается, и мы убеждаемся, что нам вообще не требуются выводы формы: «Итак, это было сделано свободно (или несвободно)». Так и свобода, истина представляет собой либо скудный минимум, либо иллюзорный идеал (истина, вся истина, ничего, кроме истины, скажем, о битве при Ватерлоо или о *primavera*²⁸).

6. Допускать, что все утверждения должны быть «истинными», попросту бесплодно, поскольку сомнительно даже то, имеет ли каждое «утверждение» подобную цель вообще. Принцип логики «Каждое суждение должно быть истинным или ложным» настолько долго считался наипростейшим и самым убедительным, что превратился в наиболее распространенную форму дескриптивного заблуждения. Под его влиянием философы принудительно интерпретировали все «суждения» на основе модели утверждения о том, что некоторая вещь красная, как если бы оно производилось, пока вещь находится под наблюдением.

Не так давно пришли к осознанию того, что многие высказывания, принимаемые за утверждения (просто потому, что они, с точки зрения грамматической формы, не могут классифицироваться как команды, вопросы и т. п.), фактически вообще не являются дескриптивными и не допускают того, чтобы быть истинными или ложными. Когда же утверждение не будет утверждением? Когда оно является формулой в исчислении, когда это перформативное высказывание, когда это ценностное суждение, когда это дефиниция, когда это вымысел? — есть множество подобных предположительных ответов. Для данных высказываний просто не ставится цель «соответствовать фактам» (и даже подлинные утверждения имеют иную цель кроме того, чтобы находиться в таком соответствии).

Вопрос о том, до каких пор мы будем продолжать называть этих ряженных «утверждениями» и насколько широко мы готовы использовать «истинный» и «ложный» в «различных смыслах», остается дискуссионным. Мое предложе-

²⁸ Весна (итал.) — Прим. перев.

ние заключается в следующем: будет намного лучше не называть их утверждениями и не говорить, что они истинные или ложные, до тех пор пока маски не будут сброшены. В обычной жизни мы вообще не называем большинство из них утверждениями, хотя философы и грамматикологи могут продолжать это делать (или, скорее, смешивать их вместе под искусственным термином «пропозиция»). Мы проводим различие между «Вы говорили, что обещали» и «Вы утверждали, что обещали». Первое может означать, будто вы сказали «Я обещаю», тогда как последнее должно означать, будто вы сказали «Я обещаю». Последнее, что, как мы уже говорили, вами «утверждалось», оценивается как истинное или ложное, а первое, где мы используем более широкий глагол «говорить», не рассматривается в качестве истинного или ложного. Сходным образом есть разница между «Вы говорите, что это (называя, что именно) хорошая картина» и «Вы утверждаете, что это хорошая картина». Более того, только пока не выяснена реальная природа арифметической формулы или геометрической аксиомы и предполагается, что обе они фиксируют информацию о мире, стоит называть их «истинными» (и даже «утверждениями», хотя назывались ли они когда-нибудь таким образом?). Однако если их сущность выяснена, то мы уже более не должны поддаваться соблазну считать их «истинными» или рассуждать по поводу их истинности или ложности.

В приведенных выше случаях модель «Это красное» не срабатывает, поскольку ассимилированные в них «утверждения» не таковой природы, чтобы соответствовать фактам. Слова не являются дескриптивными словами и так далее. Однако есть случаи и иного типа, когда слова действительно являются дескриптивными словами, а «суждение» действительно каким-то образом должно соответствовать фактам, но, строго говоря, совсем не тем, каким «Это красное» и сходные с ним утверждения, выдвигаемые на то, чтобы считаться истинными, соответствуют фактам.

В затруднительных ситуациях, в которых оказывается человек и для использования в которых предназначен язык, мы можем пожелать говорить о положениях дел, которые не наблюдались и не находятся под текущим наблюдением (например, будущее). И хотя мы можем установить все «в качестве факта» (утверждение которого будет тогда истинным или ложным),²⁹ однако не нуждаемся в этом. Нам следует только сказать «Кошка может быть на рогожке». Это высказывание полностью отлично от *tstS*, поскольку вообще

²⁹ Хотя называть их таким образом неуместно. По тому же основанию никто не может говорить истину или лгать по поводу будущего.

не представляет собой утверждение (оно неистинно и неложно, оно сравнимо с «Кошка может не быть на рогожке»). Аналогично ситуация, когда мы обсуждаем, действительно ли *tstS* является *истинным*, отлична от ситуации, когда мы обсуждаем, *вероятно* ли то, что *S Tst* о том, что вероятно *S*, неуместно, не подходит к ситуациям, в которых мы можем сделать *tstST*, и, как я полагаю, наоборот. Обсуждать здесь вероятность не является нашей задачей. Лучше отметим, что фразы «Истинно то, что» и «Вероятно то, что» расположены на одном уровне³⁰ и поэтому несравнимы.

7. В недавней статье в журнале «Анализ» г-н Стросон предложил точку зрения на истину, которую, как это станет ясным, я не принимаю. Он отрицает «семантическое» объяснение истины на том совершенно верном основании, что фраза «является истинным» не используется в разговоре по поводу *предложений*, и подкрепляет свою позицию с помощью изобретательной гипотезы о том, каким образом значение можно спутать с истиной. Однако всего этого все же недостаточно для доказательства того, что он хочет, а именно: «является истинным» не используется в разговоре (или что «истина не является свойством чего-либо») *о чем бы то ни было*. Поскольку эта фраза все же используется в разговоре по поводу *утверждений* (которые г-н Стросон в своей статье ясно не отличает от предложений). Далее, он поддерживает точку зрения «логической избыточности» до такой степени, что соглашается, будто сказать, что *ST*, не означает высказать нечто большее, чем утверждение о том, что *S*. И все же он имеет разногласие с данной точкой зрения, поскольку полагает, будто сказать, что *ST*, значит *сделать* нечто большее, чем только утверждать, что *S*, а именно: *усилить* или *дать согласие* (или что-то в этом роде) на уже сделанное утверждение о том, что *S*. Понятно, почему я не принимаю первую часть этого. Но что можно сказать о второй части? Я согласен с тем, что сказать, что *ST*, по важным лингвистическим обстоятельствам зачастую означает подтверждение *tstS* или согласие с *tstS*. Однако это не доказывает, будто говорить, что *ST* не означает также того, что в то же самое время делается утверждение о *tstS*. Говорить, что я верю в ваше «да» в ситуации принятия вашего утверждения, есть то же самое, что сделать утверждение, которое не производится с помощью строго перформативного высказывания «Я принимаю ваше утверждение». Вполне обычные утверждения имеют перформативный «аспект». Словами о том, что вы роконосец, можно нанести оскорбление, но одно-

³⁰ Сравни необычное поведение «было» и «будет», когда они прилагаются к «истинный» или к «вероятный».

временно и сделать утверждение, которое истинно или ложно. Более того, г-н Стросон, кажется, ограничился случаем, когда я *говорю*: «Ваше утверждение истинно» или нечто в этом роде, но как быть в случае, когда вы утверждаете, что *S*, а я ничего не говорю, а *смотрю и вижу*, что ваше утверждение истинно? Я не представляю, каким образом этот критический случай, для которого нет аналогий со строго перформативными высказываниями, мог бы получить ответ с позиции г-на Стросона.

Один заключительный момент. Если признается (*если*), что довольно скучное, однако удовлетворительное отношение между словами и миром, которое здесь обсуждалось, в действительности имеется, то почему фраза «является истинным» не может быть нашим способом его описания? И если не она, то что же еще?

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА¹

ОБРАЗЦЫ СМЫСЛА:

- 1.1. Что-есть-значение (слова) «крыса»?
- 1.11. Что-есть-значение (слова) «слово»?
- 1.21. Что такое «крыса»?
- 1.211. Что такое «слово»?
- 1.22. Что такое «морда» крысы?
- 2.1. Что-есть-значение (фразы) «Что-есть-значение?»?
- 2.11. Что-есть-значение (предложения) «Что-есть-значение (слова) “X”?»?

ОБРАЗЦЫ БЕССМЫСЛИЦЫ:

- 1.1. Что-есть-значение слова?
- 1.11. Что-есть-значение любого слова?
- 1.12. Что-есть-значение слова вообще?
- 1.21. Что такое значение-слова?
- 1.211. Что такое значение-(слова)-«крыса»?
- 1.22. Что такое «значение» слова?
- 1.221. Что такое «значение» (слова) «крыса»?
- 2.1. Что-есть-значение (фразы) «значение слова»?
- 2.11. Что-есть-значение (предложения) «Что есть значение (слова) “X”?»?
- 2.12. Что-есть-значение (предложения) «Что такое “значение” “слова” “X”?»?

¹ Статья «Значение слова» была включена составителем Д. Д. Уорноком в сборник работ Остина под названием «Philosophical Papers», вышедший в свет в 1961 г. в Оксфорде, через год после смерти философа. Данный перевод выполнен А. Л. Золкиным по 2-му изданию книги (1970 г.), сс. 55–75. — *Прим. ред. А. Ф. Грязнова.*

I

Эта статья посвящена анализу фразы «значение слова». Она состоит из четырех частей, первая из которых мне представляется довольно банальной, зато вторая часть является крайне запутанной. Сначала я попытаюсь показать, что фраза «значение слова» является в общем опасной фразой-бессмыслицей. В двух других частях я в свою очередь рассматриваю два часто возникающих в философии вопроса, которые явно нуждаются в новом и тщательном исследовании, если мы не позволим больше навязывать нам эту «удобную» фразу «значение слова».

Я хочу начать с некоторых замечаний по поводу «значения слова». Полагаю, что многие уже представили себе почти все или хотя бы часть того, о чем я буду говорить. Но поскольку это нельзя отнести ко всем, то, подвергая порке новообращенных, я извиняюсь перед ними.

Одно предварительное замечание. Справедливо утверждается, что только предложение имеет значение. Правда, мы можем попросить «отыскать значение слова» в словаре. Тем не менее кажется, что смысл, в котором слово или фраза «имеют значение», произведен от смысла, в котором «имеют значения» предложения. Следовательно, сказать, что слово или фраза «имеют значение», значит сказать, что существуют предложения, в которых они содержатся и эти предложения «имеют значения». Знать же значение, которое имеют слово или фраза, значит знать значения предложений, в которых они содержатся. Все, что может сделать словарь, когда мы «отыскиваем значение слова», это предложить помощь в понимании предложений, содержащих данное слово. В исходном смысле то, что «имеет значение», является предложением. Предшествующие философы, обсуждавшие проблему «значения слова», были склонны допускать специфические ошибки, которых избежали более поздние философы, обсуждавшие, скорее, параллельную проблему «значения предложения». И если мы хотим сохранить бдительность по отношению к этим специфическим ошибкам, то должны подробно их рассмотреть.

Можно привести множество примеров предложений, содержащих фразу «Значение слова является таким-то». «Он не знает или не понимает значения слова *пила*». «Я объясню ему значение слова *древко*» и так далее. Я прежде всего собираюсь рассмотреть общий вопрос: «Что есть значение *того-то?*», или «Что является значением *слова то-то?*»

Предположим, что в повседневной жизни меня спросили: «Что является значением слова *характерный?*» Я могу отреагировать двояко. Либо я отвечаю, пытаясь *словами* описать то, чем является характерность, предлагая для этого примеры предложений, в которых используется слово *характерный*, а также примеры предложений, в которых данное слово не используется. Давайте назовем этот *вид* ответа «синтаксическим объяснением» слова «характерный» на данном языке. С другой стороны, я могу делать то, что можно назвать «демонстрацией семантики» слова, позволяя спросившему *представить* себе или даже реально *испытать* ситуации, корректно описываемые предложениями, содержащими слова «характерный», «характерность» и т. д., а также ситуации, для описания которых *не следует* использовать данные слова. Это, конечно, простой случай, но эти два *вида* процедур будут возможны по крайней мере для наиболее общеупотребительных слов. Если же я захочу выяснить, «понимает ли он значение слова *характерный?*», то также должен действовать этими двумя способами, которые, вероятно, не могут быть отделены один от другого.

Получив предложенным выше способом ответы на вопросы типа: «Что является значением (слова) “крыса”?», «Что является значением (слова) “кошка”?», «Что является значением (слова) “циновка”?» и оставаясь философами, мы пытаемся задать следующий *общий* вопрос: «Что такое значение слова?» Однако в этом вопросе есть какой-то подлог. Мы не подразумеваем с его помощью вполне приемлемый вопрос: «Что такое значение (слова) “слово”?», поскольку *этот* вопрос будет не более общим, чем вопрос о значении слова «крыса», и на него можно ответить сходным образом. Скорее, мы хотим спросить: «Что такое значение слова—вообще?» (или «любого слова»). Теперь, если мы на мгновение остановимся для того, чтобы подумать, то обнаружим, что это совершенно абсурдный вопрос, чтобы пытаться на него отвечать. Я могу задавать только вопросы, имеющие форму: «Что такое значение “X”?», если «X» есть некое конкретное слово, о котором спрашивается. Наш предполагаемый общий вопрос в действительности является сомнительным вопросом — одним из тех, что часто возникают в философии. Мы можем называть это заб-

луждение спрашиванием «ничего-в-частности», которое обычно осуждается здравомыслящими людьми, но с некоторым самодовольством признается философами и называется ими «генерализацией». Можно привести множество примеров подобных заблуждений, в частности, со словом «реальность». Мы начинаем с обычного вопроса: «Как можно отличить реальную крысу от воображаемой крысы?» а заканчиваем вопросом: «Что такое реальная вещь?» — который просто приводит к возникновению абсурда.

Ошибку в данном случае мы можем проиллюстрировать следующим образом. Вместо того чтобы спрашивать: «Что такое значение (слова) “крыса”?» — мы можем спросить: «Что такое “крыса”?» и т. д. Но если наш вопрос будет поставлен в этой форме, то становится очень трудно сформулировать любые общие вопросы, интересующие нас в данный момент. Может быть, подойдет форма: «Что такое что-нибудь?» Немногие философы были настолько безрассудно храбры, чтобы отважиться задавать подобные вопросы. Поэтому мы не должны склоняться к тому, чтобы обобщать вопрос «Знает ли он значение (слова) “крыса”?» до вопроса «Знает ли он значение слова?», который становится просто нелепым.

Столкнувшись лицом к лицу с абсурдным вопросом «Что есть значение слова?» и, возможно, неясно признавая, что он и должен быть абсурдным, мы, тем не менее, не спешим махнуть на него рукой. Вместо этого нам следует тщательно изучить трансформации этого вопроса. До сих пор у нас спрашивали: «Что-есть-значение (слова) “крыса”?» и т. д., вплоть до «Что есть-значение слова?» Сбитые с толку, мы изменим написание дефиса, чтобы спросить: «Что есть значение-слова?» или «Что такое “значение” слова?» (1. 22) Для краткости я только укажу другой вопрос (1.21). Легко видеть, насколько эти вопросы отличаются один от другого. Однако множество традиционных ответов типа «понятие», «идея», «представление», «класс сходных ощущений» равно являются сомнительными ответами на псевдвопрос. Продвигаясь или, скорее, возвращаясь на несколько шагов назад, мы продолжим задавать вопросы типа «Что есть значение-слова “крыса”?», который настолько же сомнителен, насколько вопрос «Что-есть-значение (слова) “крыса”?» подлинен. И снова мы отвечаем: «идея крысы» и так далее. Насколько забавна данная процедура, можно себе уяснить из следующего примера. Предположим, что здравомыслящий человек, находясь в затруднении, спрашивает меня: «Что является значением (слова) «влажность» и получает ответ: «Идея понятия “влажность”» или «Класс чувственных данных, которые соответствуют тому, чтобы можно

было сказать: “Влажно”. Скорее всего, этот человек сочтет меня слабоумным. Мне же после этого следует сделать вывод, что я предложил ему объяснения не того сорта, которые он от меня ожидал.

Для того чтобы разоблачить этот псевдovoпрoс, давайте рассмотрим параллельный случай, который пока еще никого не вводил в заблуждение. Предположим, что я спрашиваю: «В чем смысл совершения того-то-и-того-то?» Например, я спрашиваю старого священника Уильяма: «В чем смысл стояния на голове?» или «В чем смысл балансирования угрем на кончике носа?» Получив стандартный ответ, я задаю свой третий вопрос: «В чем смысл совершения чего-нибудь — не чего-нибудь в частности, а просто чего-нибудь?» Тут он меня, без сомнения, просто столкнет с лестницы. Но кто-то другой, поставив этот же вопрос и не найдя на него ответа, очень возможно, будет вынужден покончить жизнь самоубийством или обратиться к церкви. (К счастью, на вопрос «Каково значение слова?» реагируют менее серьезно, ограничиваясь написанием книг.) С другой стороны, более смелый интеллектuaл станет, без всякого сомнения, спрашивать: «В чем смысл-совершения-некоторого-дела?» или «В чем “смысл” совершения чего-то?» переходя постепенно к вопросам типа «Что является смыслом-поедания-сала?» и т. п. Таким образом, мы должны будем завести новый универсум сущностей «смысл совершения», не сомневаясь предварительно в их существовании.

Для прояснения ситуации давайте рассмотрим пример, который *отличен* от случая «Что такое значение?». Я могу не только спросить: «Что такое квадратный корень из 4?» но также задать вопрос: «Что такое квадратный корень из числа?» который или абсурден, или эквивалентен вопросу: «Что такое “квадратный корень” из числа?» Я могу дать дефиницию «квадратного корня» из числа, а именно: для любого данного числа X «квадратный корень из X » есть определенная дескрипция другого числа Y . Приведенный пример отличается от нашего случая тем, что «значение p » не является определенной дескрипцией какой-либо сущности.

Общий вопрос, который мы хотим задать по поводу «значения», наилучшим образом формулируется так: «Что-есть-значение (фразы) «что-есть-значение (слова) “ X »?». Тип ответа, который нам следует дать на этот вполне разумный вопрос, — тот самый, с которого я начинал обсуждение. Когда меня спрашивают: «Что-есть-значение (слова) “ X »?» — я отвечаю, объясняя его синтаксис и демонстрируя его семантику.

Это все должно казаться очевидным, но я хотел бы отметить, что сказанное, однако, легко забывается. Даже те, кто считают, что «понятия», «абстрактные идеи» и т. д. являются фиктивными сущностями, которым мы частично обязаны нашими вопросами по поводу «значения слова», тем не менее думают, будто есть *нечто*, являющееся «значением слова». Так, Хэмпшир^{2:3} подверг критике теорию, согласно которой существует такая вещь, как «значение слова». Он считает ошибочным мнение о том, что есть *единичная* вещь, называемая значением; и если «понятие» на эту роль не подходит, то ни один «образ» не может быть единственным значением общего слова. На основании этого Хэмпшир посчитал, что значением слова в действительности должен быть «класс сходных единичных идей». «Если нас спрашивают: «Что это значит?» — то мы указываем (!) класс единичных идей». Но «класс единичных идей» так же является фиктивной сущностью, как «понятие» или «абстрактная идея». Сходным образом Ч. У. Моррис (в *Энциклопедии единой науки*) критиковал тех, кто считает «значение» чем-то определенным, тем, что «просто локализовано» где-то. Ошибка, по его мнению, заключается в том, что люди думают о «значении» как о виде сущности, которая может быть полностью описана без указания на общую деятельность «семиозиса».⁴ Он также сделал несколько непродуманных замечаний по поводу «десигнатума» слова — каждый знак имеет десигнатум, который представляет собой не единичную вещь, а *тип*, или *класс*, объектов. Но этот «десигнатум» есть такая же фиктивная сущность, как и «платоновская идея», вводимая из-за той же самой ошибки разыскания «значения (или десигнатума) слова».

Почему же мы склонны незаметно возвращаться назад, на проторенный путь заблуждений? На это есть три главные причины. Во-первых, существует странная уверенность в том, будто все слова являются *именами*, т. е. фактически *собственными* именами. Поэтому они обозначают и указывают тем же самым способом, что и собственные имена. Но точка зрения, признающая, что общие имена «имеют денотат» так же, как его имеют имена собственные, столь

² Ideas, Propositions and Signs // *Proceedings of the Aristotelian Society*, 1939–1940.

³ Хэмпшир Стюарт Ньютон (р. 1914) — английский философ-аналитик, автор книги «Мысль и действие» (1959). — *Прим. ред.*

⁴ Американский философ и логик Чарльз Моррис в своей книге «Знаки, язык и поведение» (1946) опирается на понятие «семиозис», впервые введенное основателем прагматизма Чарльзом Пирсом. Оно обозначает взаимодействие знака, его объекта и его интерпретанта. Семиотическое действие не сводимо к бинарным отношениям. Термин «значение» Моррис считал недостаточно точным для научного анализа знаковых явлений. — *Прим. ред.*

же ошибочна, как и точка зрения, признающая, что собственные имена «имеют коннотацию»⁵ так же, как ее имеют общие имена. Во-вторых, мы страдаем более общей болезнью, которая заключается в следующем. Если мы даем анализ определенного предложения, содержащего слово или фразу «X», мы склоняемся к тому, чтобы по результатам нашего анализа выяснить: «Что в этом есть “X”?» Например, мы провели анализ предложения «Государство владеет этой землей» с помощью предложений об отдельных людях, их отношениях и взаимодействиях. Затем мы спрашиваем: «Хорошо, но что во всем этом есть государство?» И могли бы ответить, что государство есть совокупность индивидов, объединенных определенным образом. Или если мы проанализировали утверждение «Деревья могут существовать невоспринимаемыми» через утверждения о чувственных данных, то не успокоимся до тех пор, пока не скажем, что нечто «действительно» «существует невоспринимаемым» — отсюда теории по поводу «сенсibiliй». ⁶ В нашем же случае, получив все, что требовалось, а именно объяснение вопроса «Что-есть-значение “Что-есть-значение (слова) “X”?»», мы все еще склоняемся к ошибочному предположению о том, что наше исходное предложение содержит составляющую часть «значение (слова) “X”», чтобы спросить: «Хорошо, но что же есть значение слова “X” в конце концов?» И мы отвечаем: «Класс сходных единичных идей».

Разумеется, мое объяснение мотивов, лежащих за всем этим, может быть только удобной дидактической схемой. Хотя я не думаю, что это так, но я осознаю, что нельзя приписывать другим мотивы, особенно рациональные мотивы. Так или иначе, но я утверждаю, что нет ни одного простого и имеющегося под рукой слова, называемого «значением (слова) “X”».

⁵ Как логический термин «коннотация» (соозначение) была введена Д. С. Миллем (1806–1873), отличавшим ее от денотации (означения). В первом случае имеется в виду указание на совокупность свойств обозначаемого предмета, во втором — указание на предметное значение имени. Так называемые коннотативные имена («человек») прямо обозначают предмет и косвенно указывают на его свойства, в то время как неконнотативные имена обозначают либо предмет («Джон», «Лондон», «Англия»), либо только свойство («белый», «длинный», «добродетельный»). В языке встречается немало слов, не имеющих денотатов, но имеющих коннотацию, т. е. получающих определение по совокупности известных свойств («единорог», «русалка»). Американский философ-прагматист и логик К. И. Льюис сблизил «денотацию» с понятием экстенционала, а «коннотацию» — с понятием интенционала имени (знака). — *Прим. ред.*

⁶ Термин буквально означает: «то, что может быть ощущаемым». Например, Рассел «сенсibiliями» называл такие «чувственные данные», которые существуют, не будучи актуально воспринимаемыми кем-либо. Остин подверг критике эту и подобные теории в книге «Sense and Sensibilia» (1962). — *Прим. ред.*

II

ТЕПЕРЬ я перехожу к первому из двух положений, которые нуждаются в тщательном исследовании, если нам больше не навязывается «удобная» фраза «значение слова». То, о чем я здесь буду говорить, не столь ясно, как это должно быть.

Мы постоянно задаем вопрос: «Является ли Y значением или частью значения или *содержится* в значении X или нет?» Излюбленный способ ответа на данный вопрос — в свою очередь спросить: «Является ли суждение “ X есть Y ” аналитическим или синтетическим?» Мы предполагаем, что Y либо должно быть частью значения X , либо вообще не есть его часть. Тогда, если Y является частью значения X , следует сказать, что суждение « X не есть Y » будет самопротиворечивым; в то же время если Y не является частью значения X , то сказать, что « X не есть Y », можно без всяких затруднений — такое положение дел будет легко «понятным». Кажется, что все сказанное должно быть чистейшим здравым смыслом. Это и было бы чистейшим здравым смыслом, если бы «значение» было вещью в самом обычном смысле, которая сама состоит из частей. Но оно таковой не является. К сожалению, многие философы, которые знают, что «значение» не является вещью, говорят так, как будто Y должно быть или не быть «частью значения» X . Суть дела заключается в следующем: если «объяснение значения слова» и в самом деле есть особый вид деятельности и если нет ничего, что действительно следует называть «значением слова», тогда фразы типа «часть значения слова “ X ”», как и «левое, висящее в воздухе», являются полностью неопределенными — мы просто не понимаем, что это значит вообще. Мы используем рабочую модель, не соответствующую фактам, о которых мы действительно хотим говорить. Когда же мы рассмотрим именно то, о чем хотим говорить, а не рабочую модель, встанет вопрос о том, что вообще подразумевается под тем, что суждение является или «аналитическим», или «синтетическим». Этого мы просто не знаем. Конечно, мы чувствуем склонность сказать: «Можно легко привести примеры аналитических и синтетических суждений: “Быть профессором” не является частью значения быть человеком» и т. д.; “ A есть A ” является аналитическим (суждением)». Все это так, но от нас ведь требуют общую дефиницию того, что мы подразумеваем под «аналитическим» и «синтетическим». Если же мы лишь собираемся подтвердить нашу догму о том, будто каждое суждение является либо аналитическим, либо синтетическим, то обнаруживаем, что не способны

прибегать к помощи чего бы то ни было, за исключением нашей рабочей модели. С самого начала ясно, что с помощью этой модели не удастся провести различие между синтаксисом и семантикой. Например, говорить о противоречивости каждого предложения (т. е. является ли оно самопротиворечивым или нет) значит говорить, будто все предложения, которые нам запрещается высказывать, нарушают *синтаксические* правила и могут быть редуцированы к буквальным самопротиворечиям. Но при этом упускаются из виду семантические соображения, что, к сожалению, свойственно философам. Давайте рассмотрим два случая в отношении вещей, о которых просто ничего *нельзя сказать*, хотя они и не являются «самопротиворечивыми» и мы не склонны говорить, что имеем «синтетическое априорное» знание их противоречивости (в чем многие, разумеется, были бы заинтересованы).

Начнем со случая, который, будучи отнесен скорее к *предложениям*, чем к *словам*, не совсем соответствует теме разговора, зато сможет нас воодушевить. Возьмем хорошо известное высказывание «Кошка на коврике, но я этому не верю». ⁷ Оно кажется абсурдным. С другой стороны, «Кошка на коврике, и я этому верю» кажется тривиальным. Если мы применим традиционную дихотомию и скажем, что *либо* высказывание *p* предполагает высказывание *r*, *либо p* совместимо с не-*r*, то по отношению к нашему примеру можно сказать, что «кошка на коврике» *предполагает* «и я этому верю», из чего следует тривиальность добавления «и я этому верю», а также абсурдность добавления «но я этому не верю». Конечно, «кошка на коврике» не предполагает того, что «Остин верит, что кошка на коврике», или что «говорящий верит, что кошка на коврике», поскольку говорящий может лгать. На самом деле не *p*, а *утверждение r* предполагает: «Я (тот, кто утверждает *p*) верю, что *p*». «Предполагает» здесь должно быть дано в специальном смысле, так как суть не в том, что «Я утверждаю *p*» предполагает (в обычном смысле) «Я верю, что *p*», поскольку я могу лгать. Смысл здесь тот же, что и при задавании вопроса, когда я «подразумеваю», что не знаю на него ответа. Утверждая *p*, я *даю понять*, что верю, что *p*.

Основание того, почему я не могу сказать «Кошка на коврике, но я этому не верю», заключается не в нарушении синтаксиса, не в том, что это предложение «самопротиворечиво». Скорее, какая-то семантическая конвенция (конечно, имплицитная) по поводу ситуативного использования слов препятствует

⁷ Подобное парадоксальное предложение впервые сформулировал Мур: «Идет дождь, но я этому не верю» («парадокс Мура»). — *Прим. ред.*

высказыванию этого предложения. Но что это такое, еще следует выяснить. Давайте отметим одну важную особенность. Принимая во внимание, что «*p*, и я этому верю» является чем-то тривиальным, а «*p*, но я этому не верю» — бессмысленным, третье предложение «*p*, но я мог бы этому не поверить» вполне имеет смысл. Давайте обозначим эти три предложения *Q*, не-*Q*, «может быть, не *Q*». То, что препятствует нам говорить, что «*p*» предполагает «я верю, что *p*» в обычном смысле слова «предполагает», демонстрируется следующим фактом: хотя не-*Q* (каким-либо образом) абсурдно, «может быть, не *Q*» отнюдь не является абсурдом. Но в обычных случаях предположения не только не-*Q* абсурдно, но и «может быть, не *Q*» тоже абсурдно. Например, «треугольники являются фигурами, и треугольники не имеют формы» не более абсурдно, чем «треугольники являются фигурами, и треугольники могут не иметь формы». Рассмотрение высказывания «может быть, не *Q*» дает возможность определить, в обычном ли смысле *p* «предполагает» *r* или только в специальном смысле слова «предполагать».

Зафиксировав все это, давайте теперь рассмотрим предложение, которое, на мой взгляд, не может классифицироваться или как «аналитическое», или как «синтетическое». Я имею в виду предложение «Этот *X* существует», где *X* есть нечто осязаемое, например, «Этот шум существует». При попытке классифицировать его одни могли бы указать на тривиальность предложения «Этот шум существует» и на абсурдность предложения «Этот шум не существует». Следовательно, можно было бы сказать, что *существование* есть «часть значения» (слова) *этот*. Другие бы отметили, что предложение «Этот шум мог бы не существовать» обладает смыслом. Но тогда *существование* не может быть «частью значения» (слова) *этот*.

Обе стороны, как мы сейчас имеем возможность видеть, корректны в своих аргументах, но некорректны в своих выводах. Истинным же, как представляется, должно быть то, что использование слова «этот» (но не само слово «этот») позволяет понять, что чувственные данные указывают на «существование».

Исторически, вероятно, приведенный факт по поводу трех предложений: «Этот шум существует», «Этот шум не существует» и «Этот шум мог бы не существовать» был выделен еще до того, как философы заявили, что предложение «Этот шум существует» должно быть либо аналитическим, либо синтетическим. Многие философы тревожились по поводу этого факта, предполагая, что предложения должны быть теми или другими, и с болью осознавали труд-

ности выбора. Я считаю, что рассмотрение аналогий между этим и другими случаями освободит нас от пугала классификации, в основе которой лежит предположение о том, будто *все* предложения должны быть *либо* аналитическими, *либо* синтетическими. Это придаст нам смелости рассуждать о фактах во всей их действительной сложности. (По крайней мере, это должно привести к пересмотру «Цезарь лыс» и похожих высказываний. Но я не могу здесь в это углубляться.)

Однако мы пока едва только приступили к серьезным рассуждениям. Мы только почувствовали первоначальный трепет, обычно испытываемый, когда прочные основания предубеждения начинают уходить из-под ног. Вероятно, существуют другие случаи, когда нет возможности сказать, не впадая в заблуждения, является ли *У* «частью значения» *Х* или не является.

Давайте рассмотрим фразы «Считается мною хорошим» и «Мною одобрено». Должны ли мы здесь спешить с дихотомией: *либо* «было мною одобрено» *есть* часть значения «считалось мною хорошим», *либо* нет? Является ли предложение «Я считаю *Х* хорошим, но я не одобряю *Х*» самопротиворечивым? Конечно, *вербально* оно не самопротиворечиво. «Реальную» же его самопротиворечивость будет сложно установить. Мы, разумеется, можем полагать, что оно должно быть *либо* тем, *либо* иным, «только трудно решить, каким», или же что «это зависит от того, как мы используем слова». Но те ли это реальные трудности, которые преследуют нас? Конечно, *если бы* было установлено, что каждое предложение *должно* быть *либо* аналитическим, *либо* синтетическим, тогда трудности должны быть таковы. Но дело в том, что это не было установлено, нет даже объяснения того, что именно эта дистинкция подразумевает, поскольку она задается исключительно через указание на нашу убогую рабочую модель. «Я считаю, что *Х* хороший, но я не одобряю его» может не быть ни самопротиворечивым, ни «совершенно осмысленным» (подобно тому как «Я считаю, что *Х* восхитительный, но я не одобряю *Х*» является «совершенно осмысленным»).

Вероятно, этот пример все же не поставил вас в неловкое положение. Нельзя ожидать, что приводимые примеры равно понравятся всем. Давайте приведем некоторые другие примеры. Является ли суждение «То, что является добром, должно существовать» аналитическим или синтетическим? Согласно теории Мура, оно является «синтетическим», к тому же в «Принципах этики» он полагает его истинность как нечто само собой разумеющееся. Но это как раз иллюстрирует один из главных недостатков акцентирования того, что предложе-

ние обязательно *должно* быть либо синтетическим, либо аналитическим: упускаются некоторые общие предложения, которые определенно не являются аналитическими, но которые трудно понимать как ложные, другими словами, речь идет о «синтетическом *априорном* знании». Рассмотрим предложение, имеющее дурную славу: «Розовый больше подобен красному, чем черному». Было бы опрометчивым считать, что здесь мы имеем «синтетическое *априорное* знание» на том лишь основании, что «быть скорее красным, чем черным» не является «частью значения» или «частью определения» «розового» и что «непостижимо», что розовый должен быть более подобен черному, чем красному. Даже если это и так, т. е. данные фразы вообще имеют ясное значение, все же остается вопрос: имеем ли мы здесь «синтетическое» априорное знание?

Рассмотрим несколько примеров из Беркли. Является ли *протяженное* «частью значения» *окрашенного* или *оформленного* или же *оформленное* есть «часть значения» *протяженного*? Будет ли «*est sed non percipitur*»⁸ самопротиворечивым, если говорить о чувственных данных, или нет? И не указывает ли наша обеспокоенность на возможность упрощенного понимания всего этого?

Ясно высказаться о том, какие же имеются возможности, я в настоящее время не могу. (1) Очевидно, что мы должны отбросить старую рабочую модель, поскольку принимаем во внимание существование различия между синтаксисом и семантикой. (2) Но также очевидно, что наша *новая* рабочая модель, т. е. предполагаемый «идеальный» язык, во многих отношениях является самой неадекватной моделью любого *действительного* языка: аккуратное разделение синтаксиса и семантики, эксплицитно сформулированные правила и конвенции, точное определение границ их применения — все это вводит в заблуждение. *Действительный* язык содержит немного, если вообще содержит, эксплицитных конвенций, и в нем вообще нет резких границ между сферами действия правил, между синтаксическим и семантическим. (3) В конце концов заметно наличие трудностей, связанных с нашим воображением, с его особой зависимостью от слов.

Дабы укрепить наше убеждение, что эти рассуждения могут послужить ликвидации самой дилеммы «аналитическое или синтетическое», давайте рассмотрим сходный и более близкий случай. Разве не очевидно, что любое высказывание должно предполагать нечто противоречащее ему? Тем не менее оказывается, что это не так. Предположим, что я в течение четырех лет жил в гармонии и дружбе со сварливой женой, а затем происходит скандал.

⁸ Существует, однако не воспринимается (лат.). — Прим. ред.

Возможно, мы спрашиваем себя: «Это действительно сварливая жена или это не сварливая жена? Это либо так, либо не так, но мы не можем быть уверены, как именно». Но ни «это действительно сварливая жена», ни «в действительности это не сварливая жена» не соответствуют фактам семантически, поскольку предназначены для других ситуаций. Вы не можете сказать, что в первом имеется в виду то, что связано со скандалом, а во втором — то, что вело себя подобным образом в течение четырех лет. Сходные трудности существуют по поводу выбора между фразами «это галлюцинация» и «это не галлюцинация». Здравомыслящий человек обращается в таких случаях к Ватсону со словами: «А что бы вы сказали? Как бы вы описали это?» Трудность заключается именно в том, что вообще невозможны короткие описания, которые бы не вводили в заблуждение. Единственное, что можно без труда сделать, это представить описание фактов со всеми подробностями. Обычный язык ломается в экстраординарных случаях. (В таких случаях причина поломки является семантической.) А вот *идеальный* язык, без сомнения, не будет *ломаться*, что бы ни случилось. Например, в физике, где наш язык лаконичен для того, чтобы точно описывать сложные и необычные случаи, мы лингвистически готовы к худшему. В обычном же языке мы к этому не готовы, и слова обманывают нас. Поэтому если мы говорим, будто наш язык подобен идеальному языку, мы искажаем факты.

Рассмотрим теперь фразы «быть протяженным» и «быть оформленным». В обычной жизни мы никогда не попадаем в ситуации, для которых мы были бы обучены говорить, что нечто является протяженным, но не имеет формы, и наоборот. Все мы обучены использовать эти слова только в тех случаях, в которых корректно использовать их вместе. Предположим, однако, что кто-то говорит: «*X* протяженно, но не оформлено». Мы не можем понять, что это «могло бы значить», поскольку вообще нет никакой семантической конвенции, эксплицитной или имплицитной, покрывающей этот случай. Тем не менее так говорить все же не запрещено, поскольку нет ограничивающих правил по поводу того, что мы можем или не можем говорить в *экстраординарных случаях*. И это не *просто* сложность представления экстраординарных случаев, которые доставляют нам беспокойство. И вот еще что. Мы можем описывать то, что воображаем, только с помощью слов, описывающих и вызывающих в памяти самые обычные ситуации, которые мы пытаемся выбросить из головы. Конечно, обычный язык *зашоривает* и без того слабое наше воображение. Могут возникнуть сложности, например, если я скажу: «Способен ли я помыс-

лить случай, когда человек не находится ни в доме, ни вне дома?» Это связано с тем, что я предполагаю обычную ситуацию, когда спрашиваю: «Он дома?» и получаю ответ: «Нет», если человека действительно нет дома. Но допустим, что я представляю себе ситуацию, когда спрашиваю о человеке сразу же после того, как он умер. Тут я тоже понимаю всю несуразность вопроса. Поэтому в нашем положении единственное, что нужно делать, это вообразить или испытать все виды необычных ситуаций, а затем обратиться к самому себе и спросить: «А теперь буду ли я говорить, что протяженное должно быть оформленным?» В необычных ситуациях могут потребоваться новые идиомы.

В заключение данного раздела я должен сказать, что с учетом того внимания, которое мы уделяем фактам *действительного* языка, т. е. тому, что мы можем или не можем говорить и почему, вырисовывается и иной аспект. Хотя и не стоит заставлять действительный язык согласовываться с некоторыми заранее сформулированными моделями, также не стоит успокаиваться в случае обнаружения фактов «повседневного использования» языка, как будто больше нет ничего, что следовало бы обсуждать и открывать. Разумеется, может случиться и случается много такого, что потребует создания нового и лучшего языка описания. И философы часто только этим и занимаются, когда искаженно употребляют слова, что отнюдь не придает им смысла в соответствии с «обыденным употреблением». Возможны самые необычные факты, даже касающиеся нашего повседневного опыта, которые не фиксируют обыкновенные люди и их язык.

III

*П*оследний и, пожалуй, наименее важный пункт, который я хотел бы обсудить, заключается в следующем. Мне кажется, что гораздо больше *пристального* внимания должно быть уделено знаменитому вопросу, постановка которого породила и до сих пор продолжает порождать множество ошибочных теорий, а именно: «Почему мы называем различные вещи одним и тем же именем?» В ответ на этот вопрос одни изобретательные в языке люди придумали теории «универсалий» и тому подобного, т. е. некоторых существующих сущностей, «имя» которых есть имя. Другие («номиналисты») дают более осмотрительный ответ: основание для того, чтобы называть различные вещи одним и тем же именем, заключается в том, что они являются *сходными*, хотя в них и нет ничего *тождественного*. Правда, данный ответ неадекватен во мно-

гих отношениях: он не направлен против путаной формы самого вопроса и не проясняет слово «сходный». Но сейчас мое возражение против номинализма, скорее, таково: *в конце концов не является истинным* то, что все вещи, которые я называю одним и тем же (общим) именем, оказываются «сходными» в самом обычном смысле этого зачастую искажаемого слова.

Очень странно, что «номиналисты» остаются удовлетворенными своим ответом. Если бы они обратились к фактам, достаточно интересным сами по себе, то без труда выдвинули бы более серьезные возражения против своих оппонентов. Поскольку, пока они говорят о *сходстве* вещей, остается возможность сказать: «Ах да, сходные *в определенном отношении*, но это ведь может быть объяснено только с помощью универсалий» (возможны и другие названия для этого патентованного лекарства). Можно также настаивать на том, что сходство «интеллигибельно» только как частичное *тождество* и т. д. Даже те, кто полностью не убежден в правоте одной из сторон, полагают, что языки «тождества» или «сходства» являются альтернативами, выбор между которыми для нас безразличен. Однако если станет очевидным, что мы часто «называем различные вещи одним и тем же именем» по «хорошим основаниям»,⁹ когда вещи не являются «сходными» в обычном значении этого слова, то станет чрезмерно затруднительно настаивать на том, будто «тождественное» наличествует в каждой вещи. А это приведет к тому, что вся позиция будет отвергнута, в чем «номиналист» реально заинтересован, хотя мы и не надеемся излечить тех безнадежных больных, которые уже достигли третьей стадии универсалий.

Оставляя в стороне исторические диспуты, мы обратимся к поиску «хороших оснований», по которым «мы называем различные вещи»¹⁰ одним и тем же именем». Этим увлекательным вопросом, насколько я знаю, обычно пренебрегают как филологи, так и философы. Он лежит в ничейном пространстве между двумя школами, а развивать его в доктрину до конца было бы сложным и утомительным занятием, хотя в то же время и очень полезным. Проблема требует изучения *действительного*, а не *идеального* языка. В то, что польские семантики¹¹ обсуждали такие вопросы, я не верю. Аристотель обращался к этим вопросам, но отрывочно и недостаточно строго.

Я буду просто перечислять наиболее очевидные основания для случаев «называния различных видов вещей одним и тем же именем», которые не сле-

⁹ Разумеется, мы тут не интересуемся простой игрой слов.

¹⁰ Точнее, виды вещей, а не отдельные вещи.

¹¹ Имеются в виду представители львовско-варшавской школы логиков, основателем которой был К. Твардовский (20–30-е гг. XX в.). — *Прим. ред.*

дует сразу же отвергать как «сходства». Я приведу также рассуждения о фактах, предостерегающих нас от ошибок, которые постоянно возникают в философии.

1. Очень простым случаем является тот, на который часто указывал Аристотель: прилагательное «здоровый», когда я говорю о здоровом теле, о здоровом цвете лица, о здоровых физических занятиях. Это слово не просто используется *двусмысленно*: Аристотель сказал бы, что оно используется «паронимически». ¹²; ¹³ Здесь есть нечто, что я называю *первичным смысловым ядром*, т. е. смысл, в котором это слово «здоровый» используется применительно к здоровому телу. Я называю это *ядром*, потому что оно «содержится как часть в двух других смыслах», которые могут быть установлены как «производные от здорового тела» и «вытекающие из здорового тела». Об этом простом и понятном случае постоянно забывают, когда начинают обсуждать вопрос о том, *имеет* ли определенное слово «два смысла» или не имеет таких. Я напоминаю собственные рассуждения о том, имеет ли два смысла слово «существовать» (применительно к материальным объектам и к чувственным данным) или же оно имеет только один смысл. Действительно, мы согласились, что слово «существовать» используется «паронимически», но в отличие от Аристотеля я не утверждаю, что оно имеет «два смысла». Статья Причарда ¹⁴; ¹⁵ о понятии AGATON у Аристотеля содержит классический пример неправильного понимания паронимии, и этим обусловлено его беспокойство по поводу того, действительно ли слово «имеет всегда одно и то же значение» или «имеет несколько различных значений».

Должны ли мы теперь довольствоваться утверждением, что занятие, цвет лица и тело называются «здоровыми» лишь потому, что они «сходные»? Подобное замечание не может не вести к заблуждению. Почему так происходит? И почему бы не обратить внимание на важные и реальные факты?

2. Следующий случай связан с тем, что Аристотель называл «аналогичными терминами». Когда $A : B :: X : Y$, тогда A и X часто называются одним и тем же

¹² Разумеется, встречаются и иные виды паронимии.

¹³ Паронимия — термин, впервые использованный Аристотелем («Категории»). В лингвистике под этим термином понимают «явление частичного звукового сходства слов (паронимов) при их семантическом различии (полном или частичном)» (Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990, с. 368). — *Прим. ред.*

¹⁴ «Понятие AGATON в этике Аристотеля»; эта статья Г. А. Причарда перепечатана в его книге «Моральное обязательство», Оксфорд, 1949.

¹⁵ Причард Гарольд Артур (1871–1947) — английский философ, специалист по этике (сторонник этического интуитивизма) и теории познания. — *Прим. ред.*

именем, например подножие (*foot*) горы и нижняя часть списка (*foot*). Существуют хорошие основания для именованя того и другого этим словом, но можем ли мы сказать, что они являются «сходными»? Во всяком случае, нет — в обычном смысле. Мы можем сказать, что отношения, в которых они стоят к *B* и *Y*, соответственно суть сходные отношения. Хорошо, но ведь *A* и *X* не являются отношениями, в которых они находятся, и тот, кто называет *A* и *X* указанным словом, обращая внимание на их «сходство», заблуждается. Во всяком случае необходимо помнить, что «сходство» скрывает такую возможность. (Особенно серьезные случаи «аналогий» возникают, если термин использован, как утверждает Аристотель, «в различных категориях». Например, когда говорится об изменении как о качественном изменении, изменении позиции, места и т. д., то настолько далеким от истины будем считать, что «изменения» «сходны».)

3. Другой случай имеет место, когда я называю *B* тем же самым именем, что и *A*, потому что он похож на *A*; *C* называю тем же самым именем, что и *B*, потому что он похож на *B*; *D* называю тем же самым именем, что и *C*, потому что он похож на *C*, и т. д. Но в конце концов окажется, что *A* и *D* совершенно не похожи друг на друга в любом обычном смысле. Это очень распространенный случай, и опасность очевидна, когда мы начинаем отыскивать нечто «тождественное». ¹⁶

4. Следующий случай такой. Возьмем слово типа «фашист». Исходно оно указывает на большое количество признаков, скажем на *X*, *Y* и *Z*. Как мы будем использовать слово «фашист» применительно к тому, кто обладает только одной из перечисленных характеристик? Те, кого именуют «фашистами» в этих смыслах, которые мы будем называть «неполными смыслами», могут вообще не быть «сходными» друг с другом. Это затруднение более всего заботит нас тогда, когда исходный «полный» смысл оказывается забытым. Сравните различные значения слова «цинизм». Будет непросто отыскать здесь «сходства». Иногда «неполнота» сходства соединяется с явным отсутствием сходства, так что приходится изобретать особую фразу, предупреждающую об этом, например «корыстная любовь».

5. Другой хорошо известный случай связан с определяющим и определяемым: цвет и красный, зеленый, голубой и т. д. Так как этот случай хорошо известен, я не буду его обсуждать, хотя скептически отношусь к обычно предлагаемому объяснению. Вместо этого хочу указать на широкую распростра-

¹⁶ Это воспроизведение идеи «семейных сходств» позднего Витгенштейна (см.: *Wittgenstein L. Philosophical Investigations. Oxford, 1953, § 67*).

ненность данного вида взаимоотношений; следует с подозрением относиться к тем случаям, где мы его обнаруживаем. Характерным примером является «удовольствие». Мы можем сказать, что удовольствия не только похожи друг на друга в том, что они приятны, но также различаются тем же способом, каким они приятны.¹⁷ Не может быть большей ошибки, чем гедонистическая ошибка (впрочем, воспроизведенная негедонистами), будто удовольствие всегда является одним сходным чувством, которое изолировано от приводящей к его возникновению деятельности.

6. Следующий случай часто приводит в замешательство. Он связан с такими словами, как «молодость» и «любовь», которые иногда означают любимый объект или того, кто молод, а иногда страсть «любовь» и качество (?) «молодость». Эти случаи, конечно, легкие, но предположим, что мы взяли существительное «истина». В таком случае разногласия между теоретиками в большой мере зависят от того, интерпретируют ли они это слово как название субстанции, качества или отношения.

7. В заключение я хочу рассмотреть особенно интересный вид случаев, которые, вероятно, являются причиной путаницы больше, чем мы это осознаем. Обсудим смысл, в котором я говорю о крикетной бите, крикетном мяче и крикетном судье. Основание для использования одного и того же имени, возможно, заключается в том, что все они играют специальную роль в деятельности, называемой игрой в крикет. Но не следует говорить, что «крикетный» означает просто «использованный в крикете», поскольку мы можем понять, что мы подразумеваем под крикетом, только объясняя функции биты, мяча и т. д. Аристотель утверждал, что слово «добро» может быть использовано только подобным способом. Очевидно, что мы легко можем сбиться с пути, по которому нам следует идти, если будем искать «дефиницию» слова «добро» в обычном смысле или будем искать то, как «добрые» вещи являются «сходными» одна с другой. Если же мы попытаемся выяснить с помощью такого метода, что означает «крикет», то нам придется считать, что это неанализируемое сверхчувственное качество.

На основании этих примеров становится очевидным, что дистинкция здравого смысла между «Что есть значение слова "X"»? и «Какие единичные вещи есть X и до какой степени они таковы?» ни в коем случае не имеет универсального применения. Эти вопросы не могут быть различены. Если рассматрива-

¹⁷ Если мы скажем, что они называются «удовольствием», поскольку «они сходны», то мы упустим этот факт.

ется некоторое слово, например «гольф», то нет смысла спрашивать: «Что есть значение гольфа?», «Что за вещь есть гольф?» Хотя *есть* смысл спрашивать о том, какие компоненты деятельности составляют гольф, какие принадлежности (клюшки и пр.) используются в гольфе и какими способами. Аристотель считал, что «счастье» есть слово такого же вида. Очевидно, мы сильно сбились с пути, если пытаемся объяснить его, как если бы это было слово наподобие «белизны».

Этих суммарно рассмотренных примеров достаточно для того, чтобы показать, насколько важно иметь доскональное знание различных оснований, по которым различные вещи называются одним и тем же именем. Если мы поспешим с определениями, подобно Платону или многим другим философам, если мы используем жесткую дихотомию «одно и то же значение — различные значения» или «что *X* означает» как отличное от «вещей, которые есть *X*», то будем просто создавать путаницу. Вероятно, кто-то сейчас обсуждает эти вопросы серьезно. Все, что может быть найдено в традиционной логике, — это указание на «аналогичные слова», которые часто используются для того, чтобы свалить в одну кучу случаи, когда слова не имеют ни одного и того же значения, ни нескольких различных значений. Все, на что способны теоретики «сходств», это заявлять, что вещи, называемые одним и тем же именем, должны быть сходными до некоторой степени, что *очевидно* неверно. Каждый, кто захочет увидеть сложность проблемы, должен только найти в хорошем словаре такое слово, как «голова»: различные значения этого слова будут здесь соотнесены друг с другом многими способами.

Итак, я хочу суммировать содержание этой статьи. Во-первых, фраза «значение слова» является сомнительной фразой. Во-вторых, требуется перепроверка фраз, подобных тем двум, которые я обсудил: «быть частью значения» и «иметь одно и то же значение». Здесь догматиков потребуется подтолкнуть, хотя история показывает, что иногда лучше не тревожить их сон.

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- 'Accurate' (правильный, точный) — 227, 229
- 'Actually' (на самом деле) — 232–233
- 'Appears' (производит впечатление, представляется) — 161–162, 163–164
- 'Delusion' (галлюцинации, мании, заблуждения) — 152–159
- 'Exact' (точный, именно тот) — 228
- 'Entail' (влечет за собой) — 223–224
- 'Exist' (существовать) — 185 прим.
- 'Good' (хороший) — 182, 186, 189, 191 прим.
- 'Like' (как, похожий на) — 166–167, 190–192
- 'Looks' (выглядит) — 160–161, 162–168
- 'Precise' (точный) — 226, 227–230
- 'Real' (настоящий, реальный, действительный) — 147 прим., 178, 180–184, 192, 194–195
- как «верховодящее» слово — 186–187
- как «многомерное» слово — 187–189
- как слово — «согласователь» — 189–191
- как слово, требующее существительного — 185–186
- 'Seeing as' (видеть как) — 202, 209–210
- 'Seems' (кажется) — 162–165, 168
- 'Vague' (неопределенный) — 226–228, 229–230
- 'Veridical' (достоверный) — 144, 152
- Айер А. Дж.* — 137, 139, 140, 141, 150, 160, 226, 229–230, 231
- об аргументе от иллюзии — 151–152, 154, 157–160, 175–180
- о видимости и реальности — 192–196
- о неподверженности исправлению и верификации — 211–218, 220–221, 222
- о чувственных данных — 168–171, 172–175, 197–207, 210–211
- Аристотель* — 182, 186 прим.
- Бехабитивы* — 71, 73, 74–76, 98, 120, 121, 127–129
- Беркли* — 137, 139, 180, 231–234, 235, 236, 238
- Булева алгебра* — 25
- Вердикты* — 236–238
- Вердиктивы* — 43, 76, 98, 114, 120–126, 128, 129
- Верификация*, непосредственная — 214–215
- окончательная — 215, 220–225
- Видимость и реальность*, в трактовке Айера — 192–196
- Витгенштейн Л.* — 209
- Восприятие, непосредственное и опосредованное* — 138, 141, 143, 146–150, 168, 199, 231–234, 237
- Восприятия глаголов, разные смыслы* — 198–211
- Восприятия, обманчивые и достоверные* — 168–175, 176, 198–199
- экзистенциально и качественно обманчивые — 192–196
- Впечатления зрительные* — 151, 158
- Высказывания*, в трактовке Айера — 216 прим.
- Галлюцинации* — 151, 152–156, 159, 184, 186

в отличие от иллюзий — 152–156
Гарвард — 130
Гераклит — 137
*Глаголов восприятия, разные смы-
лы* — 198–211

Двоение в глазах — 151, 197–198, 200–
202, 206
Декарт Р. — 137, 144, 171 прим., 211
Дефекты — 83
Достоверность — 140, 143, 181, 211,
220

Зеркальные отражения — 144, 151, 155,
158–159, 172
Злоупотребления — 14, 25, 26, 31
Знания теории — 212, 225

Измерение — 228
Иллокуция — 85, 89, 91, 93–95, 97, 100,
106
Иллюзии, аргумент от — 139, 150–160,
168–180
аргумент от, в оценке Айера — 175–180
в отличие от галлюцинаций — 152–155
по определению Прайса — 156–157
Истинность — 22, 46–48, 52, 53, 65, 77,
108, 110, 116, 118–120, 122

Кант И. — 14, 180
Карнап Р. — 214–216
Комиссивы — 98, 120, 121, 125–129
Констативы — 52, 61, 62, 65, 68, 78, 80,
83, 99, 101, 108, 110, 115, 118, 120

Локк Дж. — 140, 143, 180
Локутивное действие — 80, 83, 84–86,
88–90, 101, 108, 112, 117, 118–119

Материальная вещь — 138, 139, 140–
142, 151–152, 158–159, 168–170,
176–180

Материальных объектов язык — 213,
227, 238
Миражи — 151–152, 154, 159
Многообразие чувственное — 179–180
Мур Дж. — 47

Наивный реализм — 142 прим.
Нарушения — 24, 37, 41, 122
Невостребованности — 25, 26, 38, 40
Невыполнимости — 26, 27, 38, 43
Неискренности — 26, 41, 43, 44, 49, 71,
116
Неподверженность исправлению —
167, 211–212, 215–219, 225, 226
Непонимания — 36, 38, 41, 43
Неправильности — 26, 38
Неудачи — 23, 24, 25–29, 31–33, 37, 38,
40, 41, 43–45, 49, 53, 56, 73, 88,
110–112, 128
Неуспешность (неуспешный) — 23, 24,
33, 39, 41, 43, 48, 49, 52, 53, 110–
112, 128
Норматив — по всему тексту

Обман чувств — 140, 142–143, 144–146,
173
Ограничения — 14, 32, 89, 105
Определение остенсивное — 223, 224–
225 прим.
Осечки — 25, 26, 29, 32

Первоначальное употребление — 65, 68
Перлокуция — 65, 68, 85, 86, 91
Перспектива — 144, 151, 155, 157
Перформатив — по всему тексту
Питчер Дж. — 136
Платон — 138, 211
Поверхность — 156–157, 168–169, 208
Поверхности часть — 156–157, 168–
169, 208
Поле зрения — 233
Прагматисты — 116

- Прайс Г. Г.* — 137, 141 прим., 142 прим., 156, 157, 169–171, 172–173, 180, 198 прим., 211–212, 231
- Предложение* — 13, 16, 17, 20, 28, 44, 47–49, 51, 61, 68, 75, 82, 83, 85, 86, 90, 91, 96, 104, 112, 123, 124
- Предложения наблюдения* — 214–215
- Предложения, эмпирически проверяемые* — 214–215
- в отличие от утверждений — 225
- Преломление* — 151, 154, 155, 173
- Препятствие* — 25, 35, 38, 58, 112
- Пресуппозиция* (предполагающий, предполагать) — по всему тексту
- Привидения* — 146, 154, 205 прим.
- Протоколы* — 214
- Процессы в мозге* — 169, 173, 182
- Рассел Б.* — 139
- Реализм* — 139
- Реализм наивный* — 142 прим.
- Ретический (рема)* — 79, 81–83, 95, 99, 105, 117
- Свидетельства* — 179, 216, 219–221, 225, 237–238
- Скептицизм* — 235, 237
- Следование* — 223
- Сновидения (сны)* — 144, 156, 167, 171
- Схоластика* — 138, 139, 145
- Уитмен У.* — 87
- Универсалии* — 138, 139 прим.
- Уорнок Дж. Дж.* — 137, 231–238
- Уродцы* — 223 прим.
- Факты эмпирические, в трактовке Айера* — 178–179, 197, 199, 213, 226
- Фалес* — 139
- Фатический (фема)* — 79, 81–83, 94, 99, 101, 105, 106
- Фонетический (фонема)* — 79, 81, 94, 99
- Форма, реальная* — 177, 178, 180, 184
- Цвет, настоящий* — 182–183, 195–196
- Цветовые пятна* — 233
- Часть поверхности* — 156–157, 168–169, 208
- Чувств свидетельство* — 144
- Чувственные данные* — 138, 141, 142, 175–177, 179–180, 194–195, 212–214, 215, 218 прим., 222, 229–231
- введение чувственных данных Айером — 197–199, 210–211
- как воспринимаемые непосредственно — 168–175
- как объекты обманчивых восприятий — 150–152, 156–160
- Чувственных данных язык* — 213–214, 230–231
- Чувственные восприятия* — 140, 144
- Эвалютив* — 119
- Экзерситивы* — 4, 98, 114, 120–129
- Эксплицитные перформативы* — 24, 35, 36, 55, 57, 58, 60, 62, 64–69, 73–78, 80, 90, 106, 107, 119
- Экспозитив* — 74, 76, 98, 120, 121, 123, 125, 127–129
- Юм Д.* — 139, 180
- Язык материальных объектов* — 213, 227, 238
- Язык обыденный* — 181
- в трактовке Айера — 176, 215
- Язык чувственных данных* — 213–214, 230–231

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ДОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КНИГИ»
ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ:**

- «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: Становление и развитие» (Антология). — 540 с.
- СОВРЕМЕННЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ (учебное пособие): РОЛЗ, БЁРЛИН, ДВОРКИН, и др. — 256 с.
- НИКИФОРОВ А. Л. КНИГА ПО ЛОГИКЕ (учебное пособие). — 240 с.
- НИКИФОРОВ А. Л. «ФИЛОСОФИЯ НАУКИ: История и методология» (учебник). — 280 с.
- ГЕМПЕЛЬ К. «ЛОГИКА ОБЪЯСНЕНИЯ». — 240 с.
- ПАТНЭМ Х. «ФИЛОСОФИЯ СОЗНАНИЯ». — 240 с.
- ФРЕГЕ Г. «ИЗБРАННЫЕ РАБОТЫ». — 160 с.
- РАССЕЛ Б. «ИСКУССТВО МЫСЛИТЬ». — 240 с.
- ТОДОРОВ Ц. «ВВЕДЕНИЕ В ФАНТАСТИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ». — 140 с.
- ТОДОРОВ Ц. «ТЕОРИИ СИМВОЛА». — 320 с.
- АЙМЕРМАХЕР К. «ЗНАК. ТЕКСТ. КУЛЬТУРА.» — 256 с.
- РОРТИ Р. «ДОСТИЖЕНИЕ СВОЕЙ СТРАНЫ: История левого движения в США XX в.» — 256 с.
- МИЛОШ Ч. «ИЗБРАННЫЕ ЭССЕ». — 320 с.
- ВИТГЕНШТЕЙН Л. «ФИЛОСОФИЯ ПСИХОЛОГИИ», «ГОЛУБАЯ И КОРИЧНЕВАЯ КНИГИ» и др.
- МИХАЙЛОВ И. «РАННИЙ ХАЙДЕГГЕР». — 160 с.
- ГУССЕРЛЬ Э. «ИДЕИ К ЧИСТОЙ ФЕНОМЕНОЛОГИИ И ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ». — 288 с.

**В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ИДЕЯ-ПРЕСС» И «ДОМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КНИГИ»
ВЫЙДУТ В СВЕТ КНИГИ:**

- РАЙЛ Г. «ПОНЯТИЕ СОЗНАНИЯ». — 416 с.
- УОЛЦЕР М. «КОМПАНИЯ КРИТИКОВ: Социальная критика и политические пристрастия XX века». — 336 с.
- ФЛЕК Л. «ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ФАКТА». — 240 с.
- КОЗЕР Л. «ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА». — 240 с.
- КУЛИ Ч. «ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК». — 320 с.
- УОЛЦЕР М. «О ТЕРПИМОСТИ». — 240 с.
- ПРИСТ С. «ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ». — 256 с.
- ГУССЕРЛЬ Э. «КАРТЕЗИАНСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ». — 192 с.

Научное издание

**ОСТИН Джон
ИЗБРАННОЕ**

Перевод с английского языка
к. ф. н. Макеевой Л. Б., д. ф. н. Руднева В. П.

Корректор *Бондарева Л.*
Художественное оформление *Жегло С.*
Оригинал-макет *(Лыков Д.)*

В оформлении книги использованы рисунки
Дениски Назарова

Издатель *Олеся Назарова*

Идея-Пресс
Дом интеллектуальной книги
ЛР № 071525 от 23 октября 1997

НАШИ КНИГИ

спрашивайте в московских магазинах

справки и оптовые закупки по адресу:

м. "Парк культуры", Зубовский бульвар, 17, комн. 5, 6
книжный магазин "Г н о з и с", тел. 247-1757

Подписано в печать 20.09.99
Формат 60×90¹/₁₆. Гарнитура Оффicina
Печать офсетная. Тираж 2000 экз. Заказ 3112

Отпечатано в Производственно-издательском комбинате ВИНТИ,
140010, г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел. 554-21-86



ISBN 573330010-8



9 785733 300108

